UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00276487 6

list II/2 VIII, 256 p.

40. –

Ю. Александровичъ

Aleksandrovich, Yurii (pseud.)

Послѣ Чехова

Posle Chekhova

t. 1

Очеркъ молодой литературы послѣдняго десятилѣтія 1898-908

На добрую память
друга - друг.
Е. Д.

МОСКВА.
Типографія «Общественная Польза». Бол. Тверская-Ямская, д. 26.
1908.

PG
3016
A43
t.1

772515

Отъ автора.

Настоящій очеркъ имѣетъ цѣлью дать если не исчерпывающій взглядъ на такой богатый моментъ литературной жизни, какъ послѣднее десятилѣтіе (1898—1908 г.), то во всякомъ случаѣ точку зрѣнія, выдержанную, строго проведенную черезъ все изложеніе и очерченную рѣзко и опредѣленно. Въ интересахъ стройности очеркъ не составленъ изъ набора случайныхъ замѣтокъ и статей, а написанъ весь цѣликомъ и заразъ, хотя отдѣльныя его части и помѣщались мною въ печати. Задача сама по себѣ, быть можетъ, и слишкомъ непосильная, но насущная и неотложная — этимъ и объясняется появленіе книги. Методъ мною примѣненный — аналитическій и синтетическій, какъ это иллюстрируется ниже приведеннымъ эпиграфомъ изъ Бѣлинскаго.

„Критиковать—значитъ *искать и открывать въ частномъ явленіи общіе законы разума*, по которымъ и черезъ которые оно могло быть и опредѣлять степень живого, органическаго соотношенія частнаго явленія съ его идеаломъ".

„Разумъ тогда только признаетъ извѣстную истину, ученіе или явленіе дѣйствительными, когда находитъ въ нихъ себя какъ содержаніе въ формѣ. Для этого ему только одинъ путь и одно средство—*разъединеніе идеи отъ формы, разложеніе элементовъ*, образующихъ собою данную истину или данное явленіе. И это дѣйствіе разума отнюдь не отвратительный анатомическій процессъ, разрушающій прекрасное явленіе для того, чтобы опредѣлить его значеніе. *Разумъ разрушаетъ явленіе для того, чтобы оживить его для себя въ новой красотѣ и новой жизни*, если онъ найдетъ себя въ немъ. Отъ процесса разлагающаго разума умираютъ только такія явленія, въ которыхъ разумъ не находитъ ничего своего и объявляетъ ихъ только эмпирически существующими, но недѣйствительными. Этотъ процессъ и называется критикой".

В. Бѣлинскій.

Оглавленіе.

Стр.

I глава. **Литературное наслѣдство.** *Достоевскій—Гаршинъ Чеховъ* 1

II глава. **На нивѣ скорби и печали** (1897—1903 г.). *В. Вересаевъ—Н. Тимковскій—В. Успенскій—Ив. Бунинъ—М. Арцыбашевъ—Е. Лѣткова—Н. Минскій* 19

III глава. **Радость жизни** (1897—1903 г.). *М. Горькій—Е. Чириковъ—М. Вербицкая—Декаденты—М. Гуковскій* 61

IV глава. **Апоѳеозъ трагедіи** (1903—1904 г.). *В. Вересаевъ—Н. Тимковскій—А. Купринъ—Л. Андреевъ* . . . 89

V глава. **Изъ царства трагедіи въ царство анархіи** (1905 г.). *А. Купринъ—Л. Андреевъ—Л. Шестовъ—Идеалисты* 123

VI глава. **Реакція въ литературѣ и жизни.** Отъ трагедіи къ обыденщинѣ. Отказъ отъ наслѣдства. Проблема пола. „Загадка похоти". Апологія праздника жизни. Культъ тѣла. Эстетизмъ. Литература „третьяго сословія" (1905—1908 г.). „Грядущій хамъ" *Андр. Бѣлаго. Бальмонтъ, Мережковскій, Брюсовъ, М. Кузьминъ, Ѳ. Сологубъ.*

Зиновьева-Аннибалъ. З. Гиппіусъ. Ремизовъ. Сергѣевъ-Ценскій, Ан. Каменскій, Л. Андреевъ, А. Блокъ. С. Ауслендеръ. Арцыбашевъ. 151

VII глава. **Грядущее пѣнкоснимательство.** Альманахи и пѣнкоснимательство. Отъ Альманаха къ журналу! 197

VIII глава. **Критика нашего времени.** Критикъ-декадентъ—*Петръ Пильскій.* Критикъ-дилетантъ—*Корней Чуковскій, Оскаръ Норвежскій.* Критикъ-ницшеанецъ—*Арскій (И. Я. Абрамовичъ).* Эстетическая критика — *Евгеній Аничковъ, А. Горнфельдъ, Ивановъ-Разумникъ* 209

IX глава. **Разложеніе декадентства. Намѣчающіяся перспективы. Наслѣдники.** *Викторъ Муйжель. А. Купринъ. Л. Андреевъ.—В. Корчемный* 221

X глава. **Заключеніе. Трагическое, какъ литературный законъ. Въ чемъ мы отказались отъ наслѣдства? Возвратъ къ прошлому.** Тоска по Чеховщинѣ 243

Литературное наслѣдство.

ГЛАВА I.

Литературное наслѣдство.

Достоевскій Гаршинъ Чеховъ.

Послѣдній десятилѣтній періодъ подъема и возрожденія нашей литературы, начавшійся 1897 г. и завершившійся къ настоящему времени, можно считать законченнымъ не только въ хронологическомъ смыслѣ, но и въ методологическомъ. И эта законченность даетъ намъ возможность имѣть о немъ сужденіе, какъ о завершившемся и достаточно выяснившемъ себя циклѣ литературныхъ явленій. Эта завершенность даетъ нѣкоторую возможность оглянуться на то, что далъ намъ этотъ только что отлившій валъ русской литературы. И есть симптомы, которые говорятъ, что это сдѣлать пора: уже снова какъ въ серединѣ 90-хъ гг. о нашихъ дняхъ заговорили какъ о дняхъ паденія литературы, снова раздаются жалобы на наше время, снова мы остались безъ литературы. „Разручелась“ наша литература, по словамъ современнаго критика П. Пильскаго, апологета литературы упадочниковъ. „Разручелась“, то-есть, разсыпалась, измельчала, затерялась въ сыпучихъ пескахъ однообразной пустыни и не на чемъ остановиться взору... Это, пожалуй, вѣрно. Миновало время, когда, какъ прежде когда-то, наша литература была единымъ мощнымъ потокомъ и имѣла имена, къ которымъ все тяготѣло, имѣла тѣхъ, чье слово жадно ловилось и

принималось какъ откровеніе, какъ молитва... Снова все сѣро, гладко кругомъ. Безлично. „Сѣрое небо, сѣрыя тучи, сѣрыя ныряющія въ сѣромъ туманѣ птицы“, какъ писалъ Салтыковъ.

„Современные авторы, если вѣрить П. Пильскому, растутъ на перевалѣ двухъ эпохъ, на переломѣ исторіи; они родились на сквозникѣ новыхъ вѣяній и потому у каждаго изъ нихъ флюсъ, но этотъ флюсъ свой собственный... Это не соціальная партія, а анархическая группа, не дружина, а орда, не семья, а только сосѣдство, не журналъ, а альманахъ. Не даромъ этихъ альманаховъ появилось такъ много и неспроста и не даромъ такъ ясно гаснетъ журналъ“ („Поютъ ручьи“).

Литература опять на распутьи, опять безъ цѣли, безъ единой идеи, безъ смысла. Большинство изъ тѣхъ, кто работалъ послѣднія десять лѣтъ, тихо сходятъ со сцены, какъ мотыльки, рано спалившіе у огня свои крылья. И пожалуй даже не рано. Не рано, ибо все, что могла сказать литература этого наиболѣе интенсивнаго въ ея жизни періода, она сказала. Она подошла вплотную къ стѣнѣ, дальше которой идти было некуда, за которой, какъ мы увидимъ ниже, было вѣчное Ничто. Ударилась всей грудью въ эту стѣну и разсыпалась на тысячи брызгъ. Но, несмотря на краткій срокъ, она сдѣлала много, слишкомъ много... въ дѣлѣ разрушенія. И сдѣлавъ все, чего можно было ждать отъ нея, она истощилась естественно, исчерпала силы, энергію, вдохновеніе. И теперь мы видимъ преимущественно тѣхъ, кто не успѣлъ во-время сойти со сцены. Ибо для новыхъ дѣлъ нужны новые люди; для новыхъ словъ нужна новая жизнь.

Ни новой жизни, ни новыхъ дѣлъ, ни новыхъ словъ нѣтъ и кто знаетъ когда они будутъ? Въ самомъ дѣлѣ, кто возьметъ на себя смѣлость сказать, кѣмъ будетъ занято опустѣлое мѣсто нашихъ великихъ предшественниковъ—кѣмъ изъ насъ? Правда, тотъ же Пильскій,

разбирая современную школу, *такъ называемой* молодой литературы, заявляетъ: „грядущая судьба того великаго и чудеснаго, что зовется литературой, въ нихъ, отъ нихъ и черезъ нихъ". (П. Пильскій. „Поютъ ручьи").

Въ нихъ — это въ Кузьминыхъ, Зайцевыхъ, Сологубахъ, Брюсовыхъ, Бальмонтахъ, Гиппіусахъ и т. д. Не надо быть особенно дальновиднымъ, чтобы сказать, что это только безпомощное хватанье утопающаго за соломинку. Мы слишкомъ давно ихъ знаемъ, все это слишкомъ „знакомыя лица" и слишкомъ конченныя, чтобы кто-либо могъ ждать отъ нихъ „грядущей судьбы того великаго и чудеснаго, что зовется литературой". Надо имѣть рѣшимость сознаться, что опустѣлыя мѣста еще пусты... Трибуна еще молчитъ... Перспективы едва брезжутся.

И все, что можемъ мы сдѣлать теперь, при обзорѣ десятилѣтія новой литературы, это—прослѣдить, что дала намъ работа этого десятилѣтія, какой путь и какую цѣль она намѣтила, выяснить и подчеркнуть то общее, что объединило ихъ въ единую и дружную семью. Ибо не выяснивъ ея идеи, единосущной всѣмъ авторамъ даннаго періода, мы не можемъ говорить о продолжателяхъ и о томъ, кто можетъ ими быть или не быть. Иного пути нѣтъ. Наше дѣло выяснить руководящую идею, Аріаднину нить литературы завершившагося періода, и только тогда мы можемъ сказать въ чьихъ рукахъ эта нить. Литераторы и литературные вожди не сваливаются съ неба Deus ex machina, а обусловливаются всѣмъ историческимъ ходомъ общественной жизни и потому нельзя упустить изъ виду извѣстной преемственности идей, незримо царящей надъ молодыми поколѣніями.

Обращаясь къ только что пережитому періоду, мы наблюдаемъ, что, несмотря на эту преемственность идей, существуютъ извѣстные коррективы къ прошлому, и потому мы можемъ съ полнымъ правомъ назвать нѣ-

которыхъ представителей этого періода „молодой литературой". Но ихъ такъ мало...

Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что современная намъ литература молодого поколѣнія родилась и выросла подъ знаменемъ двухъ ближайшихъ предшественниковъ—страстотерпцевъ русской литературы — Гаршина и Чехова. Ихъ духомъ, ихъ болью, кровью и плотью проникнуто все, что было написано послѣднія десять лѣтъ. Ихъ вліяніе поистинѣ неограниченно, ихъ власть надъ думами молодого поколѣнія безгранична. Ихъ „настроеніе", ихъ „манера" и ихъ думы дали тонъ всему хору „молодой литературы", пришедшей на смѣну имъ, „старикамъ"!

Благодаря ихъ дѣятельности, шедшей по стопамъ Достоевскаго, скорбь русской литературы, носившая вначалѣ мѣстный, національный характеръ, обусловленный специфическими русскими условіями общественной жизни, прорвала географическія и національныя рамки, широкимъ потокомъ хлынула за ихъ границы и, быстро завоевавъ себѣ мѣсто въ міровой литературѣ, приняла характеръ міровой скорби. Идеалы русской литературы стали формулироваться рѣзко и дерзновенно. А философія ея поражала своей глубиной, широтой и универсальностью.

Широта горизонта, глубина и острота мысли и міровая скорбь за страждущее человѣчество—вотъ вкратцѣ наше наслѣдство отъ этихъ двухъ властителей нашихъ думъ и нашихъ настроеній, наполнившихъ нашу душу неумолчной тревогой, безпокойствомъ и страстнымъ исканіемъ.

Гаршинъ первый порвалъ окончательно и безповоротно съ узостью бытописанія и окунулся въ сферу индивидуальнаго творчества и рѣзкаго субъективизма яркой индивидуальности. Подъ его перомъ грубая и жестокая дѣйствительность не смягчается поэтической дымкой, и онъ, смѣло и дерзко срывая покровы тайны,

обнажаетъ всѣ язвы и ищетъ правды во что бы то ни стало и какъ бы она ни была чудовищна. Въ этомъ онъ прямой предшественникъ Л. Андреева, поставившаго въ началѣ своей дѣятельности цѣлью творчества „остріемъ своего страданія проникать въ страданія другихъ людей“ и страстно „искать правды“, какимъ бы это ни было „безуміемъ“. Въ умѣньи подчеркивать паническій ужасъ обыденной жизни оба автора находятъ себѣ равныхъ только развѣ въ Эдгарѣ По и Мопассанѣ, отчасти, вѣроятно, имѣвшихъ на нихъ косвенное вліяніе. Гаршинъ впервые сумѣлъ сочетать яркій реализмъ съ лиризмомъ страстнаго порыва и символизмомъ мысли, какъ это не удавалось и позднѣйшимъ художникамъ слова. Взять хотя бы его „Четыре дня“, гдѣ такъ тѣсно слилось конкретное съ абстрактнымъ, реализмъ съ широкимъ, обобщающимъ символизмомъ. Невзирая на всю исключительность положенія, вы невольно чувствуете острое жало страданія за человѣка. Вы безсильны противъ укола этого жала, ибо онъ слишкомъ реаленъ,—мало того, вы смутно его вождѣете и наслаждаетесь мучительнымъ ощущеніемъ страданія—чувство, знакомое позднѣйшему читателю молодой русской литературы, выросшей на самомученичествѣ и самотерзаніи, на растравленіи собственныхъ ранъ.

Или „Attalea princeps?“—это нѣжное, хрупкое, какъ самъ поэтъ, растеніе, страстно стремившееся къ свободѣ и свѣту и пробившее своей вершиной выходъ къ нимъ и въ моментъ достиженія трагически погибшее въ холодныхъ объятіяхъ суроваго сѣвера. Есть ли въ нашей новѣйшей литературѣ столь же нѣжный и прекрасный символъ неравенства роковой борьбы съ холодомъ и несправедливостью жизни, такъ нѣжно окутанный дымкой глубокой, мучительной скорби? А „Красный цвѣтокъ“ съ его безумцемъ-героемъ, павшимъ жертвой любви къ Человѣку и страстной жажды со-

рвать ядовитый цвѣтокъ страданія—этотъ „Аичаръ“ новаго времени? Развѣ онъ не сродни подвигу Василія Өивейскаго, дошедшаго въ своемъ дерзновеніи до бого-человѣчества и также трагически погибшаго въ стремленіи сорвать ядовитый цвѣтокъ, отравляющій жизнь? При всемъ символизмѣ своихъ вещицъ, мистицизмъ Гаршинъ считалъ трусливымъ отступничествомъ, рабствомъ, возвращеніемъ къ старымъ цѣпямъ.

Будучи реалистомъ, Гаршинъ не могъ не быть въ силу своей психологической сущности глубокимъ, непримиримымъ пессимистомъ: „никакое развитіе, никакое познаніе себя и міра, никакая духовная свобода не дадутъ мнѣ жалкой физической свободы,—свободы располагать своимъ тѣломъ“, говоритъ онъ въ разсказѣ „Трусъ“.

Эта мысль стала лейтмотивомъ позднѣйшей литературы, хотя бы въ творчествѣ Тимковскаго, Куприна и Вересаева.

Устанавливая идейную связь современнаго поколѣнія съ Гаршинымъ, мы не можемъ не отмѣтить между прочимъ и любопытной черты даже чисто-внѣшняго сходства въ пріемѣ излагать сокровеннѣйшія мысли автора отъ лица безумныхъ и сумасшедшихъ, такъ привившемся впослѣдствіи (сравн. хотя бы Чехова „Палата № 6“, Горькаго „Ошибка“, Арцыбашева „Сумасшедшій“, Андреева „Мысль“ и т. д.).

Какъ позднѣйшіе герои Тимковскаго, Куприна и другихъ, герои Гаршина—безпокойные люди тяжелыхъ и мрачныхъ настроеній, мечтающіе лишь объ одномъ: куда бы только „бѣжать *отъ себя*“, въ чемъ бы забыться отъ ужаса и безсмысленности жизни. „Куда впередъ—не знаю, но только вонъ изъ этого заколдованнаго круга. Въ прошломъ нѣтъ опоры, потому что все ложь, все обманъ... „говоритъ герой разсказа „Ночь“, рѣшившій кончить самоубійствомъ... „Господи, хоть каплю лишь настоящаго, неподдѣльнаго чувства, не умираю-

щаго внутри моего „я“. Вѣдь есть же міръ!“ и авторъ саркастически оканчиваетъ эти мольбы: „нужно „отвергнуть себя“ (какъ сказано въ священномъ писаніи), убить свое „я“, бросить на дорогу...“ И герой отвергаетъ себя: на утро былъ найденъ его трупъ...

Извѣстно, что и самому автору, какъ онъ писалъ въ частномъ письмѣ, казалось: „Для меня прошло время страшныхъ отрывочныхъ воплей, какихъ-то „стиховъ въ прозѣ“, какими я до сихъ поръ занимался: матеріала у меня довольно и нужно изображать не свое „я“, а большой внѣшній міръ“. Извѣстно также, что это не удалось Гаршину. Но „если тебѣ не удалась жизнь, если ядовитый червь точитъ твое сердце, то знай, что удастся смерть“. И дѣйствительно смерть для Гаршина была роковымъ часомъ для жизни его „я“. Всѣ его произведенія полны его этической личностью и индивидуальностью, ею насыщены и ею цѣнны. И только коллизіей ея кристальной чистоты съ окружающей жизнью объясняется безотрадный пессимизмъ его произведеній. Выросшій и развившійся въ эпоху великихъ дѣлъ 60—70 год., онъ писалъ только въ 80-хъ, когда мрачная реакція душила все живое. И онъ ушелъ изъ жизни непримиренный.

На той же почвѣ коллизіи идеала яркой индивидуальности съ дѣйствительностью родился „героическій пессимизмъ“ *Чехова*, вошедшій въ плоть и кровь литературы молодого поколѣнія. Идеализмъ Чехова въ смыслѣ вѣры въ возможность достиженія идеала все болѣе и болѣе проникался скептицизмомъ и вытѣснялся „пессимизмомъ во что бы то ни стало“,—пессимизмомъ героическимъ и трагическимъ, культомъ пессимизма. И эта сторона творчества Антона Павловича Чехова нашла себѣ наиболѣе горячихъ и восторженныхъ послѣдователей. Поэзія обнаженныхъ и натя-

нутыхъ нервовъ, какъ струны віолончели, рыдающихъ надрывнымъ, неутѣшнымъ плачемъ, мучительная и вожделѣнная дала въ нашей литературѣ поистинѣ дивные моменты высшаго душевнаго напряженія. Утонченность страданія, болѣзненная чувствительность воспріятія, художественная отзывчивость на каждое малѣйшее прикосновеніе окружающаго міра— вотъ наше наслѣдство отъ Чехова. Слишкомъ раскрытые глаза, напряженный слухъ, натянутые нервы—вотъ беклинскій автопортретъ нашей молодой литературы. Тревожная музыка скорби, жгучее сладострастіе страданія—ея лейтмотивъ. И въ этомъ она прямая наслѣдница своихъ великихъ предшественниковъ.

Дѣйствительность, изображаемая Чеховымъ, жалка, ничтожна, убога и безцвѣтна. Его картина скуки и пошлости жизни не имѣетъ себѣ равной и жестоко бьетъ по нервамъ читателя, наполняя его сердце паническимъ ужасомъ передъ жизнью. „Мнѣ страшна, главнымъ образомъ, обыденщина, отъ которой никто изъ насъ не можетъ спрятаться“. („Страхъ“). И у Чехова родится то же желаніе, какъ и у Гаршина, бѣжать отъ себя, задушить тоску души и отдаться во власть пантеистическаго оптимизма.

„Въ поискахъ за правдой люди дѣлаютъ два шага впередъ, шагъ назадъ. Страданія, ошибки и скука жизни бросаютъ ихъ назадъ, но жажда правды и упрямая воля гонятъ впередъ. И кто знаетъ? можетъ быть доплывутъ до настоящей правды („Дуэль“). Что же дѣлать, надо жить. Мы, дядя Ваня, будемъ жить. Проживемъ длинный, длинный рядъ дней, долгихъ вечеровъ, будемъ терпѣливо сносить испытанія, какія пошлетъ намъ судьба; будемъ трудиться для другихъ и теперь, и въ старости, не зная покоя, а когда наступитъ нашъ часъ, мы покорно умремъ, и тамъ, за гробомъ, мы скажемъ, что мы страдали, что мы плакали, что намъ было горько, и Богъ сжалится

надъ нами, и мы съ тобой, дядя, милый дядя, увидимъ жизнь свѣтлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешнія наши несчастія оглянемся съ умиленіемъ и улыбкой—и отдохнемъ... Придетъ время и мы узнаемъ зачѣмъ все это, для чего эти страданія, никакихъ не будетъ тайнъ, а пока надо жить... надо работать, только работать! („Три сестры").

„Пройдетъ время, и мы уйдемъ навѣки, насъ забудутъ, забудутъ наши лица, голоса и сколько насъ было, но страданья наши перейдутъ въ радость для тѣхъ, кто будетъ жить послѣ насъ..." (id).

Такимъ стремленіемъ окунуться въ жизнь, задушить скорбь души, утопить мысль въ работѣ, надѣется Чеховъ уйти отъ своего „я". Но, какъ и Гаршину, ему это не удается. „Нѣтъ того коня, на которомъ отъ самого себя ускакать можно бъ было", какъ писалъ впослѣдствіи Горькій. И дѣйствительно, оптимизмъ Чехова фальшивъ и дѣланъ и только увеличиваетъ сознаніе безысходности горя и страданій людскихъ. Это оптимизмъ съ отчаянія, радость сквозь рыданія, ибо у Чехова нѣтъ вѣры въ жизнь. Жизнь—зло, и это зло сильнѣе человѣка и всякая борьба съ ея враждебностью безплодна. Все: наука, искусство, общественная дѣятельность—лишь затычка душевной муки, тряпка, которой хотятъ заглушить стоны и крикъ отчаянія.

Чеховъ, какъ и Гаршинъ, срываетъ съ жизни всѣ покровы, разрушаетъ всѣ иллюзіи и оголяетъ правду жизни во всей ея ужасной наготѣ. „Нѣтъ въ жизни смысла, нѣтъ правды и логики. Надо всѣмъ царитъ жестокій, неумолимый Рокъ и Случай". Ложь царитъ во всей жизни: „вся жизнь есть не что иное, какъ ежедневная забота о томъ, чтобы обманывать себя и людей и не замѣчать этого, и мнѣ страшно отъ мысли, что я до самой смерти не выберусь изъ этой лжи" („Страхъ").

Чеховъ не вѣритъ въ людей: „мое письмо, если бы даже оно было краснорѣчиво, сильно, страшно, все-таки походило бы на стукъ по гробовой крышкѣ: какъ ни стучи—не разбудишь! Никакія усилія уже не могутъ согрѣть вашей проклятой холодной крови, и вы это знаете лучше, чѣмъ я". („Разсказъ неизвѣстн. человѣка"). „Вы гадко и пошловато подсмѣиваетесь надъ идеями добра и правды, потому что уже не въ силахъ вернуться къ нимъ. Всякій искренній и правдивый намекъ на ваше паденіе страшенъ вамъ, и вы нарочно окружаете себя людьми, которые умѣютъ только льстить вашимъ слабостямъ. И не даромъ, не даромъ вы такъ боитесь слезъ..." (id).

„Въ такой средѣ „смыслъ жизни только въ одномъ—въ борьбѣ. Наступить каблукомъ на подлую змѣиную голову и чтобы она—крахъ! Вотъ въ чемъ смыслъ. Въ этомъ одномъ или же вовсе нѣтъ смысла" (id).—

Погибнуть на великомъ и невозможномъ, какъ погибли „Attalea princeps" и герой „Краснаго цвѣтка", и тѣмъ только положить конецъ страданіямъ безпокойной мятущейся души, ибо все равно ничему не поможешь, ничего не передѣлаешь въ этой страшной, оскорбительной, тоскливой пошлости жизни.

Страшная власть стихійнаго начала жизни, болѣзненно чутко ощущаемая какъ Гаршинымъ, такъ и Чеховымъ, всецѣло перешла въ сознаніе людей молодого поколѣнія, породивъ Тимковскаго, Куприна и Вересаева.

Той же страстью, негодованіемъ, страданіями живой человѣческой души—страданіями обнаженныхъ нервовъ пропикнута и лучшая вещь наиболѣе чуткаго изъ молодыхъ авторовъ поэта-критика, *И. Минскаго*, выступившаго въ 1895 г. со своей книгой „При свѣтѣ совѣсти,—мысли и мечты о цѣли жизни"—лучшей вещью на рубежѣ двухъ поколѣній, которой, несмотря

на осужденіе критики, ушивалась молодежь и которая безспорно сыграла громадную роль въ принятомъ литературномъ направленіи. Изъ нея была взята одна отрицательная часть, полная глубокаго безотраднаго пессимизма. Въ ней трактовались вѣчные „проклятые вопросы“ о жизни и смерти, о человѣкѣ и Богѣ во всей ихъ трагической наготѣ и мрачной красѣ. Эта почти исповѣдь—по лиризму, и философскій трактатъ—по мысли—долго была настольной книгой подраставшей молодежи. Въ ней впервые разрушительная, камня на камнѣ не оставляющая мысль кристаллизовала самыя затаенныя думы, поконившіяся въ подпольѣ души молодого поколѣнія.

„Эта поэзія, писалъ Мережковскій, не обѣщаетъ никакой радости, не заботится о томъ, чтобы плѣнить или понравиться, нѣтъ, она скорѣе уязвляетъ сердце, причиняетъ ему боль. Ея вдохновеніе въ тонкой, незамѣтной для толпы, высшей *ироніи*, въ ненависти къ старымъ богамъ. Мысль въ такой поэзіи является безъ покрововъ, почти безъ красоты, холодная, обнаженная, по выраженію Баратынскаго. Острая, какъ лучъ, и дерзновенная. И все въ жизни передъ ней отступаетъ, все разлагается и блѣднѣетъ,—любовь, вѣра, сама поэзія. Но въ концѣ-концовъ, послѣ ироніи, послѣ отрицанія, въ душѣ поэта остается то, что мысль не могла разрушить, то, передъ чѣмъ сама она разлагается и блѣднѣетъ: это—скорбь о невозможной святынѣ, безнадежная потребность вѣрить, неутомимая жажда Бога“.

Въ „При свѣтѣ совѣсти“ впервые людямъ съ ихъ страданіями, обществу, не сумѣвшему устроить своей жизни, противоставляется одинокая, гордая личность въ стилѣ Ибсена: „единственно сильный человѣкъ въ мірѣ тотъ, кто стоитъ одиноко“.

Подъ такими вліяніями родилось то, что мы зовемъ молодой литературой нашихъ дней. Настроеніе, при-

пятое сю. можно охарактеризовать вкратцѣ: „безъ солнца, безъ свѣта, безъ дороги". Этому настроенію какъ нельзя болѣе соотвѣтствовала первая значительная повѣсть начинавшаго тогда молодого писателя, характернаго своей чуткостью къ общественнымъ настроеніямъ, В. Вересаева—„Безъ дороги", появившаяся въ 1895 г. въ „Русскомъ Богатствѣ" почти одновременно съ книгой Минскаго.

Что касается распланировки разбираемаго нами послѣдняго десятилѣтія молодой литературы, мы прежде всего должны отмѣтить въ немъ 1903—1904 г., какъ кульминаціонный пунктъ Sturm und Drang русской литературы, передъ которымъ было пятилѣтіе постепеннаго подъема настроенія и послѣ котораго начался упадокъ и постепенное затишье литературы. Она, какъ говоритъ Пильскій, „разручелась". Такимъ образомъ сами собой вытекаютъ три періода, на которые мы и раздѣлимъ наше изложеніе, слѣдуя въ то же время пріему методологическому, а не хронологическому.

Въ первый періодъ назрѣвали и группировались молодыя силы для того, чтобы выступить во всеоружіи въ періодъ Sturm und Drang. Въ третій періодъ онѣ частью распались, частью оскудѣли, частью образовали новыя группировки и стали служить новымъ богамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ новое время вызвало къ жизни новыя силы и легкими эскизами намѣтило новыя перспективы, правда, неясныя и туманныя, зыбкія и неустановившіяся, но все же дающія возможность указать намѣчающіяся силы.

Обращаясь теперь къ первому періоду—наканунѣ Sturm und Drang'a, мы замѣтимъ, что въ самомъ его началѣ намѣтились двѣ крупныя группы, два полюса, два міросозерцанія. Одно изъ нихъ характеризуется

какъ продолженіе дѣла Гаршина и Чехова, другое— какъ реакція противъ этого направленія, правда, не сильная интеллектуально, но не могущая остаться незамѣченной.

Первые на вопросъ „что есть жизнь?“ отвѣчали: „зло и несчастье!“ и смѣло вступали на путь отрицанія и безнадежнаго пессимизма; вторые своимъ лозунгомъ избрали: „да, бытію!“

На нивѣ скорби и печали.

ГЛАВА II.

На нивѣ скорби и печали.

(*1897—1903 г.*)

В. Вересаевъ. И. Тимковскій. В. Успенскій. Ив. Бунинъ. — М. Арцыбашевъ. Е. Лѣткова. Н. Минскій.

„Хочется вѣрить, писалъ въ 1896 году Короленко, что родина наша не оскудѣла еще молодыми силами, идущими на свою очередную смѣну поколѣній для трудовой работы, намѣченной лучшими силами поколѣній предыдущихъ". Короленко не ошибся: молодыя силы пришли и стали на работу. Но... наша литература такъ капризна и несговорчива. Въ самомъ дѣлѣ, чего хотѣлось Короленкѣ отъ молодыхъ силъ? Очевидно, чего угодно, но только не продолженія разъ принятаго ею направленія со времени Гаршина и Чехова: это время утомило, измучило. „Основной тонъ его—разочарованіе, недовѣріе къ жизни, къ ея призывамъ, къ силѣ человѣческой мысли, къ наукѣ, къ непосредственнымъ и основнымъ побужденіямъ человѣческой природы... И было такъ скучно, такъ ужасно скучно слышать все это и такъ сжималось сердце отъ этой туманной тучи, охватившей все-таки наиболѣе чуткіе слои молодой части русскаго общества". Въ лицѣ И. В. Водовозова Короленко хотѣлъ видѣть „одну изъ первыхъ ласточекъ нѣкотораго поворота въ настроеніи нашей молодежи". „Кажется, теперь можно сказать, безъ опасенія ошибиться, что теперь этотъ поворотъ обозначается все яснѣе и яснѣе"...

Короленко имѣлъ основаніе такъ думать: дѣйствительно, въ общественной жизни назрѣвалъ поворотъ, раздались „Весенніе обѣщанія", началось оживленіе литературы, открылся цѣлый рядъ новыхъ журналовъ, какъ „Жизнь", „Начало", „Новое Слово", „Журналъ для всѣхъ" и народилось новое теченіе — марксизмъ, о которомъ трубили какъ о второмъ пришествіи Мессіи. Но... до всего этого оказалось было мало дѣла литературѣ. Во всемъ этомъ шумѣ и радостной суетѣ она осталась „при особомъ мнѣніи" и властно въ тѣхъ же марксистскихъ журналахъ вела свою линію, не считаясь ни съ какими марксизмами. Наши дороги разныя, какъ бы говорила она, и только моя ведетъ къ правдѣ-истинѣ и правдѣ-справедливости.

Наиболѣе яркимъ доказательствомъ является творчество В. Вересаева, наиболѣе радушно принятаго въ марксистскихъ журналахъ и нанесшаго непоправимый ударъ за ударомъ теоріи экономическаго матеріализма. Не менѣе яраго противника себѣ обрѣлъ экономическій матеріализмъ въ лицѣ Тимковскаго, во многомъ соприкасающагося съ Вересаевымъ.

Вообще о литературѣ этого періода можно сказать, что она единодушно возстала противъ матеріалистическаго разрѣшенія поставленной этико-философской проблемы. И говорить объ экономическомъ матеріализмѣ, какъ объ имѣвшемъ значеніе факторѣ въ дѣлѣ ея разрѣшенія, не приходится. Его роль была чисто отрицательной, ибо принятая позиція только укрѣпилась, какъ бы въ силу протеста. Попрежнему молодая литература продолжала оставаться на точкѣ зрѣнія психологическаго реализма, отдающаго предпочтеніе анализу душевныхъ движеній и настроеній и проникнутаго соотвѣтственно лирическимъ оттѣнкомъ. Рядомъ съ этой, такъ сказать, индивидуализированной литературой шла литература, широко использовавшая уроки, преподанные поколѣніемъ 70-хъ годовъ, впервые даро-

вавшимъ права гражданства такъ называемой *гражданской* литературѣ, проникнутой духомъ общественности. Отсюда обычный фонъ для развертыванія канвы душевныхъ коллизій — на почвѣ общественныхъ и соціальныхъ вопросовъ.

Тѣмъ не менѣе на ней же, на ряду съ другими вліяніями, отразилась и эпоха 80-хъ и 90-хъ годовъ, изгнавшая изъ литературы политику: она направила первоначальное стремленіе личности къ политическому освобожденію по иному руслу—въ сторону освобожденія, пріобрѣвшаго яркій анархическій характеръ. Борьба противъ политическаго режима свелась къ борьбѣ противъ общественныхъ и соціальныхъ устоевъ, противъ власти, культуры, государства, самаго государственнаго механизма. Этимъ отчасти объясняются тѣ вылазки противъ общественной дѣятельности и работы въ массахъ, которыя мы встрѣчаемъ какъ лейтмотивъ молодой литературы.

Тѣмъ не менѣе мы не можемъ считать такую литературу не освободительной, ибо это было бы наивнымъ абсурдомъ: ея единая и главная конечная цѣль была въ освобожденіи личности и гармоническомъ сочетаніи ея съ общественными формами. Мы имѣемъ здѣсь только иной путь, который и должно анализировать прежде, чѣмъ высказывать пожеланія того или иного характера.

Первымъ въ разбираемый періодъ выступилъ В. Вересаевъ, уже извѣстный своими „Записками врача“— съ повѣстью „Безъ дороги“ (1895 г.). Повѣсть была напечатана въ „Русск. Богатст.“ (кн. 7), сразу была замѣчена и заставила говорить объ авторѣ.

Тезисъ А. Чехова, говорящій, что забвенья себѣ, утоленія своихъ мукъ и бѣгства отъ своихъ мыслей, отъ себя надо искать въ работѣ — сталъ предметомъ обсужденія и объектомъ, на который стали возлагаться серьезныя надежды. Надо только придумать надъ чѣмъ

забыться, надъ чѣмъ работать. Героиня повѣсти, Наташа „съ тоскою ждала отъ него (Серг. Андр.), чтобы онъ далъ ей вѣру въ жизнь и указалъ дорогу, указалъ ей, что теперь всего нужнѣе дѣлать, на что отдать свои силы".

— Ты, сказалъ онъ Наташѣ, хочешь идеи, которая бы наполнила всю жизнь, которая бы захватила тебя цѣликомъ и упорно вела бы къ опредѣленной цѣли: ты хочешь, чтобъ я вручилъ тебѣ знамя и сказалъ: „вотъ тебѣ знамя, — борись и умирай за него". Я больше тебя читалъ, больше видѣлъ жизнь, но со мной то же, что съ тобой: *я не знаю* — въ этомъ вся мука. Мало того, этого никто не знаетъ, у всего теперешняго поколѣнія—тоже ничего нѣтъ: „безъ дороги, безъ путеводной звѣзды, оно гибнетъ невидно и безповоротно... Безвременье придавило всѣхъ, и напрасны отчаянныя попытки выбиться изъ-подъ его власти".

Общественная дѣятельность—не для него: „она хочетъ знать, какъ я смотрю на общину, какое значеніе я придаю сектантству, считаю ли возможнымъ развитіе капитализма въ Россіи. И въ разспросахъ ея сказывается непремѣнно предположеніе, что я непремѣнно долженъ интересоваться всѣмъ этимъ. Что же? Я вѣдь дѣйствительно интересуюсь: однако, правду говоря, разговоры мнѣ эти крайне непріятны. Я съ величайшимъ удовольствіемъ прочту книгу, гдѣ говорится что-нибудь новое по подобному вопросу, не прочь и поговорить о немъ, но пусть для меня, какъ и для моего собесѣдника, вопросъ этотъ будетъ холоднымъ теоретическимъ вопросомъ, въ родѣ вопроса о правильности теоріи Фагоцита или вѣрности гипотезы Альтмана". Все его „внутреннее содержаніе—лишь красивыя слова, не болѣе. Онъ боится заглянуть внутрь себя, боится, такъ какъ знаетъ, что за душой у него „ничего нѣтъ". „Къ чему, говоритъ онъ, мнѣ мое честное

и гордое міросозерцаніе, что оно мнѣ дастъ? Оно уже давно мертво. Это не любимая женщина, съ которой я живу одной жизнью, а лишь ея трупъ: я страстно обнимаю этотъ прекрасный трупъ и не могу, не хочу вѣрить, что онъ нѣмъ и безжизненно холоденъ. Однако *обмануть себя* я не въ состояніи".

Близорукая критика сказала бы, какъ она не разъ говорила: „пусть мертвые хоронятъ своихъ мертвыхъ!" Пусть художники-беллетристы „интеллигентнаго пролетаріата" расходуютъ свои силы, умѣнье, дарованіе на изображеніе „мелкихъ помысловъ", „мелкихъ страстей", вдохновляющихъ „сѣренькихъ" обывателей „сѣренькой среды!" — и осудила бы это „несвоевременное теченіе,— теченіе, которое не считается съ передовыми вѣяніями историческаго момента, которое на своемъ знамени начертало:—вмѣсто подъема общественныхъ чувствъ —скорбь „одиночества", вмѣсто развитія—неподвижность застоя, вмѣсто жизни—страхъ передъ ней" (В. Шулятиковъ).

Они—лишніе люди, имъ нѣтъ мѣста въ общемъ историческомъ ходѣ вещей. Таково мнѣніе нарождавшагося марксизма. Но это нисколько не разрѣшаетъ вопроса, ибо хорошими словами здѣсь не поможешь. Да и въ самомъ ли дѣлѣ эти люди—лишніе? Этотъ упрекъ предвидѣлъ авторъ и внесъ въ дневникъ своего героя слѣдующее: „Я не лишній человѣкъ. Я ненавистью чувствую ко всѣмъ этимъ тунеядцамъ... Меня не пугаетъ нужда, не пугаетъ трудъ, я съ радостью пойду на жертву... И все-таки пусто и мертво въ сердцѣ; кругомъ посмотришь—жизнь молчитъ какъ могила!.."

Ясно, что мы должны согласиться съ Короленко: они—„все-таки наиболѣе чуткіе слои молодой части русскаго общества". А таковыхъ мы не можемъ приравнивать къ лишнимъ на жизненномъ пиру, тѣмъ болѣе, что и причина-то не въ нихъ, а въ томъ, что „жизнь молчитъ какъ могила..." Тьма кругомъ. Ночь.

Избитый до полусмерти „на холерѣ“ пьяной толпой докторъ пишетъ свои послѣднія слова: „Они меня били, били!.. Били за то, что я пришелъ къ нимъ на помощь, за то, что я несъ имъ свои силы, свои знанія—все. Теперь только вижу я, какъ любилъ я народъ и какъ мучительно горька моя обида. Нужно умереть. Не смерть страшна мнѣ, а жизнь холодная и тусклая, полная безплодныхъ угрызеній: за что ты боролся? во имя чего умеръ? Ты только жертва, безсмысленная, никому не нужная... Такъ и должно быть! Мы всегда были имъ чужды“.

Не трудно замѣтить здѣсь широко раздвинутыя рамки: „мы“—это трудовая интеллигенція, интеллигентный пролетаріатъ,—всѣ, кто несъ свои силы, свои знанія—все—„въ народъ“. „Мы“ - „слишкомъ ранніе предтечи слишкомъ медленной весны“. „Мы“ — герои „Краснаго цвѣтка“ и „Attalea princeps“, погибающіе „безсмысленными жертвами“ ненасытному и неблагодарному Молоху—народу. „Мы всегда были имъ чужды“. Такова жуткая, неумолимо-ясная идея повѣсти.

Въ „Безъ дороги“ многіе увидѣли слова, „возвѣстившія о смерти стараго поколѣнія (читай: народничества) и о новыхъ исканіяхъ (марксизмъ)“.

Посмотримъ насколько это такъ.

Слѣдующей повѣстью Вересаева было: „Повѣтріе“, появившееся въ 1898 году уже въ марксистскомъ журналѣ. Соединило марксистовъ съ Вересаевымъ его осужденіе деревни и мужика, ненавистныхъ тогда идеологамъ фабричнаго пролетаріата, какъ бы подтверждавшее ихъ счастливые афоризмы объ „идіотизмѣ деревни“ и „антиколлективистическомъ черепѣ“ мужика, усердно тогда пропагандировавшіеся кстати и некстати въ „Новомъ Словѣ“, съ марта 1897 года ставшаго изъ народническаго марксистскимъ. Объ этомъ періодѣ мы имѣемъ слѣдующую прекрасную страничку: „Поколѣніе, на первыхъ порахъ воспринявъ-

шее марксизмъ, было поколѣніе усталое. Страшнымъ гнетомъ давило его разочарованіе въ мужикѣ и разочарованіе въ окончившемся пораженіемъ смѣломъ поединкѣ Народной Воли съ правительствомъ. Размахъ революціонной борьбы долженъ былъ сузиться. Періодъ марксистской „кружковщины", періодъ „агитаціи" и „экономизма", умѣреннаго и аккуратнаго—вотъ что пришло на смѣну старому революціонному поколѣнію. „За приливомъ энергіи въ 60-хъ и 70-хъ годахъ наступилъ, вполнѣ объяснимый обстоятельствами, отливъ ея, и понадобился „отказъ отъ наслѣдства" и какой-нибудь успокаивающій и примиряющій съ дѣйствительностью лозунгъ. Не одинъ такой лозунгъ и былъ предложенъ, но окончательно укрѣпился лозунгъ „марксизма". Для этого онъ оказался особенно приспособленнымъ. Въ эпоху разочарованій и пониженія уровня общественной энергіи онъ пришелъ на незанятое, опустѣлое отъ жизни мѣсто: старое революціонное поколѣніе было изъято изъ жизни, опустѣлыя позиціи были заняты пришельцами, явившимися не какъ соратники, подымающіе вновь только что выбитое изъ рукъ погибшихъ товарищей знамя—а какъ противники, водружающіе новое знамя, сдающіе въ архивъ старое.

Въ образовавшуюся пустоту вторгается новое теоретическое теченіе: „ясно, просто, логично, въ четверть часа можно цѣлую философію исторіи усвоить съ гарантированной научностью. Притомъ для всѣхъ удобно: кто не хочетъ думать, для того уже все удумано, все разжевано и въ роть положено, остается только проглотить: кто не хочетъ ничего дѣлать по какой бы то ни было причинѣ, за того историческая необходимость все сдѣлаетъ; кто хочетъ вполнѣ безошибочнаго, недопускающаго разочарованій дѣла—того удостовѣряютъ, что теперь всякимъ утопіямъ конецъ пришелъ кого смущаетъ „бѣдность и несовершенство жизни" тотъ узнаетъ, что все это на пользу человѣчества и

даже имени народа, того самаго, который нищенствует и голодаетъ; кому нужно непремѣнно новое слово—вотъ оно еще пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ сказано" (Ю. Гарденинъ. Памяти Михайловскаго).

Объ этомъ ли думалъ Короленко, когда привѣтствовалъ появленіе „первыхъ ласточекъ" грядущей весны? На этихъ ли „Чужестранцевъ", по мѣткому выраженію Чирикова, возлагалъ свои надежды? Ихъ ли ожидало русское общество, явившихся невѣдомо по чьему зову, какъ вторые „варяги", и сѣвшихъ „княжить" надъ его мыслью? Категорически отрицательный отвѣтъ мы имѣемъ почти отъ всей литературы того времени. Она внимательно и чутко отнеслась къ „новому слову", пристально вглядѣлась въ него и отвернулась: нѣтъ мы не съ вами.

Это не „Новое слово", это — „Повѣтріе", болѣзнь, эпидемія.—Таковъ медицински-точный діагнозъ переживавшагося момента.

Маркелъ студентъ Даевъ въ „Повѣтріи" выведенъ узкимъ и черствымъ, равнодушнымъ ко всему живому, полнымъ „книжныхъ теорій", самодовольнымъ буржуа, полнымъ примиренія съ жизнью, ибо, какъ было сказано выше: „кто не хочетъ ничего дѣлать, по какой бы то ни было причинѣ, за того историческая необходимость все сдѣлаетъ: „жизнь, говоритъ Даевъ, развивается по своимъ законамъ, не справляясь съ нашими идеалами, нужно принять тѣ, которые диктуетъ сама дѣйствительность".

А дѣйствительность диктовала полное примиреніе съ нею и сферу маленькихъ дѣлъ въ области „библіотечекъ и аптечекъ", какъ говаривалъ А. Чеховъ, „аккуратный и умѣренный экономизмъ", такъ счастливо завершившійся зубатовщиной,—словомъ, диктовалась апологія дѣйствительности, полное подчиненіе тому невѣдомому историческому предопредѣленію, которое само все сдѣлаетъ.

Совершенно иное отношеніе къ дѣйствительности мы наблюдали на всемъ протяженіи русской литературы. Дѣйствительность, факты — это что-то такое, что надо „преодолѣть". Власть невидимаго, царящаго въ жизни, какъ Обыденщина, Рокъ и Случай, наводила паническій ужасъ на личность и заставляла ее возставать противъ нея всѣмъ существомъ. Припомнимъ хотя бы „На поворотѣ" Вересаева, „Мысль" Л. Андреева и проч.

Въ борьбѣ личности противъ власти наша литература не могла пройти мимо „слѣпой необходимости", „невидимаго", наводящаго ужасъ даже на такую энергичную личность, какъ фельдшерица Варя въ повѣсти „На поворотѣ", которая незадолго до своей трагической смерти „чувствовала приближеніе и побѣду" этого „невидимаго", которое грозило покорить ее и отъ власти котораго она нашла единственное спасеніе — смерть! То же „невидимое" овладѣло и Токаревымъ, у котораго мы находимъ цѣлую теорію развитія невидимыхъ страшныхъ силъ:

„Въ сущности, говорилъ онъ, я, конечно, не говорю серьезно о разныхъ тамъ мертвецахъ или привидѣніяхъ, не говорю и о Мопассановскихъ невидимыхъ Орла. Я только говорю о Мопассановской „глубокой тайнѣ невидимаго"; вѣдь именно ее только Мопассанъ и символизируетъ въ образѣ „Horla". Согласитесь, что тайна, дѣйствительно, глубока и страшна. Мопассанъ говоритъ: „Все, что насъ окружаетъ, все, что мы заключаемъ, не глядя, все, что задѣваемъ, сами того не сознавая, трогаемъ, не ощупывая,—все это имѣетъ надъ нами, надъ нашими органами, а черезъ нихъ и надъ нашими мыслями, надъ самымъ нашимъ сердцемъ— быстрое изумительное и необъяснимое дѣйствіе"... Развѣ это не страшно и развѣ это не правда?—взволнованно спросилъ Токаревъ. — Человѣкъ былъ еще свободенъ, когда онѣ, эти силы, олицетворялись въ

существахъ, стоящихъ *вне* его,—съ ними по крайней мѣрѣ можно было бороться, противъ нихъ стояла свободная самоопредѣляющаяся душа человѣка. А теперь всѣ эти существа переселились *внутрь* его, въ его мозгъ и сердце... И что теперь ждетъ человѣка? Вы помните этотъ страшный вопль Мопассана: *„Царство человѣка кончилось*!.. Горе намъ! Горе людямъ! Пришелъ *онъ*... какъ его зовутъ?.. мнѣ кажется, что онъ выкрикиваетъ свое имя, но я не слышу его... О, да, онъ явился!.. Ястребъ съѣлъ голубку, левъ пожралъ буйвола съ острыми рогами... Всему конецъ!.. Онъ во мнѣ! Онъ становится моей душою! Что дѣлать? Горе намъ!..“

Сравните съ этой небольшой выпиской слова Керженцева изъ „Мысли“, написанной почти въ то же время Л. Андреевымъ (1902 г.).

„Великое и грозное одиночество, когда и сзади, и впереди, и кругомъ зіяющая пустота; ужасное одиночество, когда я, тотъ, который живетъ, чувствуетъ, мыслитъ, который такъ дорогъ, и есть единственный, когда я такъ малъ, безконечно ничтоженъ и слабъ и каждую секунду готовъ потухнуть. Зловѣщее одиночество, когда самого себя я составляю лишь ничтожную частицу, когда въ самомъ себѣ я окруженъ и задушенъ угрюмо молчащими таинственными врагами. Куда ни иду я, я всегда несу ихъ съ собой; одинокій въ пустотѣ вселенной, и въ самомъ себѣ не имѣю я друга. Безумное одиночество, когда я не знаю, кто я, одинокій, когда моими устами, моей мыслью, моимъ голосомъ говорятъ невидимые *они*“.

Если мы дополнимъ эти рѣчи отношеніемъ Чеховскаго „Иванова“ къ невидимымъ стихійнымъ силамъ, мы составимъ ясное понятіе принципіальнаго отношенія нашей литературы ко всякаго рода внѣшнимъ предопредѣленіямъ и „историческимъ факторамъ“ и думаемъ, что можно охарактеризовать его словомъ: протестъ! Протестъ во имя всего святого, во имя всего

живого, мыслящаго и страдающаго, протестъ противъ подобнаго низведенія „роли личности въ исторіи“ и поклоненія передъ стихійными факторами. И мы всюду видимъ жгучую ненависть и негодованіе къ такого рода теоріямъ.

Вообще теоріи историческаго и экономическаго матеріализма не повезло въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, даже пролетарскаго происхожденія. Оно всегда было болѣе культурно, болѣе идеалистично и имѣло болѣе стойкую „душу живу“, чѣмъ это казалось на первый взглядъ.

Повѣсть Вересаева „На поворотѣ“, появившаяся въ 1902 году и описывающая эволюцію 1900 года, дѣйствительно застала русское общество „на поворотѣ“ отъ марксизма къ идеализму — разумѣется, тѣ его слои, которые, будучи подвержены всякаго рода „повѣтріямъ“ и „поворотамъ“, привыкли „держать носъ“ по вѣтру. Лучшая же часть, проанализировавъ и отвергнувъ экономическій матеріализмъ, не пошла и за идеализмомъ и осталась на почвѣ психологическаго реализма, продолжая работу въ этомъ разъ принятомъ направленіи. Для нея не были „Америкой“ ни бернштейніанство, ни идеализмъ, успѣвшіе придти въ этотъ короткій періодъ на смѣну марксизму. Не были они „Америкой“ и для Вересаева.

Бернштейніанецъ и идеалистъ Токаревъ выведенъ у Вересаева типичнымъ „Не героемъ“ въ духѣ Потапенко, апологетомъ теоріи малаго дѣла: „я, говоритъ онъ, обыкновенный, маленькій человѣкъ. Мнѣ судьбой предназначено одно: жить смирно и тихо, никуда не суясь, не имѣя никакихъ серьезныхъ жизненныхъ задачъ, жить, какъ живутъ всѣ кругомъ“... „Наша прямолинейная требовательность, наша ненависть къ компромиссамъ тяжелымъ проклятіемъ лежитъ на всей нашей интеллигенціи. Это — спеціально русская черта, совершенно непонятная европейцу... У каждаго надъ

головой виситъ альтернатива: „либо герой, либо подлецъ: середины между этимъ для насъ нѣтъ".

Вересаевъ разсматриваетъ весь періодъ „На поворотѣ" какъ еще большій чѣмъ прежде квіетизмъ, какъ апологію „средняго человѣка" и „малыхъ дѣлъ". И у него готово обвиненіе, высказанное Сергѣемъ: полный банкротъ! Но здѣсь же есть и оправданіе отъ лица самого Токарева. У него было когда-то лучшее прошлое, и только теперь онъ такъ опустился. Но суть въ томъ, говоритъ онъ, что это прошлое уже отравило меня: я ужасаюсь той пустотѣ, въ которую иду, я не могу жить безъ смысла и безъ цѣли, а крыльевъ нѣтъ, которыя подняли бы меня надъ болотомъ"...

Мы видимъ здѣсь ту же причину квіетизма и небытія—„жизнь молчитъ, какъ могила". Нѣтъ крыльевъ, на которыхъ можно бы подняться, нѣтъ попрежнему знамени. Марксизмъ—„книжная теорія"; смѣнившее его бернштейніанство и идеализмъ суть синонимы квіетизма. Попрежнему не за что ухватиться. „Нѣтъ ничего такого, что дѣйствительно серьезно захватило бы, во что готова была бы вложить душу, говоритъ фельдшерица Варвара Васильевна—это олицетвореніе работы и служенія долгу до самопожертвованія, почти до героизма.

Не лучше положеніе и идеалиста Сергѣя, строящаго свои теоріи на требованіи „эгоизма—здороваго, сильнаго, жаднаго до жизни". Въ немъ надѣется Сергѣй найти убѣжище отъ „скуки".

„Скука стоитъ всякихъ лишеній, униженій, длинныхъ рабочихъ дней и тому подобнаго... Скучно! Вѣдь отъ этого „скучно" люди сходятъ съ ума и кончаютъ съ собою, это „скучно" накладываетъ свою изсушающую печать на цѣлыя историческія эпохи. Вырваться изъ жизненной скуки—вотъ самая главная задача современности. И суть не въ томъ, что *человѣкъ* вырвался изъ этой скуки, а что *люди* вырвались изъ нея. А для

этого что нужно? Нужно, чтобы вокругъ ключомъ била живая общественность, чтобы жизнь цѣликомъ захватывала душу, чтобъ эта жизнь была велика и сильна, полна борьбы и свѣта... Вотъ что нужно, чтобы ощущалъ человѣкъ, а не необходимость какого-то „долга"... Долгъ. Въ соотвѣтствѣ съ долгомъ самъ воздухъ начинаетъ спираться и пахнуть плѣсенью". „Въ концѣ-концовъ, я самъ по себѣ историческій фактъ. Я—интеллигентъ: что же такого? Я не желаю стыдиться этого, я желаю признать себя. Онъ хорошъ, не спорю, я вѣрю въ него и уважаю его, но прежде всего я хочу вѣрить въ себя".

Вся эта горячая тирада напоминаетъ рѣчи „Сергѣя Петровича" въ разсказѣ Л. Андреева. Этого неврастеника-бунтаря съ „бодрымъ духомъ и плотью немощной", „созданнаго горемъ и безсиліемъ", „мечтателя объ иномъ мірѣ".

„Вы, говоритъ Сергѣй Токареву, настойчиво проповѣдуете *„радость жизни* и силу духа,—а сами живете въ темномъ мірѣ нервной тоски и безволія: вы утверждаете, что человѣкъ долженъ дѣйствовать отъ себя, что въ такомъ случаѣ онъ открываетъ въ себѣ огромныя богатства души, а все ваше богатство заключается лишь въ поразительной черствости, самоувѣренности и самовлюбленности: только покамѣстъ все это скрашивается у васъ молодостью; а пройдетъ молодость,—что отъ васъ останется? ***Мы съ вами одинаковые банкроты***, мы одинаково слишкомъ бѣдны и богаты душою, чтобъ расплатиться съ громадными требованіями нашего разума".

Такъ оканчиваетъ Вересаевъ свой анализъ иллюзій, за которыя хваталась современная ему интеллигенція. Ни марксизмъ, ни ревизіонизмъ, ни идеализмъ. Ничто. На чемъ же остановиться? Куда идти дальше? Какъ мы увидимъ ниже, литература избрала крестный путь страданія *до конца* съ неподѣдимой „энергіей отчаянія"

по выраженію И. Я., и обратилась къ культу отчаянія и пессимизма.

Выше мы указали, что съ Вересаевымъ близко соприкасается его современникъ Тимковскій. Отмѣтимъ эти точки соприкосновенія. Въ соотвѣтствующій срокъ Тимковскимъ были написаны два тома разсказовъ (1900—901 г.), и драма „Сильные и слабые“ (1902 г.). Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ рѣзко и опредѣленно сказалась его индивидуальность, вырисовался его „міръ“ и его точка зрѣнія на міровой „порядокъ“.

Тимковскій первый изъ молодыхъ подходитъ прямо и ясно къ первопричинѣ царящихъ золъ. Рѣзко и смѣло онъ указываетъ: государственный механизмъ—вотъ орудіе, на которомъ четвертуется, колесуется и принимаетъ опредѣленныя формы то, что звучитъ такъ „гордо“—Человѣкъ! Государственный механизмъ, съ его гимназіями, университетами, службой—вотъ центральная лабораторія этихъ гуманкуловъ въ овечьей шкурѣ, но съ человѣчьей душой, мятущейся и страдающей.

Талантъ Тимковскаго, можно сказать, „жестокій талантъ“. Пишетъ онъ какъ-то совсѣмъ незамѣтно: ни особенно красиво, ни желчно, ни мягко: онъ кратокъ и лакониченъ, насколько это возможно, кратокъ до сухости. Но прочтите его простой, совсѣмъ простой разсказъ „Жизнь“ или „Сергѣй Шумовъ“. Это—„обыкновенная исторія“. Но когда вы дочитаете и закроете книгу—нѣмой, тупой, холодный и безмолвный ужасъ окостенитъ вашу мысль, ваши члены. Вы до такой степени чувствуете себя подавленнымъ, ничтожнымъ и такъ реально ощущаете холодныя, безпощадныя объятія металла и камня, цѣпкія объятія засосавшей васъ и васъ окружающихъ государственной машины, что долгое время не шевелитесь, не дышите, не живете. Да и зачѣмъ жить, когда я, мыслящій человѣкъ, царь природы—только мелкая, незамѣтная гайка въ испо-

линской не для меня работающей машины? Когда вотъ уже цѣлыя поколѣнія одно за другимъ добровольно, гурьбой, обгоняя другъ друга, рвутся въ объятія этого колосса изъ стали и мѣди, подхватываются на лету и какъ безумные кружатся въ этомъ вихрѣ гигантской работы на кого-то чужого, враждебнаго,—именуемаго культурой, прогрессомъ и проч. и проч. Вы чувствуете какъ то непонятное, стихійное панически-ужасное, о чемъ говорили Чеховъ, Вересаевъ, Андреевъ, Мопассанъ, Э. По, пріобрѣтаетъ плоть и кровь, реализуется, и вы его мучительно, безумно ясно ощущаете здѣсь, за спиной, кругомъ, вездѣ.

Равную этой картину механизма мы имѣемъ только у Горькаго въ его Челкашѣ. Вотъ она:

„Потемнѣвшее отъ поднятой въ гавани пыли, голубое небо мутно: жаркое солнце тускло смотритъ въ зеленоватое море, точно сквозь тонкую сѣрую вуаль. Оно не можетъ отражаться въ водѣ, то и дѣло разсѣкаемой ударами веселъ, пароходныхъ винтовъ, острыми килями турецкихъ фелюгъ и другихъ парусныхъ судовъ, бороздящихъ по всѣмъ направленіямъ тѣсную гавань, въ которой закованныя въ гранитъ свободныя волны моря, подавленныя громадными тяжестями, скользящими по ихъ хребтамъ, бьются о борта судовъ, о берега, бьются и ропщутъ, вспѣненныя ударами, загрязненныя разнымъ хламомъ.

„Звонъ якорныхъ цѣпей, грохотъ сцѣпленій у вагоновъ, подвозящихъ грузъ, металлическій вопль желѣзныхъ листовъ, откуда-то падающихъ на камень мостовой, глухой стукъ дерева, дребезжаніе извозчичьихъ телѣгъ, свистки пароходовъ, то пронзительно рѣзкіе, то глухо ревущіе, крики грузчиковъ, матросовъ и таможенныхъ солдатъ,—всѣ эти звуки сливаются въ оглушительную симфонію трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоятъ въ небѣ надъ гаванью, какъ бы боясь всплыть выше и исчезнуть въ немъ. А къ нимъ

вздымаются съ земли все новыя и новыя волны—то глухія, рокочущія, онѣ сурово сотрясаютъ все кругомъ, то рѣзкія, гремящія, рвутъ пыльный, знойный воздухъ.

„Гранитъ, желѣзо, дерево, мостовая, гавани, суда и люди—все дышитъ мощными звуками бѣшено-страстнаго гимна Меркурію. Но голоса людей, еле слышные въ немъ, слабы и смѣшны. И сами люди, первоначально родившіе этотъ шумъ, смѣшны и жалки: ихъ фигурки, пыльныя, оборванныя, юркія, согнутыя подъ тяжестью товаровъ, лежащихъ на ихъ спинахъ, суетливо бѣгаютъ то туда, то сюда въ тучахъ пыли, въ морѣ зноя и звуковъ, и такъ они ничтожны, малы по сравненію съ окружающими ихъ желѣзными колоссами, грудами товаровъ, гремящими вагонами и всѣмъ, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило ихъ.

„Стоя подъ парами, тяжелые гиганты-пароходы то свистѣли, то шипѣли, то какъ-то глубоко вздыхали, и въ каждомъ рожденномъ ими звукѣ чудилась насмѣшливая нота ироническаго презрѣнія къ сѣрымъ, пыльнымъ фигурамъ людей, ползавшихъ по ихъ палубамъ и наполнявшихъ ихъ глубокіе трюмы продуктами своего рабскаго труда. До слезъ смѣшны были длинныя вереницы грузчиковъ, носившихъ на плечахъ своихъ тысячи пудовъ хлѣба въ желѣзные животы судовъ для того, чтобы заработать нѣсколько фунтовъ того же хлѣба для своего желудка. Рваные, потные, отупѣвшіе отъ усталости, шума и зноя люди, могучія, блестѣвшія на солнцѣ дородствомъ и безмятежностью машины, созданныя этими людьми,—машины, которыя въ концѣ-концовъ приводились въ движеніе все-таки не паромъ, а мускулами и кровью своихъ творцовъ... Въ этомъ сопоставленіи была цѣлая поэма жестокой и холодной иронiи.

„Шумъ—подавлять, пыль, раздражая поздри,- слѣпила глаза, зной—пекъ тѣло и изнурять его, и все кругомъ—казалось напряженнымъ, назрѣвшимъ, теряющимъ терпѣніе, готовымъ разразиться какой-то грандіозной катастрофой, взрывомъ, за которымъ въ освѣженномъ имъ воздухѣ будетъ дышаться свободно и легко, на землѣ воцарится тишина, а этотъ пыльный шумъ, оглушительный, раздражающій, доводящій до тоскливаго бѣшенства, исчезнетъ, и въ городѣ, на морѣ, на небѣ станетъ тихо, ясно, славно... Но это только казалось. Это казалось потому, что человѣкъ еще не усталъ надѣяться на лучшее и желаніе чувствовать себя свободнымъ не умерло въ немъ"... (Рус. Бог. 1895 г., кн. 6).

Жутки разсказы Тимковскаго, жутка и жестока его муза. Въ ней нѣтъ красоты Челкаша, нѣтъ пышныхъ фразъ, красивыхъ словъ, нѣтъ криковъ, надрывовъ, рыданій. Тонъ его безумно спокоенъ, о какихъ бы ужасахъ ни шла рѣчь. Тихо и незамѣтно-вкрадчиво овладѣваетъ вашей мыслью и вашимъ чувствомъ авторъ, и вы незамѣтно для самого себя всецѣло отдаетесь во власть его настроеній и ночь обступаетъ васъ. Безумно хочется крикнуть, но звукъ замираетъ въ нѣмой пустотѣ...

И фонъ разсказовъ Тимковскаго не богатъ красками, не богатъ звуками, онъ такъ же мертвящъ и холоденъ, какъ все его міросозерцаніе. Ни моря, ни неба, ни воздуха. Городъ, какъ квинтъ-эссенція государственной машины. Камень, желѣзо, стекла оконъ, стѣны комнатъ, холодныхъ, враждебныхъ.

Въ новѣйшей поэзіи есть одно стихотвореніе, прекрасно передающее все настроеніе и творчество Тимковскаго, отражая, какъ въ каплѣ воды, все его „credo". Это стихотвореніе молодого поэта Дмит. Цензора — „Городъ".

„Безумный старый гробовщикъ!
„Копаешь ты свои могилы
„И жизнь, и молодость, и силы,
„Смѣясь, хоронишь каждый мигъ".

Въ этомъ стихотвореніи весь Тимковскій со всѣми его перс онажами: Петровскими — отцомъ, сыномъ и внукомъ изъ „Жизни", этой perpetuum mobile наслѣдственнаго автоматизма и механизма, Алеринымъ изъ „Признаній", Сергѣемъ Шумовымъ. И только однимъ отличается его міросозерцаніе: въ міровой ходъ машины немыслимо вмѣшательство „критически мыслящей личности" и вообще какой бы то ни было силы,—не остановить механизма, не задержать его хода! Крѣпки могучія „стѣны" житейской тюрьмы, неспровержима власть стихійной силы жизни, вихремъ крутящей „людишекъ".

„Сиди на жердочкѣ въ своей клѣткѣ, склевывай по зернышку жизнь и благодари Бога за это, а вылетишь изъ клѣтки—погибай!.." („Признанія"), „Поскивай себѣ, да помалкивай... Старайся все болѣе молчкомъ да шептушкомъ, шептушкомъ да молчкомъ"... („Травля").

И даже помощи ждать незачѣмъ и неоткуда—„не дойдетъ" („Отъ добраго сердца") или „опоздаетъ" („Не къ спѣху"), да и не къ чему: она безполезна, палліативна („Маленькія дѣла и большіе вопросы").

И счастье еще, если ты успѣлъ пристроиться какой-либо гайкой, валикомъ или колесикомъ къ машинѣ жизни, если ты вошелъ составной частью въ государственный механизмъ, и горе, если не нашелъ въ себѣ достаточно силъ на это или опоздалъ, или вышвырнутъ конкуренціей и престарѣлостью за бортъ государственнаго корабля. Остатокъ дней своихъ ты жадно и тоскливо будешь цѣпляться за быстро вертящіяся колеса механизма, за уносящуюся колесницу жизни, пока не будешь ей задавленъ („Куинтаторъ", „Затворженный", „Приватъ-доцентъ" и др.).

Въ этой жизни незачѣмъ быть сильнымъ, ни къ чему это: „я самъ слабъ,— но я горжусь этимъ, говоритъ герой драмы „Сильные и слабые“ Тамбурриновъ: да, горжусь, потому что всякій истинно порядочный человѣкъ обязанъ быть слабымъ. Тутъ, братъ, цѣлая философія... И живутъ-то по-настоящему лишь слабые, потому что они барахтаются, такъ сказать, въ самой гущѣ, а сильные знай только тянутъ, какъ буйволы, свою лямку. Пускай тянутъ! Мы, слабые, сидимъ себѣ барами, а сильные везутъ насъ... Ха-ха-ха! Пусть везутъ, олухи, пусть тянутъ, пусть кряхтятъ! Глупы эти сильные, какъ 40.000 братьевъ!...“

Здѣсь слышится уже чисто Мефистофельскій сарказмъ и издѣвательство надъ самимъ собой, ибо единственнымъ средствомъ избѣжать „повинности“ провозглашается слабость. Лучше быть слабымъ и хилымъ, лучше быть полутрупомъ, чѣмъ гайкой и необходимымъ колесомъ въ этомъ проклятомъ, ненавистномъ механизмѣ! Лучше смерть, чѣмъ такая жизнь!

И Тамбурриновъ ищетъ забвенья въ пьянствѣ. „Зачѣмъ вы пьете?“ спрашиваетъ его Серафима: „Для добродѣтели, Симочка. Когда я трезвъ, мнѣ каждый представляется скотомъ: а когда выпью: „хоть и скотина, думаю, а все-таки человѣкъ“. Я изъ любви къ человѣчеству пью! На днѣ порока я ищу добродѣтель...“

Не лучше чувствуютъ себя и другіе персонажи. Вотъ Георгій, не попавшій на колесницу жизни и раздавленный ею: „Никто не виноватъ въ этомъ, говоритъ онъ: Я просто попалъ въ колесо и долженъ погибнуть... Раньше я топорщился, цѣплялся за жизнь, а теперь смотрю кругомъ, какъ живутъ другіе, и знаю, что все это не для меня, не для меня...“ Вотъ Римма, который „надо“ нарочно растравлять себя, чтобы не оцѣпенѣть окончательно.“ Вотъ и другіе...

Всѣ они безпомощны, ничтожны и безсильны, какъ „Сильные", такъ и „Слабые". И временами изъ-подъ колеса жизни, въ которое они попадаютъ одинъ за другимъ, слышатся задушенные стоны и крики: „У меня какъ будто центра нѣтъ, а только одни радіусы, которые топорщатся въ разныя стороны! Я попалъ въ какой-то тупикъ... Выведите меня изъ него, ради Бога!! Воздѣйствуйте какъ-нибудь на меня! Обругайте, прибейте меня... дѣлайте со мной, что хотите, только вытащите меня изъ этого заколдованнаго круга!.."

Но „помощи нѣтъ, и ждать ея неоткуда".

Немного позднѣе Вересаева и Тимковскаго выступилъ на литературное поприще *Л. Андреевъ*, —писатель, которому суждено было сразу стать центромъ всеобщаго вниманія, поклоненія и подражанія вольнаго и невольнаго. Изъ общей массы трагическаго въ жизни онъ отмежевалъ себѣ особую область, въ которой и достигъ совершенства и оригинальности. Тѣмъ не менѣе начало его дѣятельности было всецѣло во власти общаго настроенія переживавшагося момента, и Л. Андреевъ вступилъ въ ряды молодой литературы, какъ соратникъ и товарищъ въ одномъ общемъ важномъ и нужномъ дѣлѣ, и голосъ его раздался въ унисонъ всему хору молодой литературы.

Л. Андреевъ выступилъ съ первымъ замѣченнымъ всѣми разсказомъ „Большой шлемъ" въ концѣ 1899 г.— на самомъ переломѣ столѣтія, а въ 1900 году появились еще три видные его разсказа: „Ложь", „Молчаніе" и „Разсказъ о Сергѣѣ Петровичѣ". Всѣ они, съ рядомъ другихъ небольшихъ очерковъ, составили I-ый томъ, выпущенный въ 1901 году О. П. Поповой. Печатался Андреевъ по большей части тамъ же, гдѣ Вересаевъ и Тимковскій,—въ „Жизни", а позднѣе въ газетѣ „Курьеръ", „Журналѣ для всѣхъ" и другихъ.

Л. Андрееву суждено было скристаллизовать въ себѣ всю скорбь и страданіе молодого поколѣнія и

найти имъ небывалое до сихъ поръ выраженіе. Къ нему, какъ ни къ кому другому, подходятъ слова Н. Я.- „энергія отчаянія". Его творчество это именно „энергія отчаянія", страстнаго, непобѣдимаго отчаянія одинокой страдающей души интеллигента, вопль, заглушающій по временамъ даже „мощные звуки бѣшенострастнаго гимна Меркурію".

Въ этой борьбѣ за существованіе въ механизмѣ жизни, гдѣ каждый готовъ перегрызть горло своему сосѣду, гдѣ „человѣкъ для человѣка волкъ", только они еще стоятъ, —одинокіе, выбитые изъ механизма, люди, не солидарные ни съ одной изъ дѣйствующихъ въ этомъ хаосѣ группъ, стоятъ по забытомъ, загубленномъ идеалѣ, по правдѣ, по свѣтлой и радостной жизни.

„Ахъ, мамуся, что это за народъ пошелъ на свѣтѣ! Каждый только о томъ и думаетъ, какъ бы съ тебя получить. Всѣ поголовно сдѣлались купцами, ростовщиками, торгашами. Всѣхъ цѣлковый заѣлъ! Въ обществѣ довѣрія не стало! Мизантропія какая-то вездѣ!.. Куда же мы идемъ и куда, наконецъ, придемъ?!" (Тимковскій „Сильные и слабые").

Противъ этого матеріализма возстаетъ чувствительная душа Сергѣя Петровича, которая не выноситъ всеобщей, прямой, равной и тайной эксплуатаціи личности государственной машиной. А между тѣмъ онъ чувствовалъ себя въ ея власти. „Онъ былъ полезенъ и полезенъ многими своими свойствами. Онъ былъ полезенъ для рынка, какъ то безымянное „нѣкто", которое покупаетъ колоніи, сахаръ, керосинъ и въ массѣ своей создаетъ дворцы для сильныхъ земли; онъ былъ полезенъ для статистики и исторіи, какъ та безымянная единица, которая рождается и умираетъ и на которой изучаютъ законы народонаселенія: онъ былъ полезенъ и для прогресса, такъ какъ имѣлъ желудокъ и зябкое тѣло, заставлявшее гудѣть тысячи колесъ и станковъ".

И душа Сергѣя Петровича не вынесла сознанія „полезности“ тому чужому, ненавистному и властному, котораго онъ не замѣчалъ сначала. „И всю его душу охватилъ стыдъ и глухой гнѣвъ человѣка, который долго не понималъ, что надъ нимъ смѣются, и, обернувшись, увидѣлъ оскаленные зубы и протянутые пальцы. Жизнь, съ которой онъ такъ долго мирился, какъ съ фактомъ, взглянула ему въ лицо своими глубокими очами, холодными, серьезными и до ужаса понятными въ своей строгой простотѣ. Все то, что до сихъ поръ смутно бродило въ немъ и проявлялось въ неясныхъ грезахъ и тупой тоскѣ, заговорило громко и властно. Его „я“, то, которое онъ считалъ единственно истиннымъ и независимымъ ни отъ слабаго мозга, ни отъ вялаго сердца,—возмутилось въ немъ и потребовало всего, на что оно имѣло право.

— Я не хочу быть нѣмымъ матеріаломъ для счастья другихъ! Я самъ хочу быть счастливымъ, сильнымъ и свободнымъ, и имѣю на это право,—выговорилъ Сергѣй Петровичъ затаенную мысль, которая бродитъ во многихъ головахъ и много головъ дѣлаетъ несчастными, но выговаривается такъ рѣдко и съ такимъ трудомъ.

...И онъ возсталъ противъ обезличившей его природы, возсталъ какъ рабъ, которому цѣпи натерли кровавыя язвы на тѣлѣ, но который долго не сознавалъ унизительнаго, безправнаго рабства и покорно сгибалъ спину подъ бичомъ надсмотрщика. Это было чувство лошади, которой силой чуда даровали человѣческое сознаніе и умъ въ тотъ самый мигъ, когда кнутъ полосуетъ ея спину, и для нея нѣтъ ни голоса, ни силы на сопротивленіе. И чѣмъ дольше, сильнѣе и безжалостнѣе былъ гнетъ, тѣмъ яростнѣе былъ гнѣвъ возставшаго“.

И въ головѣ интеллигента-пролетарія родится планъ осуществленія своихъ правъ на счастье. „Первое, что

могло бы приблизить его къ счастью, — это свобода отъ чуждаго и непріятнаго труда". Кромѣ того „онъ былъ увѣренъ, что сумѣетъ стать счастливымъ, если ему дадутъ *деньги*, эту странствующую по міру свободу, которую рабы чеканятъ для господъ".

„Было много путей къ деньгамъ, но передъ каждымъ стояли рогатки и не пускали Сергѣя Петровича. Онъ не могъ украсть, какъ не могъ и убить, такъ какъ не мозгъ, а чужая невѣдомая воля управляла его поступками. Тотъ трудъ, который былъ доступенъ ему, не могъ дать богатства, а все другое, — игра на биржѣ, фабрика, служба съ крупными окладами, искусство, женитьба на богатой,—все то, что дозволяется закономъ и совѣстью и даетъ состояніе въ одинъ день или въ годъ, — такъ же не существовало для него, какъ и умъ. И когда Сергѣй Петровичъ понялъ, что деньги не исправляютъ несправедливость природы, а углубляютъ ихъ, и что люди всегда добиваютъ того, кто уже раненъ природой,—отчаяніе погасило надежду, и мракъ охватилъ душу. Жизнь показалась ему узкой клѣткой, и часты и толсты были ея желѣзные прутья, и только одинъ незапертый выходъ имѣла она"...

„Если жизнь не удается тебѣ, если ядовитый червь пожираетъ твое сердце, знай, что удастся смерть".

И Сергѣй Петровичъ умираетъ. „Разъ нельзя побѣдить, нужно умереть", прибавляетъ авторъ.

„И, когда онъ ощутилъ въ себѣ спокойную готовность умереть—впервые за всю свою жизнь онъ испыталъ глубокую и горделивую радость,—радость раба, ломающаго оковы".

Его „я" независимое и благородное „я" почувствовало себя побѣдителемъ и слышало безмѣрную „радость *торжества самаго духа надъ слѣпой и деспотической матеріей*..." „Пусть сгибаются тѣ, кто хочетъ, а онъ ломаетъ свою желѣзную клѣтку. И жалкій, тупой и несчастный человѣкъ, въ эту минуту онъ поднимается выше

геніевъ, королей и горъ, выше всего, что существуетъ высокаго на землѣ, потому что въ немъ побѣждаетъ самое чистое и прекрасное въ мірѣ — смѣлое, свободное и безсмертное человѣческое „я"!

Глубокимъ сарказмомъ пропитанъ андреевскій „Разсказъ о Сергѣѣ Петровичѣ", — сарказмомъ, нанесшимъ окончательный ударъ идеализму и ницшеанству въ его положительной части „да, бытію". Это было безпощадное сведеніе иллюзій и паренія въ потустороннемъ мірѣ грезъ и сновидѣній о сверхчеловѣкѣ на землю, облитую потомъ и кровью, на землю, гдѣ „царитъ кумиръ священный", золотой телецъ.

Уже въ 1899 году въ разсказѣ „У окна" Андреевъ писалъ почти то же о жизни, что, какъ мы только что видѣли, говорилъ Тимковскій: „Какая это и странная, и ужасная вещь жизнь, въ которой такъ много всего неожиданнаго и непонятнаго... И куда ни сунься, все люди грубые, шумные, смѣлые, такъ и прутъ впередъ и все побольше захватить хотятъ. Жестокосердые, неумолимые, они идутъ напроломъ со свистомъ и гоготомъ и топчутъ другихъ, слабыхъ людей. Никъ одинъ несется отъ затоптанныхъ, да никто и слышать его не желаетъ. Туда имъ и дорога!"

Жутко жить въ такой жизни, и ушелъ бы изъ нея, да „куда идти-то?"

Остается зарыться въ свою раковицу-крѣпость и „отстраниваться отъ жизни" „молчкомъ да шептушкомъ, шептушкомъ да молчкомъ".

Но никуда не дѣнешься отъ паническаго ужаса жизни, отъ одиночества, отъ „Тяжи", отъ безумно-жуткаго „Молчанія". Лучше ужъ крики, вопли, рыданія, только бы не „Молчаніе", не „Тожь". Безуміе молить о справедливости, безуміе и ужасъ искать правды. Даже въ любви человѣкъ окруженъ ложью и одинокъ.

— „Пожалѣй меня, молилъ я, я такъ хочу правды. И я смотрѣлъ на ея чистый лобъ и думалъ, что правда

тамъ, за этой тоненькой преградой. И мнѣ безумно хотѣлось сорвать черепъ, чтобы увидать правду. А вотъ здѣсь, за бѣлой грудью бьется сердце — и мнѣ безумно хотѣлось разорвать грудь и хоть разъ увидать обнаженное человѣческое сердце...

— Ты хочешь правды,—а развѣ сама я знаю ее? И Андреевъ кончаетъ разсказъ возгласомъ-воплемъ:— „О, какое безуміе быть человѣкомъ и искать правды! Какая боль! Спасите меня! Спасите!“

Ищущіе правды — безумцы, прокаженные. Неприступна и нерушима „Стѣна“ „Молчанія“ и „Лжи“, ненавистная стѣна жизни, стѣна-убійца.

— Жестокая, отдай мнѣ мое дитя!

— Отдай мнѣ моего сына!

— Отдай мнѣ моего брата!

— Отдай мнѣ мою дочь!

— Отдай мнѣ мое дитя!

— Убійца, отдай мнѣ самого себя!“

Кричатъ одинъ за другимъ прокаженные: „А она,— она молчала. Такая лживая и подлая, она притворялась, что не слышитъ. И злобный смѣхъ сотрясъ мои изъязвленныя щеки, и безумная ярость наполнила наши изболѣвшія сердца. А она все молчала, равнодушно и тупо, и тогда женщина гнѣвно потрясла тощими желтыми руками и бросила неумолимо:

— Такъ будь же проклята ты, убившая мое дитя!

Красивый, суровый старецъ повторилъ:

— Будь проклята!

И звенящимъ тысячеголосымъ стономъ повторила вся земля:

— Будь проклята! Проклята! Проклята!

Но Стѣна жизни молчала. „Но не робко и не стыдливо молчала она,—сумрачен и грозно-покоенъ былъ взглядъ ея безформенныхъ очей“.

Безсильны натиски прокаженныхъ, ищущихъ правды, и траги-комичны. Сарказмъ — вотъ все, чего они заслуживаютъ:

„Пусть стонетъ она, разсуждаютъ прокаженные: но развѣ каждый трупъ не есть ступень къ вершинѣ? Насъ много, и *жизнь* наша тягостна. Устелемъ землю *трупами*: на трупы набросимъ новые трупы и такъ дойдемъ до вершины. И если останется только одинъ,— онъ увидитъ Новый міръ".

Поистинѣ только ради сарказма можно дать такое рѣшеніе, доставляющее возможность тому, кто былъ *назади* всѣхъ, перейдя черезъ трупы ищущаго человѣчества, воспользоваться всѣми благами потустороняяго міра! И развѣ это не насмѣшка надъ исканіями человѣчества и не иронія судьбы, которая дастъ возможность безпечальнаго бытія -паразиту, и стоитъ ли для этого устилать землю трупами? Но этого мало Л. Андрееву, и онъ пишетъ новую эпопею искапія — „Мысль", гдѣ „Бездна" жизни развернется уже во всей своей наготѣ. „Стѣна" растетъ и удлиняется.

„Никого въ мірѣ не любилъ я, кромѣ себя, а въ себѣ самомъ я любилъ не это гнусное тѣло, которое любятъ пошляки—я любилъ свою человѣческую мысль, свою свободу. Я ничего не зналъ и не знаю выше своей мысли, я боготворилъ ее—и развѣ она не стоила этого? Развѣ какъ исполинъ не боролась она со всѣмъ міромъ и его заблужденіями? На вершину высокой горы вознесла она меня, и я видѣлъ, какъ глубоко внизу копошились людишки съ ихъ мелкими животными страстями, съ ихъ вѣчнымъ страхомъ передъ жизнью и смертью, съ ихъ церквами, обѣднями, молебнами.

Развѣ я не былъ и великъ, и свободенъ, и счастливъ? Какъ средневѣковый баронъ, засѣвшій словно въ орлиномъ гнѣздѣ, въ своемъ неприступномъ замкѣ, гордо и властно смотритъ на лежащія внизу долины — такъ непобѣдимъ и гордъ былъ я въ своемъ замкѣ за этими черепными костями. Царь надъ самимъ собой, я былъ царемъ и надъ міромъ.

И мнѣ измѣнили. Подло, коварно, какъ измѣняютъ женщины, холопы—и мысли. Мой замокъ сталъ моей тюрьмой. Въ моемъ замкѣ напали на меня враги—гдѣ же спасеніе? *Въ неприступности замка, въ толщинѣ его стѣнъ моя гибель.* Голосъ не проходитъ наружу—и кто сильный спасетъ меня? Никто. Ибо нѣтъ сильнѣе меня, а я—*я и есть единственный врагъ моего „я“.*

Подлая мысль измѣнила мнѣ тому, кто такъ вѣрилъ въ нее и ее любилъ. Она не стала хуже: та же свѣтлая, острая, упругая, какъ рапира, но рукоять ея ужъ не въ моей рукѣ. И меня, ея творца, ея господина, она убиваетъ съ тѣмъ же тупымъ равнодушіемъ, какъ я убивалъ ею другихъ.

Наступаетъ ночь, и меня охватываетъ бѣшеный ужасъ. Я былъ твердъ на землѣ, и крѣпко стояли на ней мои ноги, а теперь я брошенъ въ пустоту безконечнаго пространства“...

Мы видимъ, какъ „Стѣна“, полагающая внѣшнія границы исканію и стремленію человѣка, расширяется и онъ въ себѣ самомъ находитъ „Стѣны“ черепныхъ костей, которыя какъ стѣны замка заточаютъ свободную мысль. „Мысль“ обращается противъ ея господина и болѣе не служитъ ему, мало того, она убиваетъ его. Чѣмъ же жить? И какъ жить, если продуктъ „Мысли“—апологія гордаго одиночества, доведенная до крайности выводовъ, сама себя отрицаетъ и уничтожаетъ?

Отвѣты на эти вопросы мы имѣемъ уже въ произведеніяхъ послѣдующаго періода литературной дѣятельности Леонида Андреева, совпавшаго съ періодомъ „апогея пессимизма“ и Sturm und Drang'a литературы. Этотъ же періодъ посвященъ у него спеціально ниспроверженію индивидуализма съ его пьедестала. На вопросъ, какъ же жить: въ одиночествѣ или со всѣмъ страждущимъ человѣчествомъ Андреевъ прямо отвѣчаетъ: нѣтъ, *не* въ одиночествѣ. Не высказывая положительныхъ взглядовъ, Андреевъ въ слѣдующемъ

крупномъ произведеніи „Жизнь Василія Ѳивейскаго“, подробно останавливается на вопросѣ, жить ли со страждущимъ человѣчествомъ, или тоже нѣтъ.

Къ нѣсколько иному выводу приходитъ *В. Успенскій* въ талантливомъ разсказѣ „Странники“ („Жизнь“, мартъ 1901 года), гдѣ мы находимъ оригинальную чисто-монассановскую теорію анархическаго воплощенія индивидуализма въ жизнь, такъ сказать, практическое его примѣненіе, которое такъ „не удалось“ Л. Андрееву. Насколько намъ извѣстно, В. Успенскій первый изъ „молодыхъ“ открыто, ясно и опредѣленно высказался за анархическое разрѣшеніе вопроса, поставленнаго на очередь молодой литературой. Приблизительно на той же точкѣ зрѣнія стоятъ одно время и М. Горькій, вліяніе котораго замѣтно на В. Успенскомъ. Но ихъ во всякомъ случаѣ нельзя ставить рядомъ, какъ писателей совершенно различныхъ по типу, по отправной точкѣ и міросозерцанію, каковое у Горькаго сплошное — да бытію! а у Успенскаго скорѣе чеховское — нѣтъ! Его „бродяжническая философія“ приближается, какъ мы увидимъ, къ Бунинскимъ настроеніямъ, тонко и нѣжно отраженнымъ въ его лирическихъ разсказикахъ-элегіяхъ, своего рода стихотвореніяхъ въ прозѣ.

В. Успенскій смотритъ на жизнь мрачно. Герои его разсказа—семинаристъ Кутеповъ и Никодимъ Абецедарскій подавлены безобразнымъ ужасомъ жизни, безсмысленными и нелѣпыми бѣдами. Кутеповъ послѣ десятилѣтняго пребыванія въ семинаріи явился въ житейскій міръ какъ человѣкъ посторонній, чужой, какъ наблюдатель. Для него все было странно и непривычно: „онъ чувствуетъ себя какъ матросъ дальняго плаванія на сушѣ: другія, непривычныя заботы, особенные интересы, даже иной языкъ“. Наблюдая жизнь, онъ невольно падалъ духомъ и даже страшился ея: „Что нужно для жизни? Почему она такая разная? Кто вознаградитъ человѣка за страданія и униженія, претерпѣваемыя имъ въ жизни?“

Въ періодъ подобныхъ запросовъ жизни судьба свела его съ Абецедарскимъ, „натурой скитальческой", неуживчивой, непримиримой, когда-то лучшимъ философомъ въ семинаріи, а теперь человѣкомъ безъ опредѣленныхъ занятій и привязанностей, то послушникомъ, то земскимъ учителемъ, то пѣвчимъ.

„Во мнѣ, говоритъ Абецедарскій, червякъ такой живетъ: какъ засяду гдѣнибудь на одномъ мѣстѣ, сосать меня начинаетъ.—и я иду... Такъ, куда глаза глядятъ"...

Жизнь ему представляется въ видѣ волнующагося моря: „люди борются, страдаютъ, плачутъ, стремятся къ тихому пристанищу", не понимая, что „такого пристанища" для нихъ быть не можетъ, что это — иллюзія: они — волны — „не знаютъ откуда приходятъ и куда уходятъ... Постичь, установить, опредѣлить пути жизни невозможно. Я вотъ всю жизнь думалъ: какъ? что? почему? А вѣдь ничего не выдумалъ, и ничего и никого у меня нѣтъ: ни угла, ни родныхъ, ни знакомыхъ, ни успокоенія!"...

Абецедарскій живетъ типичнымъ анархистомъ, безъ привязанностей, безъ правъ, но и безъ обязанностей. И своей философіей онъ производитъ на Кутепова сильное впечатлѣніе. Житейское море охватило его массой новыхъ переплетающихся положеній, хватающихъ за сердце стоновъ и воплей и поднимало въ его душѣ много тревожныхъ вопросовъ и скорбныхъ чувствъ. За недолгое время своего служенія ему пришлось участвовать въ вѣнчаніи слѣпого нищаго. Другой разъ повѣнчалъ убогаго сапожника. У этого послѣдняго ноги были сведены въ колѣняхъ и при вѣнчаніи онъ ползалъ вокругъ аналоя. Онъ ползалъ въ вѣнцѣ. Кутеповъ пѣлъ: „Исаія ликуй" и думалъ, что призывъ къ ликованію въ данномъ случаѣ звучитъ очень сильной ироніей. Отъ браковъ рождались младенцы. Крестить ихъ привозили въ грязныхъ тряпкахъ, съ сосками изъ ржаного хлѣба во рту. Кутепову часто

приходилось слышать, какъ какая-нибудь сердобольная кума причитала надъ ребенкомъ: „Охъ ты горькенькій, горемычненькій... Мать больная, ребятъ много... Взялъ бы Господь къ себѣ ангельскую душечку“... Младенцы одинъ за другимъ умирали...

Среди такихъ наблюденій у Кутепова даже по отношенію къ своей матери вырывается мальтузіанское:

— „Мать?.. Бѣдная мать! Совершенно напрасно женщины дѣлаются матерями“.

Часто они вмѣстѣ думали о жизни, и Абецедарскій тогда говорилъ:

— „Дѣло въ томъ, что человѣкъ слабъ.—Что есть человѣкъ, яко помниши его и сынъ человѣчъ его?

Я освободился отъ власти привязанностей: ни родныхъ у меня, ни дома, ни привычекъ. А это такая высота! Ухъ! Люди маленькими кажутся, какъ муравьи. Только удержаться на такой высотѣ трудно. Бросили на тебя презрительный взглядъ, — обидно; пѣсню запоешь,—этакая постыдная влага на глаза просится... Вотъ бокъ у меня начинаетъ болѣть,—думаешь: подъ какимъ заборомъ помирать придется? И забираетъ рабское желаніе, чтобъ своя конура была. А мнѣ этого желать нельзя, такъ какъ конуры у меня быть не можетъ“.

Тѣмъ не менѣе Кутепова все больше и больше тянетъ къ скитальческой жизни. „Вотъ онъ смотритъ на идущаго по большой дорогѣ странника и провожаетъ взглядомъ уходящую вдаль фигуру: не потому ли, думается ему, такія встрѣчи наводятъ грусть, что странники являются живымъ отрицаніемъ того, къ чему стремятся люди — спокойной жизни, обезпеченности, связей съ людьми и олицетвореніемъ философскихъ положеній о бренности существованія человѣка, которые гласятъ: „Минутною волной плесни –и пропади въ пучинахъ вѣковыхъ“. Вотъ онъ промелькнулъ и скрылся, и больше его не встрѣтишь... Куда онъ уходитъ, откуда

Кутепову все больше опостылѣваетъ та жизнь, въ которой всѣ болѣе всего заняты тѣмъ, чтобы все было „честно", „какъ слѣдуетъ". И къ человѣку предъявляются подобныя требованія. Жизнь все болѣе поражаетъ его своими чудовищными несправедливостями и жестокостями: вотъ похоронили нечаянно живую женщину, доведенную до обморока побоями мужа. Кутеповъ былъ пораженъ. —Ее похоронили живую. Дядя *зналъ*! Большой ли это грѣхъ? Большой, огромный, страшный! Схоронить живого человѣка!.. *А смотрѣть и ждать какъ человѣкъ мучится дни, ночи, мѣсяцы, годы имѣя одинъ выходъ передъ собою—самоубійство, можно?..*

Въ его головѣ все болѣе встаетъ вопросъ: гдѣ маякъ? Какъ жить?

А тутъ опять Абецедарскій, съ его философіей человѣка „внѣ механизма" жизни:

— А знаете? Я и вамъ бы совѣтовалъ пройтись... Нужно, знаете, отдалиться, отойти нѣсколько въ сторону... Я вотъ совсѣмъ „за штатъ" удалился,— „за штатъ" изъ жизни... ибо то, что полагается по штату, нашелъ для себя неподходящимъ: имѣть сосѣдей, имѣть семью, собственность, биться въ житейской сутолкѣ—я не увидѣлъ въ этомъ надобности для себя, или, можетъ быть, просто, у меня не оказалось подходящихъ для этого свойствъ,— не приспособился..."

И онъ увлекательно рисуетъ картину вольной анархической жизни: „идти куда-нибудь далеко безъ опредѣленнаго срока, даже безъ опредѣленной цѣли... Вы не можете себѣ представить, какъ это пріятно и успокоительно: вы не только уходите на это время изъ извѣстной мѣстности, но и морально освобождаетесь отъ обязанностей общежитія, которыя иными людьми чувствуются какъ тяжелый гнетъ: перемѣной занятія, мѣста службы этого нельзя достигнуть, потому что, чѣмъ бы вы ни занимались, гдѣ бы вы ни служили,— вездѣ собственно одно и то же: „однозвучной жизни

шумъ". А то идешь себѣ — и чувствуешь себя гражданиномъ всего большого міра: передъ тобой лежитъ путь безъ конца, надъ головой простирается вѣчное небо, и рѣка, и лѣсъ, и степь, черезъ которые ты проходишь, дышатъ на тебя вѣчной, спокойной, космической жизнью. И это бальзамъ для больной души..."

А жизнь съ людьми въ рамкахъ общественныхъ условій такъ тяжела и безобразна. „Много я передумалъ, говоритъ Абецедарскій, ходя по бѣлу свѣту, а все скорбѣю о томъ, что загадили его люди, загромоздили его своими выдумками, завалили отбросами. Мнѣ иногда противно было ходить по дорогамъ; почтовые, транспортные и всякіе пути сообщенія,—чортъ бы ихъ дралъ! Тащатъ по нимъ казенные пакеты, галантерейные товары, бакалею, гонятъ арестантовъ,— все это напоминало мнѣ, что я нахожусь въ большой тюрьмѣ, на большомъ островѣ Сахалинѣ, на который сами себя сослали люди.

И обидно мнѣ было за землю, за прекрасное больное твореніе! Господи! Искупи! Развѣ ты, „покрываяй водами земли твоя, полагаяй облаки на восхожденіе твое", хотѣлъ сотворить темницу, юдоль плача, скорби, скрежета зубовнаго... и пошлости! Ты хотѣлъ?!"

Кутеповъ соглашается, наконецъ, съ Абецедарскимъ, и они уходятъ „въ темную даль". Этотъ уходъ былъ принятъ въ нашей литературѣ: уходятъ герои Л. Андреева, М. Арцыбашева, Е. Лѣтковой, скитается И. Бунинъ во всѣхъ своихъ разсказахъ, скитается Скиталецъ, скитаются герои Горькаго, какъ Коноваловъ и др.

И всѣ они спѣшатъ, бѣгутъ, ѣдутъ, идутъ „куда угодно, только прочь изъ этого міра", въ которомъ люди такъ безумно похожи на „мухъ", попавшихъ въ мухоловку и безпомощно стараются освободиться. („Мухи", Е. Лѣткова).

— „Смотри, говоритъ Печниковъ, указывая на мухъ, — какъ вязнутъ и гибнутъ. А мы-то?! Вѣдь вся разница въ томъ, кто въ чемъ и какъ увязаетъ: одинъ въ страсти, другой въ честолюбіи, третій въ погонѣ за пропитаніемъ. И бьется и мучится, а конецъ у всѣхъ одинъ — мушиный!"

Отъ этого мушинаго конца бѣгутъ во всѣ стороны люди... Бѣгутъ отъ зла и несправедливостей жизни, бѣгутъ отъ рабства, бѣгутъ отъ культуры, отъ „благъ" соціальной жизни, отъ семьи, отъ собственности, отъ всего, что обязываетъ и связываетъ человѣка.

Наиболѣе изящно и привлекательно философія скитальчества воплощена въ творчествѣ *Бунина*, этого Мопассана одинокой, скитальческой жизни. Онъ тоже съ грустью глядитъ въ эту „темную даль, гдѣ забытая жизнь родины мерцаетъ такими блѣдными, тихими огоньками..." ("Нов. дорога").

„Гляжу я, говоритъ Бунинъ, на этотъ еще такой молодой, но уже почти замученный народъ, и стараюсь представить себѣ, что ждетъ его. А за окнами встаютъ лѣсныя чащи и уже синѣютъ зимнія сумерки. И вся Россія начинаетъ представляться мнѣ одной сплошной пустыней снѣговъ и лѣса, на которые медленно сходитъ теперь долгая и молчаливая ночь..."

„Какой странѣ принадлежу я,—думается мнѣ,—я, русскій интеллигентъ-пролетарій, одиноко скитающійся по роднымъ краямъ? Что общаго осталось у насъ съ этой лѣсной глушью? Она безконечно велика, и мнѣ ли разобраться въ ея печаляхъ, и мнѣ ли помочь имъ? Моя собственная маленькая жизнь проходитъ безпорядочно, въ мелкой погонѣ за минутами счастья, на которое я тоже имѣю право,—но гдѣ же оно въ этихъ снѣжныхъ пустыняхъ? И какъ страшно одиноки мы, безпомощно ищущіе красоты, правды и высшихъ радостей для себя и для другихъ въ этой исполинской

лѣсной странѣ." („Новая дорога". Жизнь 1901 года. Апрѣль. Ср. Л. Андреевъ. „Проклятіе звѣря"—1908 г.)

Ѣдетъ ли герой—alter ego Бунина на лошади („Перевалъ"), въ поѣздѣ („Новая дорога"), на пароходѣ („Туманъ"), имъ всюду овладѣваетъ скорбь, „тихая и глубокая тоска". Онъ сознаетъ и видитъ ужасъ и безсмысленность жизни, но чувствуетъ себя безсильнымъ въ борьбѣ съ ними. „Я не понимаю молчаливыхъ тайнъ этой ночи, но вѣдь я вообще ничего не понимаю. Я оглядывался кругомъ, чего-то ждалъ и во что-то хотѣлъ вдуматься, но чувствовалъ только одно—что я совершенно одинокъ и что я не знаю, гдѣ я и зачѣмъ существую".

Существованіе, тѣсно сливающееся съ нирваной, квіетизмъ, бытіе въ небытіи, „невыразимое спокойствіе великой и безнадежной печали".

„...Не разбудить ли кого-нибудь? Но нѣтъ,—зачѣмъ? Мнѣ никто не нуженъ теперь, и я никому не нуженъ, и всѣ мы чужды другъ другу"... („Туманъ").

Не надо людей, не „надо словъ участья и утѣшеній, не надо человѣческаго голоса: пусть бушуетъ вѣтеръ, пусть шумъ деревьевъ, стукъ ставней, чьи-то крики сливаются вдали въ одинъ дикій хаосъ! Жизнь какъ вѣтеръ подхватила меня, отняла волю, сбила съ толку и несетъ куда-то въ даль, гдѣ смерть, мракъ и отчаяніе", кричитъ „съ мучительнымъ наслажденіемъ" герой разсказа „Безъ рода—племени".

Это скитанье ради скитанья, бродяжничество, черпающее въ страданіяхъ и мукахъ одиночества свое наслажденіе—не менѣе ярко было выражено Мопассаномъ въ его „На водѣ". Только Мопассанъ спокойнѣе. По крайней мѣрѣ наружно.

„Полный штиль, мягкій и теплый штиль весенняго южнаго утра: мнѣ кажется, прошли уже недѣли, мѣсяцы, годы, какъ я оставилъ болтливыхъ и безпокойныхъ людей: я чувствую, какъ меня опьяняетъ сознаніе

одиночества, пріятное опьяненіе покоя, котораго ничто не нарушитъ, ни бѣлый конвертъ письма, ни синяя телеграмма, ни звонокъ двери, ни лай собаки. Меня нельзя ни позвать, ни пригласить. Я одинъ, дѣйствительно одинъ, дѣйствительно свободенъ!"

Въ то время какъ Бунинъ, Успенскій и всѣ „молодые" бѣгутъ отъ ужаса и безсмысленности жизни, отъ зла и неправды, Мопассанъ бѣжитъ отъ пошлости людской, пошлости механизма жизни.

„Я жилъ въ гостиницѣ и изучилъ человѣческую душу, которая тамъ выказывается во всей своей пошлости... Счастливы не знающіе ужаснаго отвращенія отъ постоянно повторяемыхъ дѣйствій. Счастливы имѣющіе силы каждый день приниматься за ту же работу, съ тѣми же жестами, среди той же обстановки, передъ тѣми же горизонтами, подъ тѣмъ же небомъ, проходить черезъ тѣ же улицы, гдѣ они встрѣчаютъ тѣхъ же лицъ и тѣхъ же животныхъ. Счастливы не замѣчающіе съ громаднымъ отвращеніемъ, что ничто не мѣняется, ничто не исчезаетъ и все надоѣдаетъ".

Какъ и Бунина въ „Перевалѣ", Мопассана гонитъ однако все тотъ же „голосъ жестокій, голосъ знакомый, жданый", приводящій въ отчаяніе, „сѣятель ужаса и бреда", будящій „страшную скорбь, всегда дремлющую въ глубинѣ сердца всѣхъ милыхъ существъ... Голосъ, безъ конца раздающійся въ нашей душѣ и упрекающій насъ безпрерывно, смутно и болѣзненно: голосъ мучительный, раздражающій, невѣдомый, неукротимый, незабываемый, жестокій, упрекающій насъ во всемъ томъ, что мы сдѣлали и въ то же время въ томъ, чего не дѣлали: голосъ смутныхъ угрызеній, безвозвратныхъ сожалѣній, прожитыхъ дней, встрѣченныхъ женщинъ, которыя быть можетъ полюбили бы насъ, исчезнувшихъ событій, пустыхъ забавъ, погибшихъ надеждъ: голосъ всего, что проходитъ, что убѣгаетъ, что обманываетъ, что исчезаетъ, всего того,

чего мы не достигли, чего мы не достигнемъ никогда, жиденькій голосишко, что кричитъ о неудавшейся жизни, безплодности борьбы, безсиліи разсудка, о немощи тѣла.“ („На водѣ“).

Но въ то же время это голосъ не то у одного, что у другого. У Бунина это скорѣе голосъ интеллигентнаго пролетарія, „слишкомъ ранняго предтечи слишкомъ медленной весны“, голосъ лишеннаго культуры, тогда какъ голосъ Мопассана голосъ барина, пресытившагося культурой.

Временами Бунина тянутъ культурные центры: „мы вѣдь въ сущности живемъ въ полудикой пустынѣ, гдѣ только есть оазисы... И если я нищій, и притомъ нищій, слабый духомъ, какъ полагается русскому человѣку— какъ не стремиться мнѣ къ этимъ все-таки люднымъ оазисамъ“. Но они не доступны интеллигентному пролетарію: „тамъ, среди этого оазиса, въ темнотѣ и тѣснотѣ Петербурга, чѣмъ я могу быть какъ не чиновникомъ, отдающимъ всю свою жизнь нелюбимой службѣ и не знающимъ для чего онъ существуетъ?“ („Новый годъ“).

Онъ, интеллигентный пролетарій, боленъ жаждой радости жизни, болѣзнью, общей всѣмъ интеллигентамъ, „жаждой того, чего у меня нѣтъ, какъ говоритъ герой „Безъ рода — племени“: а я хочу многаго... Любви, здоровья, крѣпости духа, денегъ, дѣятельности...“

Онъ „открыто смѣется и надъ марксистами, и надъ народниками“ и утверждаетъ, „что могъ бы стать общественнымъ человѣкомъ только при исключительныхъ условіяхъ—напримѣръ, если бы настали дни настоящаго общественнаго подъема, — или если бы я самъ былъ хоть немного счастливъ лично...“ Вѣдь у меня нѣтъ даже и этой связи съ родиной—своего $\frac{1}{7}$угла, своего пристанища. И я быстро постарѣлъ, вывѣтрился, нравственно и физически, сталъ бродягой въ

поискахъ работы для куска хлѣба, свободное время посвящалъ меланхолическимъ размышленіямъ о жизни и смерти, жадно мечтая о какомъ-то неопредѣленномъ счастьи...“

Изъ устъ Елены, героини того же разсказа, вырывается жестокое и рѣзкое слово по его адресу:

„Я одна, меня ждетъ ужасная жизнь гдѣ-нибудь въ сельскомъ училищѣ, я жалкая общественная единица, но я лучше тебя. А ты? Ты даже вообразить себѣ не можешь, какъ я васъ ненавижу всѣхъ — неврастениковъ, эгоистовъ, „предтечей будущаго“, какъ вы себѣ величаете! Все для себя! Вы ждете, что ваша ничтожная жизнь обратится въ нѣчто необыкновенное“.

На этотъ упрекъ авторъ устами героя отвѣчаетъ:— „Да, сказалъ я со злобой, подымаясь: я люблю жизнь, безнадежно люблю и, конечно, дорожу ею. Мнѣ дана только одна жизнь и та на какихъ-нибудь пятьдесятъ лѣтъ, изъ которыхъ пятнадцать ушли на дѣтство и ¼ уйдетъ на сонъ. И при этомъ я никогда не зналъ счастья! Смѣшно, не правда ли?“

Этотъ, казалось бы, пустяшный доводъ имѣлъ однако большое распространеніе въ молодой литературѣ того времени. Вотъ что буквально говоритъ герой разсказа Арцыбашева „Сумасшедшій“:

„Самое скверное въ томъ, что я-то умру, а все останется, останутся даже результаты моей жизни... ибо какъ бы ни былъ человѣкъ малъ, но есть какіе-то результаты его жизни! Да, такъ вотъ... Я, предположимъ, очень и очень страдалъ, я воображалъ, что ужасно важно, что я былъ честенъ или подлецъ первой степени... и что это пойдетъ, такъ сказать, въ прокъ: мои страданія, мой умъ, моя честность, моя подлость и даже моя глупость, понимаете, для будущаго, если не для чего другого, то хоть для назиданія... вообще я, какъ оказывается, хоть и жилъ, и въ великомъ страхѣ смерти ждалъ, но все это вовсе не

для себя (хоть и воображалъ, что для себя) а для... чортъ его знаетъ для чего, потому что и потомки мои тоже вѣдь не для себя будутъ жить...“ (Міръ Божій. Ноябрь 1903 г.).

Мы видимъ уже въ этихъ отвѣтахъ тенденцію бунта противъ „культа страданія“, намѣчающееся „да, бытію“, зародившееся какъ разъ въ это время и давшее такіе печальные плоды „наслажденья жизнью“, которые мы видѣли въ послѣдніе два года—культъ тѣла, „радость жизни“ и „проблему пола“. Словомъ—„Санина“. Разумѣется, это была уже скользкая дорога. Здѣсь же мы намѣчаемъ лишь первый истокъ этой мутной и грязной рѣки, хлынувшей въ русскую литературу. Какъ реакція тернистому пути, литературной Голговѣ, это теченіе, въ которомъ большую роль сыгралъ Арцыбашевъ, Горькій, Чириковъ, Вербицкая, Крандіевская и т. д. вплоть до Кузьмина — было дѣйствительно реакціонно и только сбивало молодую литературу съ ея великаго крестнаго пути, освященнаго страданіями духа и плоти, ничѣмъ незапятнаннаго, чистаго и честнаго.

Эти метанія современной литературы отъ „проблемы пола“ къ проблемамъ „бѣдности и безработицы“, отъ отрицанія къ „да, бытію“ и обратно и весь лихорадочно-безумный разбродъ современной мысли можно объяснить мопассановскимъ: „Каждый изъ насъ, чувствуя пустоту вокругъ себя, бездонную пустоту, въ которой бьется его сердце, мечется его мысль, идетъ какъ сумасшедшій, съ открытыми объятіями, протянутыми губами, ища какое-либо существо, чтобы прижать къ сердцу. И онъ обнимаетъ направо, налѣво, наудачу, не зная, не приглядываясь, не понимая, лишь бы не быть одинокимъ“. („На водѣ“).

Въ заключеніе, прежде чѣмъ подвести итоги этой главы, мы должны сказать нѣсколько словъ о двухъ женщинахъ-писательницахъ—Дмитріевой и Лѣтковой,

выступившихъ въ это же время. Ихъ творчество по тону мало отличалось отъ указаннаго теченія литературы, и онѣ дѣйствительно являются членами одной и той же дружной и сплоченной литературной семьи. Тоска одиночества, драма связанныхъ внѣшне, но „вѣчно чужихъ душъ", пошлость и тягота жизни, женскій пролетаріатъ и его муки въ тискахъ механизма, трагедія лишняго, пятаго колеса въ колесницѣ жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ неотразимое стремленіе къ новой лучшей жизни—вотъ основные мотивы ихъ творчества. Тоскливый, надрывной, рыдающій тонъ — все это не прибавляетъ ничего новаго къ очерченнымъ выше основнымъ мотивамъ. Въ связь съ новой женщиной, на которой особенно останавливается Лѣткова, невольно приходится ставить „Альму" Минскаго (1900 г.), какъ оказавшую взаимное вліяніе на обоихъ авторовъ. Какъ грань и ступень къ женщинѣ, ставшей темой нашихъ дней—къ „Ледѣ" и т. п., необходимо отмѣтить женщину Лѣтковой и Минскаго. Но въ нашу задачу сейчасъ это не входитъ.

Уже изъ этого бѣглаго обзора литературы, такъ сказать, дореволюціоннаго періода мы видимъ ея основную дорогу, ея характеръ, цѣль и ея пути.

Служащая неразрывнымъ продолженіемъ пути литературы Гаршинскаго и Чеховскаго періода, молодая литература быстрыми шагами идетъ по пути разрушенія житейскихъ иллюзій и, разъ навсегда отбросивъ спокойствіе, рвется по тернистому пути страданія къ единой цѣли, въ страстной жаждѣ правды. Порой ея герои уходятъ отъ людей и отдыхаютъ спокойной космической жизнью, вольными гражданами необъятнаго Космоса, въ „кровномъ родствѣ съ безмолвной природой". Но, какъ Абецедарскій, они снова и снова возвращаются къ людямъ, чтобъ вмѣстѣ страдать и плакать и лихорадочно работать мыслью все дальше и дальше...

Радость жизни.

ГЛАВА III.

Радость жизни.

(1897—1903 г.).

М. Горькій. Е. Чириковъ. М. Вербицкая. Декаденты М. Гуковскій.

Выше мы отмѣтили народившееся теченіе, діаметрально противоположное только что отмѣченному, теченіе, которое можно характеризовать какъ „Радость жизни", „Да, бытію!.." Центральное мѣсто въ немъ съ самаго начала занялъ Горькій. Рѣзкимъ диссонансомъ ворвалось въ ансамбль молодой литературы творчество М. Горькаго, въ которомъ многіе увидѣли зарю новой жизни, яркаго и брызжущаго энергіей жизни существованія. Уже въ его первыхъ разсказахъ конца 90-хъ годовъ чувствовалось молодое, свѣжее дарованіе, которому, казалось, суждено было вывести молодую литературу изъ сада пытокъ и самоистязаній. Но это только казалось. Рефлексъ скоро овладѣлъ и Горькимъ, и бодрые звуки его лиры смѣнялись скорбно-раздумчивыми и тоскливыми.

Но не Горькимъ, конечно, началось это параллельное теченіе-русло, и не въ немъ одномъ скристаллизовалось. Есть имена менѣе славныя, но больше послужившія этому направленію. Мы говоримъ о школѣ декадентовъ, зародившихся въ это же время. Ихъ мотыльковая жизнь не знала юдоли терній и печали: она знала только одно на свѣтѣ—любовь. „Только любовь!", какъ впослѣдствіи провозгласилъ К. Баль-

монтъ въ одномъ изъ своихъ сборниковъ. Тогда же народился вѣчно веселый и улыбающійся Чириковъ, дебютировавшій въ 97 году „Инвалидами“, мѣщанскижизнерадостная Вербицкая съ ея „Вавочкой“ (98 г.). Немного позднѣе Скиталецъ съ его трубными звуками. Творчество Арцыбашева (съ 901 г.), проникнутое вначалѣ, какъ мы видѣли, скорбными мотивами, имѣло, однако, въ корнѣ своемъ жизнерадостные гимны любви и тѣлу, какъ это такъ ясно и опредѣленно сказалось позднѣе въ „Санинѣ“.

Наиболѣе яркимъ, бьющимъ черезъ край оптимизмомъ міросозерцанія явилась критико-литературная книжка М. Э. Гуковскаго „Новыя вѣянія и настроенія“, которую нельзя было не замѣтить, ибо она была наиболѣе яркимъ и блестящимъ крикомъ сквозь слезы смѣющейся радости жизни. Въ ней какъ бы сконцентрировались и скристаллизовались всѣ индивидуалистическія ибсеновскія и ницшеанскія упованія, и ею завершились на рубежѣ 1903 года.

„Въ 1893-4 году—разсказываетъ М. Горькій—я познакомился въ Нижнемъ-Новгородѣ съ В. Г. Короленко, которому обязанъ тѣмъ, что попалъ въ большую литературу. Онъ очень много сдѣлалъ для меня, многое указалъ, многому научилъ“. Первый разсказъ Горькаго „Челкашъ“ былъ напечатанъ въ органѣ Михайловскаго и Короленко—„Русскомъ Богатствѣ“ и рѣшилъ судьбу писателя. Его произведенія съ того времени стали помѣщаться въ толстыхъ журналахъ: „Русской Мысли“, „Новомъ Словѣ“, „Жизни“ (съ 98 года). Начало его дѣятельности совпало съ отмѣченнымъ выше народженіемъ марксизма. „Лишенный всякой систематической подготовки—писалъ въ „Revue de Paris“ въ въ 1901 году Иванъ Странникъ, — Горькій внезапно вторгается въ литературу и вноситъ въ нее всю свѣжесть и непосредственность своего собственнаго характера. Между его твореніями и предшествующей

литературой нѣтъ преемственной связи: они являются какъ бы сами по себѣ, исключеніемъ, чудомъ".

Видѣлъ ли Короленко въ Горькомъ „одну изъ первыхъ ласточекъ нѣкотораго поворота въ настроеніи нашей молодежи", или иныя соображенія руководили имъ въ его симпатіяхъ къ начинавшему писателю, Горькій во всякомъ случаѣ не оправдалъ его надеждъ на него, какъ на „молодую силу, идущую на свою очередную смѣну поколѣній для трудной работы, намѣченной лучшими силами поколѣній предыдущихъ".

Онъ „вторгается" въ литературу, не имѣя съ ней „преемственной связи", какъ „исключеніе", какъ „чудо", какъ „чужестранецъ". И какъ „чужестранецъ" онъ нашелъ свое мѣсто въ рядахъ другихъ „чужестранцевъ" — русскихъ марксистовъ, которые охотно открыли ему объятія „Новаго Слова" и „Жизни".

Но какъ и Вересаевъ, радушно принятый въ марксистскихъ кругахъ, Горькій не оправдалъ ихъ надеждъ. Единственно гдѣ еще и имѣетъ Горькій нѣкоторый „корень", и то только какъ бытописатель, и быта преимущественно босяковъ, такъ сказать по сферѣ наблюденія—это въ Левитовѣ. Какъ Горькій, Левитовъ былъ прирожденнымъ бродягой, скитальцемъ и поэтомъ скитальческой жизни. Но сходство ихъ только кажущееся и разсѣивающееся при болѣе глубокомъ взглядѣ на ихъ творчество. Герои Левитова носятъ скорѣе Бунинскій нѣжный и мягкій колоритъ и жизнь ихъ не носитъ того бравурнаго характера, какъ у Горькаго. Не даромъ реализмъ Горькаго многими сравнивался съ „краснымъ цинизмомъ". Герои Левитова скорѣе Бунинскіе интеллигентные пролетаріи, скитающіеся „по бѣлу свѣту", или „взыскующіе града" В. Успенскаго. У Горькаго они—вульгаріе, и потому ихъ рѣчи такъ мало съ ними вяжутся, и оттого реализмъ Горькаго такъ не реаленъ и такъ мало походитъ на жизнь. Это скорѣе романтизмъ, идеализмъ и идеализація.

Его герои — ницшеанцы. Объ этомъ писалось много, и въ той же „Жизни“ была помѣщена когда-то статья о ницшеанствѣ горьковскихъ героевъ, принадлежавшая перу, если не ошибаюсь, Андреевича. И эти ницшеанскія рѣчи, пропитанныя индивидуализмомъ Ибсена, болѣе чѣмъ странны въ устахъ его героевъ-босяковъ. Но это охотно прощалось, ибо плѣняла бодрость настроенія и жизнерадостность, а были ли онѣ достаточно обоснованы, на это какъ-то не хотѣлось обращать вниманія. Горькій давалъ положительный и ясный отвѣтъ на вопросъ, гдѣ выходъ изъ тоски и этотъ выходъ казалось былъ такъ дѣйствителенъ. Бродяжничество, скитальческая, цыганская жизнь свободными гражданами необъятнаго міра, свободными и сильными индивидами, внѣ рамокъ соціально-общественной жизни, которую „загадили“ люди — все это было такъ желанно тогдашнему исканію. „Пѣснь о соколѣ“ звучала такъ страстно и заманчиво...

Чуждый молодой литературѣ своимъ идеализмомъ и жизнерадостностью, Горькій временами поддавался „рефлексу“ и соприкасался съ ней другой стороной своего творчества, казалось бы несовмѣстимой—философіей тоски. Его „Скуки ради“, „Зазубрина“ звучатъ чисто чеховскими нотками „хмурыхъ“ и „скучныхъ“ людей. Его „Тоска“ сближаетъ его со „Смертью Ивана Ильича“, его „Коноваловъ“—сродни „Лишнему человѣку“ и „Гамлету Щигровскаго уѣзда“ и общему *настроенію* молодой литературы. Но и въ этой сферѣ Горькій отличается отъ нея своей мелодраматичностью и сантиментальностью, какъ хотя бы въ „Макарѣ Чудрѣ“, этомъ ницшеанскомъ и антиобщественномъ разсказѣ.

„Смѣшные они, твои люди. Собрались въ кучу и давятъ другъ друга, а мѣста на землѣ вонъ сколько,— онъ широко повелъ рукой по степи. И всѣ работаютъ. Зачѣмъ, почему? Никто не знаетъ... Такъ нужно жить:

иди, иди и все тутъ. Долго не стой на одномъ мѣстѣ — чего въ немъ. Вотъ какъ день и ночь вѣчно бѣгаютъ, гоняясь другъ за другомъ, вокругъ земли, такъ и ты *бѣжай отъ думъ про жизнь*, чтобы не разлюбить ея. А задумаешься, — разлюбишь жизнь: это всегда такъ бываетъ".

Этотъ мотивъ „бѣгай отъ думъ про жизнь", конечно, не былъ знакомъ русской литературѣ, но позднѣе онъ встрѣчается у В. Успенскаго и Тимковскаго и др... Однако у нихъ онъ опять не то, что у Горькаго. Если они и говорятъ о бѣгствѣ отъ „думъ о жизни", то тѣмъ только подчеркиваютъ ужасъ самой жизни, нисколько не боясь „разлюбить жизнь". У нихъ это сарказмъ, тогда какъ у Горькаго—апологія. И такъ все время сплетается у Горькаго тоскливое настроеніе съ „любовью къ жизни", съ „радостью жизни", съ конечнымъ „да, бытію!" Кажется, будто онъ самъ не разобрался въ томъ, принимаетъ ли онъ жизнь, *какъ она есть*, или не принимаетъ.

Не чуждъ Горькому и мотивъ „наслажденіе въ страданіи", но смотрите какъ вульгарно онъ принимаетъ и истолковываетъ этотъ завѣтъ Достоевскаго! Это что-то въ родѣ садизма, когда Вѣра Михайловна обнажила любимому ею Коновалову руки „да какъ вцѣпится зубами въ мясо!" Или когда Василій „жестоко бьетъ" Мальву, которую любитъ, или когда бьетъ жену „супругъ" Орловъ. „Побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслажденіе... Она молчала, но она знала зачѣмъ, — знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидаютъ его ласки, страстныя и нѣжныя ласки примиренія". Развѣ такую обыденщину разумѣлъ Достоевскій, когда писалъ свои „Записки изъподполья"? И это ли разумѣлъ Ницше, когда въ „Генеалогіи морали" писалъ о „сладостномъ страданіи"?

У Горькаго много соприкосновеній съ самыми разнообразными писателями, отъ Ницше до Ришпена, отъ Левитова до Достоевскаго, но все, до чего онъ ни коснется, онъ удивительно вульгализируетъ, приспособляетъ для домашняго обихода. Несмотря на его тяготѣніе къ декадентамъ, которые, по его словамъ, „тонки и остры“ и „какъ иглы глубоко вонзаются въ неизвѣстное“; несмотря на элементы декадентства въ его произведеніяхъ, у него слишкомъ мало реальнаго символизма, возвышающаго житейскій фактъ до отвлеченія, до обобщенія, какъ это дѣлали Достоевскій, Чеховъ и Гаршинъ.

Его Орловъ, нѣчто въ родѣ „сверхчеловѣка“, скорбитъ, что онъ „никакого геройства не совершилъ... А и по сю пору—продолжаетъ онъ — хочется мнѣ отличиться на чемъ-нибудь... Раздробить бы всю землю въ пыль, или собрать шайку товарищей и жидовъ перебить... всѣхъ до единаго! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы встать выше всѣхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты“...

Ко времени писаній Горькаго дѣйствительно интересъ къ ученію Ницше сильно возросъ и обсуждался уже въ журналахъ. Въ это же время появились статьи А. Риля и Г. Зиммеля о Фридрихѣ Ницше, была издана Г. Тюркъ „Философія эгоизма“ и книга профес. И. Щеглова „Л. Толстой и Фр. Ницше. Очеркъ филос.-нравств. ихъ міровоззрѣнія“. Навстрѣчу этому пробуждавшемуся интересу къ Ницше и пошелъ М. Горькій, занявшись популяризаціей или, точнѣе, вульгаризаціей ученія философа. Къ 1901 году Горькій однако своими „Мѣщанами“ порвалъ съ ницшеанствомъ, выведя мѣщанами ницшеанцевъ Петра и Тетерева. Тамъ же въ числѣ мѣщанъ выводился Нилъ, черезъ годъ переходящій въ Луку („На днѣ“), который временно превозносится, но немного спустя Горькій отъ него открещивается, а еще черезъ годъ пишетъ своего „Че-

ловѣка",—ходульное, романтическое восхваленіе „Человѣка" вообще опять въ стилѣ Луки.

Любопытно между прочимъ отношеніе Горькаго къ интеллигенціи, которой онъ, очевидно, никогда не зналъ и не понималъ. Это чисто-махаевскія отожествленія ея съ буржуазіей, ни на чемъ не основанныя, не доказываемыя, брошенныя въ пространство. Его ненависть къ интеллигенціи пришла къ нему съ тѣхъ поръ, какъ онъ порвалъ съ ницшеанствомъ. „Мнѣ нравится быть обывателемъ" говоритъ его интеллигентъ: „Я рядовой русскій человѣкъ, русскій обыватель! Я обыватель—и больше ничего-съ! Вотъ мой планъ жизни... я буду жить, какъ хочу! И, наконецъ, наплевать мнѣ на ваши росказни, на призывы.... идеи!" Такъ говоритъ въ „Дачникахъ" нѣкій Сусловъ, причисляемый авторомъ къ интеллигенціи. Но кто же не узнаетъ въ немъ просто подгулявшаго буржуа, сколько бы авторъ ни утверждалъ, что это и есть интеллигентъ.

Изъ этого небольшого обзора творчества Горькаго достаточно видно, что второе параллельное теченіе молодой литературы пріобрѣло въ Горькомъ незавидную интеллектуальную силу, и если Горькій пользовался когда-либо успѣхомъ, то исключительно въ первый періодъ своей дѣятельности и то только въ части своихъ произведеній.

Колеблющійся и бросающійся изъ стороны въ сторону, Горькій такъ и остался неустановившимся, ибо не имѣлъ корней въ предшествующей литературѣ. Все его творчество, вплоть до упадка популярности, прошло какъ бы впустую, и чѣмъ дальше творилъ онъ, тѣмъ дальше уходилъ отъ современности.

Всѣ семь томовъ его произведеній, изданные товариществомъ „Знаніе", равно какъ и семь томовъ Чирикова, сдѣлали слишкомъ незначительный вкладъ въ русскую литературу, несмотря на подавляющую плодовитость обоихъ писателей. Оба, принятые въ мар-

ксистскихъ кругахъ съ распростертыми объятіями, они слишкомъ быстро исписались и сошли со сцены раньше, чѣмъ этого можно было ожидать.

Произведенія Чирикова, этого „знатока нашей провинціи“ по утвержденію его поклонниковъ, слишкомъ недалеко ушли отъ Лейкина и остаются при всей его „наблюдательности“ — пустяшнымъ балагурствомъ. И развѣ можно сравнить ихъ съ произведеніями дѣйствительнаго знатока провинціи—Чехова? Чириковъ—олицетвореніе самой „безликой“ пошлости: о чемъ бы онъ ни писалъ: объ именинахъ ли проститутки, о пріѣздѣ ли въ провинцію студентовъ, о спорахъ ли марксистовъ съ народниками, объ издательствѣ ли газеты въ „богоспасаемомъ“ городѣ, о крестьянскихъ ли волненіяхъ, объ усмиреніяхъ, о помѣщикахъ, офицерахъ, купцахъ, мѣщанахъ, педагогахъ—вездѣ этотъ пыльный, липкій налетъ пошлости, мѣщански-спокойнаго міросозерцанія, самодовольно глядящаго на весь калейдоскопъ міра глазами любимца всѣхъ гостиныхъ, весельчака и балагура. Сегодня онъ—здѣсь, а завтра—тамъ, пять минутъ назадъ въ провинціи, пять минутъ спустя на крестьянскомъ съѣздѣ, и вездѣ онъ одинъ и тотъ же, улыбающійся и заносящій въ записную книжку ваши примѣты, манеры, промахи. Что-то въ родѣ маленькаго Боборыкина,—вѣчно трудолюбивое, кропотливое, мелочное. И все это не идетъ дальше внѣшности, не углубляется въ психологическія переживанія, скользитъ по верху, порхаетъ и, какъ теперь принято говорить, „чирикаетъ“. Вы не видите ни нервовъ писателя, ни его міросозерцанія, ни его „я“, вы слышите разсказчика, балагура, что-то въ родѣ „раешника“, переносящаго свой „рекъ“ изъ города въ городъ, изъ деревни въ деревню и всюду разсказывающаго одно и то же, придавая временами мѣстный колоритъ своимъ повѣстушкамъ.

Въ одномъ нельзя отказать Чирикову — онъ законное дитя марксизма. Та же поверхностность наблюденія „экономическихъ надстроекъ", не допускающая психологическихъ углубленій, та же строго выдержанная, спокойная, безпечальная вѣра въ торжество „экономическаго фактора", то же бездушное и ограниченное міропониманіе.

Удивительно не везетъ марксизму въ художественной литературѣ. Тремъ литераторамъ открылъ онъ свои объятія—Вересаеву, Горькому и Чирикову, и никто въ полной мѣрѣ не оправдалъ его упованій. Вересаевъ и Горькій слишкомъ отдались психологическому реализму и „надстройкамъ", Чириковъ дискредитируетъ теорію экономическаго матеріализма своей излишней болтливостью. Вотъ во что—говоритъ вся его литературная дѣятельность—мы желаемъ превратить художественную литературу — мы, экономическіе матеріалисты.

Къ настроеніямъ Чехова возвращается и не разъ еще будетъ возвращаться литературная мысль, а семь томовъ Горькаго или семь томовъ Чирикова — кто къ нимъ когда-нибудь вернется? Одна лишь присяжная критика, скрѣпя сердце, быть можетъ, возьметъ и скучая проглядитъ сначала одну стопу, потомъ другую, просмотритъ, вздохнетъ и отложитъ. Скучно. Скучно, несмотря на то, что они пишутъ такія веселыя вещи, а Чеховъ писалъ о Скукѣ...

Не менѣе безнадежную поклонницу „радости жизни" пріобрѣла литература въ Вербицкой, плодовитой и вначалѣ талантливой писательницѣ, выступившей въ 1898 году въ „Жизни" съ „Бабочкой" и съ тѣхъ поръ ежегодно выпускавшей по одному томику-роману. Вся ея дѣятельность — сплошной гимнъ радости бытія, любви и „крупной курчавой головѣ" мужчины. Она любитъ и по-старому и „По-новому" наслаждается жизнью во всѣхъ своихъ романахъ, и порхаетъ отъ

одной курчавой головы къ другой, отъ одного мужчины къ другому, отъ ницшеанца къ марксисту, отъ марксиста къ индивидуалисту, отъ индивидуалиста къ народнику и у всѣхъ ихъ находитъ одно общее, что именуется „наслажденіемъ жизни“, „Снами жизни“. Какъ у Боборыкина или у Чирикова, всѣ эти ярлыки нисколько не связаны у ней органически и психологически съ личностью. И мужчины, и женщины у ней по преимуществу чеховскія „Душеньки“, мѣняющія свои убѣжденія сообразно съ тѣмъ, къ кому онъ или она въ данный моментъ идетъ.

Что можетъ дать такая литература? А между тѣмъ такого рода повѣсти и романы нашли своихъ подражателей позднѣе, въ эпоху анализа „проблемы пола“— въ жизни многихъ и многихъ изъ молодыхъ, какъ Кузьминыхъ, Каменскихъ, Сологубовъ, Зиновьевыхъ-Аннибалъ и проч. проч. На этой эротической почвѣ зародились и выросли цвѣты декадентства, сыгравшаго позднѣе болѣе крупную роль въ нашей литературѣ, чѣмъ это первоначально казалось.

Декадентство явилось, быть можетъ, въ силу контраста, діаметрально противоположнымъ матеріалистическому экономизму міросозерцаніемъ и провозгласило символизмъ, сенсуализмъ и мистицизмъ столпами литературы. Какъ то, такъ и другое было крайностью, одинаково чуждой русской литературѣ, и въ своихъ крайнихъ положеніяхъ одинаково не привившейся и одинаково безслѣдно пропавшей для нея идеи.

До сихъ поръ мы умышленно не останавливались на поэзіи этого періода, ибо въ нашу задачу входило лишь разсмотрѣніе по преимуществу беллетристики, но, говоря о декадентствѣ, волей-неволей, хотя вкратцѣ, приходится остановиться на поэзіи, такъ какъ иного рода литературныхъ произведеній декадентство почти не знало, по крайней мѣрѣ до самаго послѣдняго времени. Объясняется это тѣмъ, что внутреннее содер-

жаніе декадентской литературы, изложенное прозаическимъ языкомъ и освобожденное отъ стилистическихъ красотъ, было бы слишкомъ бѣдно. „Все россійское декадентство той эпохи базировалось на сочетаніи словъ, на метафорахъ, на противопоставленіяхъ", въ родѣ „громкозвучной тишины", но дальше этого не шло и не могло идти, будучи глубоко реалистично по типу сознанія" (Ивановъ-Разумникъ 2-й томъ).

Что же касается оригинальныхъ поэтовъ, то ихъ не много. Бальмонтъ, Брюсовъ, Мережковскій, Гиппіусъ, Сологубъ. Но даже и ихъ творчество, начавшееся съ переводовъ изъ западныхъ декадентовъ, осталось подъ сильнымъ вліяніемъ Запада.

Декадентство пришло къ намъ почти одновременно съ ницшеанствомъ и какъ и послѣднее было приспособлено для домашняго потребленія. Частью оно слилось съ идеализмомъ, частью съ марксизмомъ.

Началась эта литература еще въ органѣ того же критика декадента Волынскаго — „Сѣвернымъ Вѣстникѣ" въ началѣ 90-хъ годовъ, въ эпоху пониженія общественной энергіи, вскормленная на почвѣ 80-хъ годовъ, и въ своемъ расцвѣтѣ совпала съ расцвѣтомъ марксизма. Писали въ немъ Минскій, Мережковскій, Сологубъ и Гиппіусъ. Уже къ концу 98-го года журналъ влачилъ свое существованіе и съ новаго года прекратился за неимѣніемъ подписчиковъ. Почва Петербурга, очевидно, не была для нихъ благопріятна. Въ это время въ Москвѣ началъ однородную дѣятельность Валерій Брюсовъ. Немного ранѣе выступилъ въ Ярославлѣ съ сборникомъ стиховъ К. Д. Бальмонтъ, по собственному признанію „не имѣвшимъ, конечно, никакого успѣха", а въ 1894 году выпустилъ свою первую книгу „Подъ сѣвернымъ небомъ".

Временно декаденты пріютились въ марксистскихъ журналахъ и главнымъ образомъ въ „Жизни", гдѣ писали до ея прекращенія. А съ 1900 года должны были

перебраться въ Москву, которой суждено было стать гнѣздомъ декадентства. Скоро въ Москвѣ создалось цѣлое книгоиздательство декадентской литературы съ астрономическимъ названіемъ „Скорпіонъ". Оно издало произведенія Брюсова, Бальмонта, Коневскаго, А. Добролюбова и др.

Съ 1901 года начали издаваться періодически журналы-альманахи декадентскаго направленія, тѣмъ же издательствомъ „Скорпіонъ". Первый альманахъ былъ названъ „Сѣверные цвѣты", второй подъ тѣмъ же названіемъ вышелъ черезъ годъ, вмѣсто третьяго въ 1903 году появился первый альманахъ издательства „Гриффъ", а въ 1904-мъ второй. Въ томъ же году вышелъ третій альманахъ „Скорпіонъ"—„Сѣверные цвѣты Ассирійскіе", а черезъ годъ—IV-й. Въ 1906 году появился альманахъ изданія „Самоцвѣтъ" подъ названіемъ „Хризопрасъ". Въ томъ же году начали выходить сборники „мистическихъ анархистовъ"—„Факелы" подъ редакціей Чулкова и съ участіемъ Л. Андреева. Изъ петербургскихъ журналовъ съ 1904 года открылъ свои объятія декадентамъ „Новый Путь", гдѣ водворились: Гиппіусъ, Г. Чулковъ, Бальмонтъ, Брюсовъ и „идеалисты" Булгаковъ и Бердяевъ. Тамъ же началъ Б. Зайцевъ. Изъ московскихъ журналовъ въ рукахъ декадентовъ были „Вѣсы", „Золотое Руно", „Перевалъ". Сотрудничали въ нихъ А. Бѣлый, В. Брюсовъ, А. Блокъ, З. Гиппіусъ, Минскій, Бердяевъ, С. Городецкій, В. Стражевъ, Нина Петровская, В. Ивановъ, С. Кречетовъ, Зиновьева-Аннибалъ и др. Къ концу 1907 года въ рукахъ декадентовъ оказался литературный отдѣлъ почти всѣхъ московскихъ газетъ, кромѣ развѣ „Русскаго Слова" и „Русскихъ Вѣдомостей" („Утро" въ нѣсколькихъ видахъ, „Часъ" и др.) и многіе журналы „толстые" и „нетолстые". Народились собственные критики-декаденты, какъ Пильскій и вскормленный „Вѣсами" Чуковскій, которому суждено было смѣнить Во-

лынскаго. Колоссальная плодовитость и подавляющее количество собраній сочиненій всевозможныхъ А. Добролюбовыхъ, Коневскихъ, Блоковъ, Бѣлыхъ, Гиппіусъ, Сологубовъ, Ремизовыхъ, Городецкихъ, Кузьминыхъ, Мережковскихъ, Рукавишниковыхъ, Крачковскихъ, Кречетовыхъ, Хуслендеровъ и пр. и пр. производили впечатлѣніе, подавляли, удивляли. Молодой и увлекающійся критикъ П. Пильскій настолько былъ пораженъ, что во всеуслышаніе провозгласилъ: „будущее того великаго и чудеснаго, что зовется русской литературой—въ нихъ, отъ нихъ и черезъ нихъ".

Такова въ общихъ чертахъ вся внѣшняя исторія декадентства. Внѣшне блестящая и шумная, она явилась въ концѣ-концовъ „пуфомъ", ибо гдѣ слишкомъ много званыхъ, всегда мало избранныхъ. Такъ оно и оказалось. Но объ этомъ послѣ. Уже въ самомъ обзорѣ исторіи декадентства мы забѣжали впередъ, и хотя это въ интересахъ цѣльности изложенія и наглядности, тѣмъ не менѣе мы должны вернуться къ разбираемому нами моменту.

Зародившееся, какъ мы уже сказали, въ мрачные годы реакціи, развившееся въ дни расцвѣта пассивнаго тогда экономическаго матеріализма, умолкнувшее въ годы революціи и снова поднявшее голову съ воцареніемъ реакціи—декадентство на первыхъ порахъ было „воспринято", какъ и марксизмъ, „поколѣніемъ уставшимъ" въ эпоху „разочарованія и пониженія уровня общественной жизни".

Соотвѣтственно этому и мотивы его были полны разочарованія и грусти. Отъ „чистой поэзіи" декадентство сразу перешло въ сферу пессимизма и отчаянія, поддѣлываясь въ тонъ всей литературѣ.

Начавъ съ ультра-декадентскихъ стихотвореній, въ родѣ порываній „за предѣлы предѣльнаго" и съ тяготѣнія къ невѣдомой красотѣ, Бальмонтъ въ томъ же сборникѣ („Въ безбрежности") теряетъ какъ-то скоро-

постижно душевное равновѣсіе и бога, которому только-что поклонялся: „Ахъ только бы знать, что могу я молиться, что можно молиться, кому я молюсь, ахъ только бы въ мысляхъ, въ желаніяхъ слиться съ тѣмъ чистымъ, къ чему я такъ жадно стремлюсь“.

Потерявъ вѣру въ Бога, онъ уже не находитъ покоя: „Нѣтъ, не могу я заснуть, и не ждать, и смириться: въ сердцѣ волненье растетъ и растетъ! Нѣтъ, мнѣ не нужно покоя, не нужно забвенья: если же счастье намъ не дано, въ море отчаяній, въ темную бездну мученій брошусь на самое дно!“ Или тамъ же: „Помогите! Помогите! Я одинъ въ ночной тиши! Цѣлый міръ ношу я въ сердцѣ, но со мною ни души. Для чего кровавымъ потомъ обагряется чело? Какъ мнѣ тяжко, какъ мнѣ душно! Вѣковое давитъ зло. Помогите! Помогите! Но никто не внемлетъ мнѣ, только звѣзды, улыбаясь, чуть трепещутъ въ тишинѣ! Только ликъ луны мерцаетъ, да въ саду, среди вершинъ, шепчетъ вѣтеръ перелетный: ты одинъ, одинъ, одинъ!“

Дивныя по экспрессіи стихи. Но та ли это „энергія отчаянія“, съ которой мы знакомы въ молодой литературѣ? Тотъ ли это „героическій пессимизмъ“, который мы видѣли у Чехова? Та ли это „боль за поруганный идеалъ“, какъ у Гаршина? Та ли это погоня за правдой, которую мы видѣли у Андреева?

Въ той же книгѣ „Въ безбрежности“ имѣется категорическій отвѣтъ на это: „тебя я хочу, мое счастье, моя неземная краса! Ты—со мною во мракѣ ненастья, ты—жгучему сердцу роса. Любовью къ тебѣ окрыленный, я брошусь на битву съ судьбой, какъ колосъ, въ грозахъ опаленный, склонюсь я во прахъ предъ тобой. За сладкій восторгъ упоенья я *жизнью* своей заплачу. Хотя бы цѣной преступленья—тебя я хочу!“

Такова „скорбь“ самого „учителя“ русскаго декадентства. Не лучше обстоитъ дѣло и съ другимъ корифеемъ декаданса—Мережковскимъ. Въ своихъ „Новыхъ

стихотвореніяхъ" онъ характеризуетъ все направленіе, изображаетъ ихъ идеалы, ихъ вѣру въ боговъ. „Мы соблазнъ неутоленныхъ... Мы посмѣшище людей..." Декаденты—„слишкомъ ранніе предтечи слишкомъ медленной весны". И такъ же скоропостижно, какъ и Бальмонтъ, мѣняетъ элегическій тонъ и задорно восклицаетъ: „Дерзновенны наши рѣчи... Мы для новой красоты нарушаемъ всѣ законы, преступаемъ всѣ черты". Но „преступный" тонъ словъ смѣняется элегическимъ, и Мережковскій самъ произноситъ себѣ приговоръ, тревожно озираясь на себя и свое будущее: „Послѣднимъ ароматомъ чаши,—лишь тѣнью тѣни мы живемъ, и въ страхѣ думаемъ о томъ, чѣмъ будутъ жить потомки наши". Онъ такъ же, какъ и Бальмонтъ, одинокъ... въ любви: „Чужое сердце—міръ чужой, и нѣтъ къ нему пути! Въ него и любящей душой не можемъ мы войти. И что-то есть, что глубоко горитъ въ твоихъ глазахъ и отъ меня такъ далеко, какъ звѣзды въ небесахъ... Въ своей тюрьмѣ—въ себѣ самомъ, ты бѣдный человѣкъ, въ любви и въ дружбѣ и во всемъ одинъ, одинъ навѣкъ!" То же пишетъ и Гиппіусъ въ предисловіи къ своимъ стихамъ: „каждое „я" теперь сдѣлалось особеннымъ, одинокимъ, оторваннымъ отъ другого „я" и потому непонятнымъ ему и ненужнымъ.. Намъ каждому страстно нужна и дорога наша молитва, дорого наше стихотвореніе. Но другому, у котораго завѣтное „свое"—другое, непонятна и чужда моя молитва. Сознаніе одиночества еще болѣе отрываетъ людей другъ отъ друга, обособляетъ, замыкаетъ душу. Мы стыдимся своихъ молитвъ".

Но если Гиппіусъ несчастна и одинока,—чего же ей нужно? Быть можетъ любви, какъ Бальмонту и Мережковскому?—„Только любви?" О, нѣтъ, конечно! „Увы въ печали безумной я умираю, я умираю... Стремясь къ тому, чего не знаю, не знаю... И это желаніе не знаю откуда, пришло откуда, но сердце проситъ и

проситъ чуда, чуда. О, пусть будетъ, чего не бываетъ, никогда не бываетъ. Мнѣ блѣдное небо чудо обѣщаетъ, оно обѣщаетъ; но плачу безъ слезъ о невозможномъ обѣтѣ, о невозможномъ обѣтѣ, мнѣ нужно того, чего нѣтъ на свѣтѣ, чего нѣтъ на свѣтѣ".

Въ результатѣ такого творчества полное безразличіе и равнодушіе къ добру и злу, вполнѣ объяснимое той атмосферой, въ которой выросли русскіе декаденты,—равнодушіе уже чисто реакціонное: „И зло и благо,— тайна гроба, и тайна жизни — два пути — ведутъ къ единой цѣли оба., И все равно куда идти". (Мережковскій). „Я не хочу пытать и числить... Какое счастіе не мыслить, какая нѣга—не желать!" („Нирвана").

Русская литература одно время была въ рукахъ дворянина, потомъ пришелъ „разночинецъ", за нимъ интеллигентный пролетарій, въ лицѣ же декадентовъ народился „литературный буржуа".

„Спорятъ въ душѣ человѣка вѣчная радость и жизнь, вѣчная тайна и смерть".

Литературный буржуа, какъ идеалогъ группы, мѣщански настроенной, страстно любитъ *жизнь, какъ она есть*, со всѣми доступными ему ея благами и наслажденіями, онъ жадно пьетъ изъ чаши жизни и временами пресыщенный роскошью и счастьемъ, предается рефлексу, ибо это „красиво". А онъ такъ любитъ красоту! Вы у него найдетъ и „Литургію красоты" и „Только любовь" и „Будемъ, какъ солнце" и какъ острую приправу къ блюдамъ, подъ которыми ломится столъ—рефлексъ, съ которымъ онъ огранически не связанъ и не согласенъ оставаться вѣчно. И котораго онъ боится, какъ „вѣчной тайны и смерти", могущей вырвать изъ рукъ его чашу жизни, богатой и красивой.

Въ самомъ дѣлѣ, прочтите автобіографію того же Бальмонта. Что у него на первомъ планѣ? „Я постараюсь перечислить, пишетъ Бальмонтъ: Первая страст-

ная мысль о женщинѣ (въ возрастѣ 5 лѣтъ). Первая настоящая влюбленность (9 лѣтъ). Первая страсть (14 лѣтъ). Впервые сверкнувшая, до мистической убѣжденности, мысль о возможности и неизбѣжности всемірнаго счастья (17 лѣтъ, когда однажды во Владимірѣ, въ яркій зимній день, съ горы я увидѣлъ вдали чернѣющій длинный мужицкій обозъ)". Это, по словамъ автора—наиболѣе *значительныя* событія изъ личной жизни.

А Мережковскій? Развѣ не освятилъ онъ однажды мистицизмомъ самодержавную форму правленія? Или не пришелъ однажды къ теоріи о „синтезѣ ума и крови" въ настоящемъ аристократизмѣ? И развѣ не онъ видѣлъ въ грядущемъ соціализмѣ царство серединности и эгалитарнаго мѣщанства? Не онъ кричалъ о грядущемъ хамѣ? Правда, революція даже Бальмонта и Минскаго заставила пѣть гимны пролетаріату, но вѣдь то революція, а мы говоримъ объ обычномъ ходѣ литературы, въ которой они были не страстотерпцами ея, а паразитами на ея больномъ и израненномъ тѣлѣ. И развѣ не знаменательно то, что они выползаютъ только въ темныя времена реакціи и упадка общественной жизни?

Мы волей-неволей должны признать, что декадентство впервые съ такой ясностью внесло въ нашу литературу узко-классовый характеръ, чуждый и враждебный всему ея многолѣтнему направленію. Дворянинъ въ литературѣ—это былъ еще младенческій лепетъ въ сравненіи съ декадентствомъ.

Это мы ясно увидимъ при разборѣ новѣйшихъ цвѣтовъ декадентства, расцвѣтшихъ послѣ 1905 года.

Какъ бы итогомъ ко всему, что дало только что разобранное направленіе „радости жизни", какъ мы говорили, является книжка М. Э. Гуковскаго „Новыя вѣянія и настроенія", явившаяся его лебединой пѣснью. Несмотря на ея литературно-критическій характеръ,

мы могли бы принять ее за оригинальную вещь, ибо она вся проникнута яркой индивидуальностью автора, которая для насъ интереснѣе въ данномъ случаѣ разбираемыхъ имъ произведеній. Его міросозерцаніе сквозитъ изъ каждой строки, изъ каждой буквы. Подобную этой книгу мы находимъ еще только у Шестова—„Философія трагедіи“ („Достоевскій и Ницше“), къ которой мы еще вернемся.

М. Э. Гуковскій жилъ всего 24 года. Его трудъ былъ начатъ печатаніемъ при жизни автора, а выпущенъ въ свѣтъ уже послѣ его смерти, его товарищемъ. Послѣдній сообщаетъ нѣкоторыя данныя о его жизни, которыя мы и приведемъ. Въ промежутокъ времени, обнимающій не болѣе двухъ мѣсяцевъ, въ личной жизни автора совершился цѣлый рядъ событій, закончившихся трагической развязкой. 8-го іюня 1902 года, въ Люцернѣ, въ Швейцаріи, М. Э. Гуковскій покончилъ самоубійствомъ земные счеты... Нѣсколько пріемовъ морфія прекратили навсегда молодую, едва только развернувшуюся жизнь, страстно рвавшуюся къ счастью, которое, казалось ему, онъ нашелъ въ любимой женщинѣ, но которое было только однимъ пустымъ и обманчивымъ призракомъ.

Онъ оканчивалъ курсъ Новороссійскаго университета по юридическому факультету и мечталъ объ адвокатурѣ... Выдающіяся способности его давали полное основаніе думать, что изъ него выйдетъ серьезный и дѣльный юристъ. Среди студентовъ онъ несомнѣнно выдавался своей эрудиціей и начитанностью: благодаря знанію языковъ, онъ въ подлинникѣ изучилъ все наиболѣе цѣнное въ иностранной литературѣ, при чемъ интересовался вопросами экономической и соціальной жизни, философіей, и беллетристикой, и вопросами искусства и т. д. М. Э. очень рано началъ проявлять наклонность къ литературной работѣ: едва ли не въ гимназіи еще онъ сталъ пробовать свои силы

на литературномъ поприщѣ. Въ университетѣ онъ начинаетъ усиленно работать надъ своимъ развитіемъ, и въ это время литературная дѣятельность его становится болѣе интенсивной.

Онъ принимаетъ участіе въ мѣстныхъ и столичныхъ газетахъ, гдѣ помѣщаетъ статьи по различнымъ экономическимъ вопросамъ. Въ 1897 году М. Э. выпускаетъ рядъ брошюръ подъ рубрикой „Новая библіотека“, въ составъ которой вошли между прочимъ: *Э. Цейсъ*—„Государственный строй Швейцарскаго союза“. (Переводъ и статья о Швейцарской конституціи принадлежатъ М. Э.). *Ф. Брюнетьеръ*—„Возрожденіе идеализма“; *Луи Бланъ*—„О разводѣ“. *К. Фишеръ*—„Философъ пессимизма“ (Шопенгауэръ). *Гартль* — „Матеріалистическія воззрѣнія нашего времени“ и др. Съ 1899 года онъ предпринимаетъ новое изданіе подъ названіемъ Библіотека „Слово“, посвященное новинкамъ литературы западной и русской (до 20 выпусковъ). Между прочимъ было издано—*В. Чешихинъ*—„Современное общество въ произведеніяхъ Боборыкина и Чехова“.

Въ 1901 году М. Э. выпускаетъ въ свѣтъ „Новеллы“ Шницлера, и вскорѣ Якобсена—обѣ съ вступительными статьями. Въ годъ смерти имъ были напечатаны въ мѣстныхъ газетахъ статьи, посвященныя взглядамъ Ницше на искусство, а другая—произведеніямъ А. Бёклина. Вторую часть „Новыхъ вѣяній“ предполагалъ посвятить Ф. Ницше и Л. Толстому.

Въ М. Э. Гуковскомъ идеалистическая литература потеряла своего быть можетъ единственнаго талантливаго и вдумчиваго писателя, культурнаго и симпатичнаго своей искренностью.

Въ предисловіи авторъ выступаетъ ярымъ поклонникомъ „Новаго“ искусства въ западно-европейской литературѣ. И тѣмъ не менѣе старается уловить его связь съ общимъ ходомъ литературнаго развитія. „Черезъ всю духовную жизнь современнаго мірового обще-

ства, говоритъ онъ, несмотря на всю ея пестроту и разнообразіе, проходитъ красной нитью одно великое стремленіе, которое соединяетъ всѣ направленія человѣческой мысли переживаемой нами эпохи. Въ этомъ стремленіи я вижу залогъ лучшаго будущаго, многоцвѣтнаго, прекраснаго. Желая тутъ же высказаться, я назвалъ бы это стремленіе страстнымъ порывомъ къ правдѣ, къ свободѣ, страстнымъ желаніемъ освободиться отъ тяжелыхъ путъ условности и лжи, отъ тяжелаго гнета цѣлаго ряда обязанностей и правилъ, выполненіе которыхъ еще такъ недавно казалось общеобязательнымъ... Въ этомъ молодомъ порывѣ многіе заходятъ ужъ слишкомъ далеко, стараются какъ можно скорѣе разорвать съ прошлымъ, затоптать въ грязь то, чему еще такъ недавно всѣ поклонялись, уничтожить свои недавніе идеалы".

Самъ немного декадентъ и модернистъ, Гуковскій однако совершенно игнорируетъ русское декадентство и является скорѣе анархистомъ-индивидуалистомъ въ духѣ М. Штирнера, о которомъ любовно отзывается.

„Эпоха революціи возбудила въ обществѣ цѣлый рядъ надеждъ, которыя не оправдались; утратили въ извѣстной степени свое обаяніе парламентаризмъ и всеобщая подача голосовъ; ушла въ область преданія былая идеализація толпы и народа, а вмѣстѣ съ тѣмъ мы перестали расточать прекрасныя слова о долгѣ личности передъ народомъ, о необходимости служенія ему и т. д. и т. д.

Я вовсе не хочу сказать, что эти старыя идеи сдѣлались не нужными, что ихъ надо выбросить за бортъ, а полагаю только, что онѣ не могутъ уже болѣе воодушевлять насъ, что мы не можемъ жить только ими одними... ихъ осуществленіе перешло изъ сферы подвижничества въ область обыкновенной сѣренькой практической дѣятельности.

То-есть, рухнуло цѣлое стройное міросозерцаніе, утратили свое обаяніе всѣ готовыя шаблонныя правила и формулы, которыя такъ облегчали жизнь, пока въ нихъ вѣрили, и которыя, потерявъ свое обаяніе, стали насъ угнетать и давить".

И онъ подробно останавливается на анархистѣ-индивидуалистѣ Ибсенѣ, въ произведеніяхъ котораго видитъ новый „культъ правды" и на котораго опирается въ своей антиобщественности.

„Свобода и правда — вотъ столпы общества". Разбирая „доктора Штокмана", онъ отмѣчаетъ, что Штокманъ убѣдился „что всѣ источники нашей духовной жизни отравлены, что вся наша общественная жизнь построена на отвратительномъ фундаментѣ—на лжи". Съ этой ложью, по его мнѣнію, нужно бороться не на жизнь, а насмерть, ее нужно вырвать съ корнемъ, „хотя бы для этого необходимо было пожертвовать жизнью самого общества".

Большинство среднихъ заурядныхъ людей погрязаетъ въ жизненной лжи, и освобождать отъ нея обыкновеннаго человѣка едва ли имѣетъ смыслъ. „Отнимая у средняго человѣка ложь жизни, говоритъ Реллингъ („Дикая Утка"), вы этимъ самымъ лишаете его счастья". Есть люди, и ихъ очень много, которымъ правда не нужна, которымъ легче жить во лжи и самообманѣ, такъ какъ они даютъ имъ спокойствіе и призракъ счастья.

Настоящій сильный человѣкъ никогда не можетъ удовлетвориться призракомъ жизни, онъ всегда смѣетъ и хочетъ быть такимъ, какой онъ въ дѣйствительности... Мы всѣ стремимся теперь къ настоящей жизни, мы всѣ жаждемъ теперь настоящаго счастья, основаннаго на полной, безусловной правдѣ, и боимся потерять тотъ призракъ счастья, тотъ самый покой, который доставляетъ намъ ложь".

Какъ это глубоко вѣрно по отношенію разбираемаго нами направленія „Радости жизни“!

Въ главѣ „Новая свобода“ Гуковскій окончательно ставитъ крестъ надъ освободительнымъ движеніемъ, какъ оно обычно понимается. „Что же выигрываетъ въ этой борьбѣ отдѣльная личность, какъ таковая: становится ли она свободнѣе, независимѣе?.. Эта групповая борьба не только не можетъ доставить отдѣльной личности свободу, но даже въ извѣстной степени способствуетъ ея приниженію, порабощенію... Онъ вѣдь все равно останется рабомъ, рабомъ группы, ея взглядовъ, интересовъ, обычаевъ, даже ея предразсудковъ... У насъ есть представители той или иной общественной группы. Онъ старается уйти отъ группы, стать „внѣ группы“. Въ немъ пробуждается индивидуальность.

Гуковскій цитируетъ стихотвореніе анархиста-индивидуалиста Макэя: „Да! отсюда до края вселенной нѣтъ подобнаго, равнаго мнѣ. Это чувство мой духъ укрѣпляетъ, зажигаетъ потухшую кровь. Духъ мой мужествомъ снова пылаетъ, одинокимъ желаетъ быть вновь. Вкругъ меня завываютъ кликуши, и бушуетъ толпа пошляковъ, закрываю спокойно я уши, чтобъ уйти отъ крикливыхъ ихъ словъ“.

Эта борьба за свободу, говоритъ Гуковскій, не носитъ уже общественнаго характера, ее ведутъ уже не группы между собою, а отдѣльная личность съ обществомъ, съ группою, и именно эту свободу отдѣльной личности Ибсенъ считаетъ столпомъ общества.

„Современный человѣкъ страдаетъ, не скажу ненавистью къ людямъ, но какимъ-то страстнымъ болѣзненнымъ желаніемъ освободиться отъ гнета, отъ требованій общества, освободиться даже отъ самого себя и уйти куда-нибудь далеко, слиться съ природой, зажить широкой, свободной жизнью. Человѣкъ въ отдѣльности можетъ быть намъ дорогъ и милъ, и интересенъ,

но люди въ цѣломъ, общество тяготитъ насъ, и у насъ является желаніе уйти отъ нихъ туда, гдѣ „пусто—море да небо и никакихъ подлыхъ людей нѣтъ". (М. Горькій).

Въ былое, еще очень недавнее время человѣкъ видѣлъ цѣль своей жизни, своего существованія въ трудѣ, выполненіи обязанностей, служеніи долгу, обществу... Теперь мы смотримъ на все это именно какъ на обязанности, на долгъ, которые иногда, даже нерѣдко, кажутся намъ скучными, тяжелыми, и мы очень часто желали бы освободиться отъ нихъ, зажить вольной, широкой жизнью, безъ всякихъ обязанностей и труда.

Поэтомъ бродяжнической жизни внѣ общества Гуковскій считаетъ Горькаго. „Оно и холодно, и голодно, но свободно ужъ очень... Нѣтъ надъ тобой никакого начальства... самъ ты своей жизни хозяинъ, хоть голову себѣ откуси,—никто тебѣ слова не можетъ сказать... Хорошо!.."

Отъ отрицанія долга и обязанностей Гуковскій переходитъ къ апологіи личнаго счастья, которую онъ находитъ въ „Привидѣніяхъ" Ибсена и „Норѣ". Человѣкъ прежде всего долженъ быть человѣкомъ, и только. Это одно можетъ доставить ему счастье. „Выполненіе же долга, обязанностей, никогда не можетъ доставить намъ счастья". Въ трудѣ только топятъ свое горе. „На жертвахъ, на милостяхъ, на добрыхъ дѣлахъ изъ милости вообще нельзя строить счастья... Вообще давать счастье нельзя. Его, по мнѣнію Гуковскаго, надо брать. „Я молодъ! говоритъ Эдгардъ въ пьесѣ Ибсена „Боркманъ": „Господи, мама, вѣдь я молодъ. Я тоже хочу жить! Жить собственной своей жизнью! Я не хочу работать! Только жить, жить, жить! Жить для счастья".

Ибсеновскаго Рубека Гуковскій сравниваетъ съ Фаустомъ:

„Я благъ земныхъ не испыталъ,
Я почестей людскихъ не зналъ.
Собачья жизнь! Погибли годы."

Это онъ называетъ смѣть „быть самимъ собой". „борьбой за индивидуальность". „инстинктомъ смѣлой личности". Гуковскій справедливо думаетъ, что „такіе свободные живые люди являются однако для группы, какъ таковой, элементомъ нежелательнымъ". А между тѣмъ „стремленіе удовлетворить всѣ свои желанія и потребности, жить полною жизнью является совершенно естественнымъ, инстинктивнымъ стремленіемъ всякаго живого здороваго человѣка".

„Люди", говоритъ Ницше, не должны бояться своихъ поступковъ, не должны въ нихъ раскаиваться. Человѣку стыдно испытывать угрызенія совѣсти". Отсюда рождается Брандъ съ его принципомъ „все или ничего", не знающій компромисса, идущій напроломъ.

„Тоска по сильномъ человѣкѣ, презрѣніе ко всему слабому и ничтожному заставили Ибсена создать образъ Бранда, но и Брандъ, несмотря на всѣ свои гордыя рѣчи, такой же слабый, вѣчно разсуждающій декадентъ, какъ всѣ мы, обыкновенные люди".

„Мы должны возвратиться назадъ, къ природѣ, къ инстинктамъ, стать естественными, болѣе твердыми и жестокими, освободиться отъ „постыдной разслабленности чувства современнаго человѣка". Все хорошее, говоритъ Ницше, инстинктивно и, слѣдовательно, легко, необходимо, свободно. Аристократы—люди инстинкта".

„Любовь есть естественное инстинктивное чувство" и аристократъ долженъ ей отдаться. И Гуковскій въ заключеніе посвящаетъ главу „Новой женщинѣ и любви", выдвигая на первый планъ „Проблему пола".

„Спорятъ въ душѣ человѣка вѣчная радость и жизнь, вѣчная тайна и смерть".

Въ жизни Гуковскаго этотъ споръ разрѣшился трагически, не найдя примиренія между радостью и жизнью, тайной и смертью. Онъ ушелъ изъ жизни. Въ немъ, несмотря на его жизнерадостность и свѣтлую вѣру въ возможность счастья, въ жизнь какъ она есть—побѣдила тайна и смерть. Его коротенькая жизнь явилась яркимъ символомъ и подтвержденіемъ необоснованности „радости жизни" въ существующихъ рамкахъ общественной жизни. Но съмя было посѣяно. И идеи Гуковскаго всѣ до одной всплыли позднѣе въ молодой русской литературѣ, воплотившей ихъ въ жизнь, развившей и продолжавшей. Позднѣйшія произведенія этого направленія, какъ „Леда", „Четыре", „Санинъ" и даже „Поединокъ", были только комментаріями къ его мыслямъ, явившимся чѣмъ-то въ родѣ пророчества, провидѣнія и прорицанія.

Индивидуалистическій анархизмъ, какъ это ни странно, вскорѣ былъ предложенъ молодой литературой какъ единственный выходъ изъ создавшагося положенія „культа трагедіи" и „героическаго пессимизма".

Такимъ образомъ путь, пройденный молодой литературой послѣ Чехова, свернулъ какъ отъ „героическаго пессимизма", такъ и отъ „радости жизни" къ анархизму.

Позднѣе мы остановимся на томъ, было ли это дѣйствительно неизбѣжно и оправдывалось ли ходомъ литературы, какія послѣдствія изъ этого вышли и насколько этотъ поворотъ отразился на ея ходѣ.

Здѣсь же прослѣдимъ, какъ русская литература подошла къ этому повороту въ ея постепенномъ движеніи.

Апоѳеозъ трагедіи.

ГЛАВА IV.

Апоѳеозъ трагедіи.

(1903—1904 г.)

В. Вересаевъ. Н. Тимковскій. А. Купринъ. Л. Андреевъ.

Къ моменту высшаго духовнаго напряженія творчества нашей художественной литературы была слѣдующая наличность. Чрезвычайно слабо представленное направленіе „радости жизни", если исключить Гуковскаго, считавшее въ своихъ рядахъ два-три имени сомнительнаго и неравнаго дарованія и слабой аргументаціи. И чрезмѣрно развившееся направленіе цѣлой плеяды молодыхъ писателей, отдавшихъ себя работѣ „на нивѣ скорби и печали", сильныхъ, смѣлыхъ доведеніемъ до логическаго конца своего міросозерцанія.

Стоящіе особнякомъ отъ декадентовъ, они сгруппировались вокругъ солиднаго книгоиздательства товарищества „Знаніе", принявшаго строго-реалистическій характеръ и уже успѣвшаго выпустить отдѣльными томиками реалистовъ обоего направленія, какъ Горькаго, Андреева, Скитальца, Чирикова, Бунина, Юшкевича, Куприна и др.

Съ осени 1903 года товарищество „Знаніе" приступило къ періодическому выпусканію своихъ „Сборниковъ", которымъ суждено было сыграть въ исторіи молодой литературы чрезвычайно важную роль, а въ исторіи русской общественной жизни—не менѣе важ

ную роль лѣтописца тончайшихъ и неуловимыхъ измѣненій въ теченіи ея настроеній, идеаловъ и поисковъ.

Все, чѣмъ жило русское общество съ 1903 года, запечатлѣно въ нихъ самымъ точнымъ и добросовѣстнымъ образомъ. До осени 1907 года товариществомъ было выпущено 20 сборниковъ съ произведеніями: Л. Андреева, И. Бунина, Вересаева, Н. Гарина, М. Горькаго, С. Гусева-Оренбургскаго, А. Серафимовича, А. Куприна, Скитальца, Н. Телешева, Чехова, Чирикова, С. Юшкевича, С. Найденова, А. Лукьянова, Д. Айзмана, А. Кипена и др.

Сборниковъ разсказовъ и стихотвореній также было издано не мало. За тотъ же срокъ появились въ свѣтъ 9 выпусковъ М. Горькаго, 4 тома Л. Андреева, 7 томовъ Чирикова, 3 тома Бунина, 2 тома Скитальца, 2 тома Серафимовича, 2 тома Куприна, 4 тома Юшкевича, Телешева, Гарина, Яблоновскаго, Гусева-Оренбурскаго, С. Елеонскаго, С. Елпатьевскаго, С. Найденова, Д. Айзмана и пр. и пр.

Каждая книга „Знанія“ раскупалась нарасхватъ и часто выходила нѣсколькими изданіями. „Успѣхъ литературныхъ сборниковъ „Знанія“ породилъ легіонъ конкурентскихъ вожделѣній и два-три подражанія. Явились альманахи „Шиповника“, возникало „Новое Слово“, возникло еще подобное же книгоиздательство „Земля“, угрожающее серьезной конкуренціей не только „Новому Слову“ и „Знанію“, но и самому „Шиповнику“—наиболѣе модному изъ всѣхъ предпріятій этого моднаго типа („Нашъ Понедѣльникъ“ № 5).

Но наибольшій успѣхъ сборники имѣли, конечно, въ моментъ наивысшаго духовнаго напряженія творчества молодой литературы, въ періодъ 1903—1904 года—въ періодъ расцвѣта пессимизма, „культа трагедіи“, въ періодъ, когда „трагическое“ возводилось чуть не въ міровой законъ“. (Срави. книгу Ю. Банзена „Трагическое, какъ міровой законъ“).

Уже черезъ годъ послѣ зарожденія „Сборниковъ“ третья книжка была посвящена „Памяти“ Чехова. Чеховъ умеръ. Но чеховщина осталась. Лебединой пѣснью Антона Павловича были „Вишневый садъ“ и небольшой разсказъ „Невѣста“. Въ 1901 году, послѣ продолжительнаго періода молчанія, Чеховъ выступилъ со своими „Тремя сестрами“. Безысходность чеховскаго міросозерцанія какъ бы усиливается и подчеркивается въ пьесѣ, настойчиво повторяемой на разные лады душу леденящей теоріей о чудной жизни черезъ... двѣсти, триста лѣтъ!

„Черезъ двѣсти, триста, наконецъ, тысячу лѣтъ—дѣло не въ срокѣ—настанетъ счастливая жизнь. Участвовать въ этой жизни мы не будемъ, конечно, но мы для нея живемъ теперь, работаемъ, ну, страдаемъ, мы творимъ ее—и въ этомъ одномъ цѣль жизни, бытія и, если хотите, наше счастье“... „Черезъ двѣсти, триста лѣтъ жизнь на землѣ будетъ невообразимо прекрасной, изумительной“... Дѣло не въ срокѣ!

Если принимать эту теорію не за сарказмъ надъ упованіями живой, конкретной, страдающей и чувствующей личностью, живущей во времени и пространствѣ, не за жестокую шутку, то она явно противорѣчитъ всему духу русской литературы, начиная съ Достоевскаго и кончая Купринымъ, которымъ нѣтъ дѣла до счастья „людей двадцать второго поколѣнія“ и которые задавались вопросами: „мнѣ ли чаю не пить или міру провалиться?!“ И Достоевскій отвѣчалъ: „міру провалиться“. А Чеховъ: „страданія наши перейдутъ въ радость для тѣхъ, кто будетъ жить послѣ насъ, счастье и миръ наступятъ на землѣ, и помянутъ добрымъ словомъ и благословятъ тѣхъ, кто живетъ теперь“. Русской литературѣ всегда былъ чуждъ общечеловѣкъ и дорога конкретная личность, страдающая и бьющаяся въ конвульсіяхъ. Взглядъ этотъ—первый ударъ отбоя отъ мучительнаго конкретнаго къ

абстрактному. Отъ Андреева, создавшаго „Жизнь Василія Фивейскаго“, къ Андрееву, создавшему „Жизнь человѣка“, безличнаго, общечеловѣка. У Андреева этотъ періодъ отъ конкретнаго къ абстракціи былъ вызванъ доведеніемъ до nec plus ultra героическаго пессимизма, послѣ чего началась реакція, а у Чехова онъ прозвучалъ преждевременнымъ и рѣзкимъ диссонансомъ недодуманнаго до конца міросозерцанія.

Въ таковую недодуманность не хотѣлось вѣрить, и мы принимали его теорію грядущаго счастья за сарказмъ совершенно отчаявшагося человѣка, не знавшаго, что онъ творитъ сарказмъ. Однако въ „Вишневомъ садѣ“ и въ „Невѣстѣ“ Чеховъ снова повторилъ мотивъ „всеобщаго счастья“ черезъ двѣсти-триста лѣтъ, въ которое окончательно увѣровалъ. Чеховщина въ немъ умерла.

Незадолго до своей естественной смерти Чеховъ началъ умирать, какъ Чеховъ; вопреки всему общему чеховскому направленію окружавшей литературы, онъ отказывается отъ наслѣдства въ то время, какъ вся литература была ему вѣрна. Но смерть не дала ему создать въ этомъ родѣ ничего крупнаго и костлявой рукой зажала ему ротъ. И пожалуй къ лучшему...

Объ этомъ поворотѣ и переломѣ въ чеховскихъ настроеніяхъ нельзя, однако, говорить какъ о чемъ-то безусловно новомъ. Онъ былъ новъ только для его читателя, который упорно не хотѣлъ видѣть вѣры Чехова въ „прогрессъ“, который всѣ отрицали вмѣстѣ съ Куприннымъ и народившимся индивидуалистическимъ анархизмомъ. Эта вѣра была у Чехова еще въ „Палатѣ № 6“, когда *сумасшедшій* Громовъ восклицаетъ восторженно: „Настанутъ лучшія времена, возсіяетъ заря новой жизни, восторжествуетъ правда, и на нашей улицѣ будетъ праздникъ! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-либо правнуки дождутся. Привѣтствую ихъ отъ *всей* души и радуюсь, радуюсь за нихъ! Впе-

редъ! Помогай вамъ Богъ, друзья!"... Но и эти восторги прикрыты у Чехова тѣмъ, что вложены въ уста безумца, поэтому они казались тоже сарказмомъ, но оказались сокровеннѣйшей мыслью автора, въ которую онъ боялся раньше вѣрить и прятался за спину сумасшедшаго.

Русскій читатель не зналъ этого Чехова и не хотѣлъ знать,—онъ взялъ его отрицаніе и не пошелъ за его утвержденіемъ. Для него „чеховщина" была нѣчто такое опредѣленное, чего не могъ бы разсѣять самъ Антонъ Павловичъ Чеховъ. Отрицающаго Чехова знаетъ и критика и исторія литературы и не принимаетъ за немногими исключеніями другого Чехова. Въ исторію русской литературы будетъ занесенъ Чеховъ-пессимистъ и элегистъ и не занесется—оптимистъ. И. казалось, сама жизнь была противъ Чехова-оптимиста, жизнь, не принявшая его и отдавшая въ объятія смерти.

Для читателя, критика и историка лозунгъ: „назадъ, къ Чехову" всегда будетъ звучать рѣзко и опредѣленно призывомъ къ крестному пути литературы, не признающей: „да, бытію", исходящей изъ отрицанія и „героическаго пессимизма".

Мало измѣнившая въ положеніи вещей, смерть Чехова не внесла ничего новаго въ литературу. Чеховъ умеръ, но чеховщина осталась.

Литература пережила Чехова, но не пережила его тоски. Чеховская скорбь осталась и живетъ среди нея, незримая, но ощутимая.

Тоска нѣжной любви къ человѣку, тоска безсилія облегчить людскія страданія, исчерпать „горя рѣченьку бездонную". Порою мы слышали голоса надежды и радости, но лишь для того, чтобы снова и снова звучали пѣсни тоски и печали. Въ эпохи ликованія и радости наша художественная литература стыдливо молчала, въ эпохи тоски и отчаянія высоко поднимала голову,

сгущая атмосферу тяжелымъ мѣднымъ голосомъ, мрачно и глухо ударявшимъ по натянутымъ струнамъ, порождая рыдающую симфонію Lamentabile.

Кажется, что только въ этомъ она и признаетъ свою роль. Кажется, что только усиливая и обостряя скорбь, возбуждая воспріимчивость, будя сонливую человѣческую совѣсть—она дѣлаетъ свое дѣло.

Въ самомъ дѣлѣ.

Какъ тѣни минувшаго проходятъ передъ нами длинной чередой имена Чехова, Андреева, Вересаева, Тимковскаго, Бунина, Лѣтковой, Юшкевича, Арцыбашева, Куприна. Кому знакомы эти имена, тотъ знаетъ, что всѣ ихъ произведенія—осеннія грустныя пѣсни людей, далекихъ отъ успокоенія на какомъ-нибудь идеалѣ общественномъ или индивидуальномъ. Это даже не поиски—это агасферское блужданіе по свѣту, жадно ищущее смерти и не находящее. Это—сплошной стонъ замученныхъ, придавленныхъ жизнью людей, сдѣлавшихъ для себя наслажденіе изъ страданій. И въ центрѣ всего — первый сборникъ товарищества „Знанія“ за 1903 годъ. Безнадежность возводится въ культъ. Суровая „правда жизни“ открыла глаза человѣку. И эта правда—горе и безсиліе.

„Всѣ чувствуютъ правду человѣческой жизни, говоритъ Л. Андреевъ, но никто не умѣлъ назвать ее человѣческимъ словомъ. А чувствуется она то какъ отчаяніе и безумный страхъ, то какъ жалость, гнѣвъ и надежда“.

Его мысль продолжаетъ Вересаевъ въ очеркѣ „Передъ завѣсой“, помѣщенномъ въ томъ же сборникѣ. Онъ говоритъ: „глаза съ враждебнымъ вызовомъ устремились въ мутную пустоту дали: да, я сумѣю принять ее (правду) такою, какая она есть, со всѣмъ холоднымъ ужасомъ ея пустоты и со всей *завлекательностью этого ужаса; не сумью—умру; но не склонюсь передъ той правдой, которая потому только правда, что жить съ ней легко и радостно*“.

Этотъ небольшой отрывокъ ясно показываетъ, что мы имѣемъ дѣло не просто съ пессимизмомъ, но съ пессимизмомъ во что-бы то ни стало, съ культомъ страданія и безнадежности. И это мы видимъ у одного изъ наиболѣе чуткихъ и отзывчивыхъ современныхъ писателей, воспитавшихся по завѣту Чехова.

Не разъ уже отмѣчалась на страницахъ нашихъ повременныхъ изданій несвоевременность пессимизма, тогда какъ страна требуетъ бодрыхъ и смѣлыхъ борцовъ съ надеждой на свѣтлое будущее. Но это ни на іоту не исправило нашей литературы, что однако вполнѣ естественно и понятно.

Въ обществѣ, какъ и въ отдѣльномъ человѣкѣ, живетъ не только вѣра, но и сомнѣніе, не только надежда, но и безнадежность. И какъ отдѣльный человѣкъ страдаетъ отъ рефлекса, но не промѣняетъ его порою на „правду, съ которой жить легко и радостно", такъ и общество не въ силахъ было преодолѣть и игнорировать рефлективную сторону своей жизни.

О какой же „правдѣ" говорятъ наши беллетристы? Почему они чувствуютъ ее „то какъ отчаяніе и безумный страхъ, то какъ жалость, гнѣвъ и надежду"? Что это за правда, съ которой жить не легко и не радостно, но которая тѣмъ не менѣе завлекательна своимъ холоднымъ ужасомъ?

Подойдемъ вплотную къ произведеніямъ разбираемаго момента.

Тоска и отчаяніе- вотъ лейтмотивъ послѣднихъ лѣтъ. И этого нельзя ни замолчать, ни обойти смѣлымъ и бодрымъ призывомъ къ работѣ и жизни. Какой-то червь забрался въ наше сердце и точитъ его, не давая забыться, не давая отдаться ни дѣлу, ни жизни. Рефлексы являются оборотной стороной каждаго бодраго жизненнаго порыва и влекутъ за собой безнадежность и скептицизмъ, близкій къ отчаянію. „Мы ждемъ, что вотъ-вотъ взойдетъ какое-то солнце и все

озаритъ кругомъ: мы вѣримъ въ это. А взойдетъ ли оно? Озаритъ ли? А если попрежнему будетъ моросить дождь и конца не будетъ этой безпросвѣтной мути?"—спрашиваетъ тоскливо герой драмы Тимковскаго („Дѣло жизни").

Это — человѣкъ новыхъ дней, послѣдовательный демократъ, отдавшій себя на служеніе народу, и не только себя, но любимаго ребенка, и дочь, и жену, съ которой онъ, по собственному признанію, „столько лѣтъ прожилъ вмѣстѣ и ни разу не заглянулъ ей поглубже въ душу, не разсмотрѣлъ„ *что тамъ стонетъ въ ней.*" И несмотря на всѣ эти жертвы, онъ, безкорыстный и самоотверженный, сбитъ на всѣхъ пунктахъ либераломъ-капиталистомъ Крузовымъ, который какъ-то легко, мимоходомъ и, что называется, играючи, дѣлаетъ больше для мужика, чѣмъ онъ, Черемисовъ, отдавшій все въ жертву, задолжавшій, запутавшійся и попавшій въ лапы ростовщиковъ, отъ которыхъ его спасаетъ все тотъ же ненавистный Крузовъ-капиталистъ. Такова жестокая иронія жизни надъ искреннѣйшими гуманными порывами человѣка „сѣять разумное, доброе, вѣчное", находясь самому въ цѣпяхъ и когтяхъ жизни.

Черемисовъ, по мнѣнію автора, является чѣмъ-то въ родѣ „паука, высасывающаго изъ своихъ близкихъ живыя силы во имя призрака, который онъ громко называетъ дѣломъ своей жизни".

Таковъ приговоръ надъ нимъ того же либерала-капиталиста Крузова. Но онъ смягчается, если мы ближе приглядимся къ Черемисову и вспомнимъ, что онъ такой же несчастный и рабъ, какъ и тѣ, къ кому онъ спѣшитъ на помощь. Вся его психологія выливаетъ въ совѣтъ, который онъ даетъ своей женѣ въ утѣшеніе: „стань ближе къ людямъ, *утопи свою муку въ морѣ чужихъ страданій*, и тебѣ будетъ легче, легче... повѣрь мнѣ, Анна!"

Поистинѣ „вы бѣжите къ ближнему отъ себя самихъ и хотѣли бы сдѣлать себѣ изъ этого добродѣтель... Одинъ идетъ къ ближнему потому, что ищетъ себя, другой — потому, что хотѣлъ бы забыться: но я вижу насквозь ваше „безкорыстіе"! („Такъ говорилъ Заратустра").

Черемисовъ — это изломанный, потерпѣвшій крушеніе въ жизни несчастливецъ, ищущій, какъ многіе ему подобные, забвенья въ работѣ. Это все тотъ же Чеховскій „Дядя Ваня", сквозь слезы судорожно бросающійся за работу, за „дѣло жизни", въ которое онъ самъ давно не вѣритъ:

„Работать, работать!.."

Вспоминая о сынѣ, „жертвѣ его дѣла жизни", Черемисовъ еще разъ рѣзко подчеркиваетъ свою психологію: „Я справился съ собой: я затаилъ тоску глубоко... на самое дно души... Да, я справился съ собой... Но и теперь подчасъ мой сынъ какъ живой стоитъ у меня передъ глазами и ретъ мнѣ сердце. Мнѣ чудится его голосъ: я слышу, какъ онъ зоветъ меня... Я бываю готовъ откликнуться; а потомъ вспоминаю все, и... сдѣлаетъ страшное усиліе надъ собой и подавляетъ свое волненіе. Не надо думать о мертвыхъ... *Не надо оглядываться назадъ.* Это мѣшаетъ жить, работать, отнимаетъ силы, растравляетъ душу..." Вотъ какою цѣною покупается способность жить, работать — не надо оглядываться назадъ! Разумѣется, на прочность такого аргумента для „дѣла жизни" нельзя надѣяться, и „дѣло жизни" рушиться.

„Ты думалъ, что твоя Анна горитъ любовью къ ближнему — а у нея только холодъ внутри, мучительный холодъ. Изъ любви къ тебѣ я старалась полюбить твой народъ, всю жизнь ломала себя, убивалась надъ мужиками, входила въ бабьи интересы, учила, утѣшала, устраивала ясли — а внутри у меня было холодно, холодно. Я судорожно хваталась то за одно,

то за другое: только бы не размышлять, только бы не оглядываться назадъ! И всегда мнѣ казалось, что вотъ-вотъ упадетъ передъ мною завѣса и я увижу страшную пустоту, огромную могилу...“

Намъ представляется крайне интереснымъ типъ этой „женщины съ моря“, перенесенный на русскую почву. Среди жизни, полной лишеній и горя, она сохранила въ себѣ стремленіе къ иной, „прекрасной, полнозвучной“ жизни, въ которую, какъ таинственный иностранецъ въ драмѣ Ибсена, влечетъ ее Крузовъ. Какъ тотъ, такъ и другой—символы вѣчно зовущаго голоса въ душѣ человѣка,—голоса неудовлетворенности, голоса тревоги, голоса, не дающаго ему „осовѣть, успокоиться“, голоса, зовущаго къ вѣчно-свободному морю. Какъ тамъ, такъ и здѣсь пессимизмъ, но у Ибсена—сатира, а у Тимковскаго—скорбь. Скорбь за лучшіе порывы человѣка. Героиня Ибсена спокойно отказывается идти за иностранцемъ. Героиня Тимковскаго страдаетъ и рвется къ лучшей жизни, но падаетъ въ безсильи. Оставленная всѣми, одинокая, она одного только хочетъ—пѣсню... пѣсню бы заунывную... чтобъ дрожало сердце, чтобъ разрывалось отъ слезъ... пѣсню бы...“

Самомучительство и упоеніе своимъ страданіемъ—это все, что остается человѣку, у котораго слишкомъ раскрыты глаза, и что-то вѣчно стонетъ на днѣ души, не давая забыться, отдаться „дѣлу жизни“.

Такимъ образомъ изъ драмы Тимковскаго мы видимъ, что „дѣло жизни“, начатое въ эпоху безвременья, всеобщаго безправія и рабства, умерло, захирѣло. Его герои оказались „слишкомъ ранніе предтечи слишкомъ медленной весны“. И сдались безсильные...

И „люди дѣла“ осуждены и низвергнуты съ ихъ пьедесталовъ, воздвигнутыхъ на пескѣ. Ибо они искали не дѣла, а забвенья и не нашли ни того, ни другого.

Въ повѣсти „На поворотѣ“ Вересаевъ уже открыто заявляетъ: „замѣтили ли вы, что вообще у людей“ дѣйствующихъ“ мораль поразительно скудна и убога?“

Это жестокій упрекъ, но заслуженный.

Нарождается и плодится новый носитель идеи, прямо глядящій въ глаза „правдѣ жизни“ и „умѣющій принять ее такою, какова она есть, со всѣмъ холоднымъ ужасомъ ея пустоты“. Умираетъ утилитаризмъ и на его мѣсто рождается трагедія.

Къ общественной дѣятельности человѣкъ новаго типа относится уже свысока, со скорбной проніей, такъ какъ она не можетъ закрыть отъ его глазъ жестокой правды: „общественная дѣятельность - гм!.. Акушерка и могильщикъ—это я еще понимаю: помочь человѣку выйти на сцену, а потомъ помочь ему удалиться съ нея... „принять“ и „убрать“— просто, ясно, дѣльно. А все остальное...“

Все остальное—не въ нашей власти. Мы безсильны. Импотентны и должны въ этомъ сознаться, прежде чѣмъ снова идти на какое-нибудь дѣло.

„Ужъ сколько вѣковъ лучшіе люди стараются сдѣлать человѣческую жизнь разумной, здоровой, счастливой, а она попрежнему неразумна, нездорова и несчастлива. Безпощадное колесо жизни вертится по какимъ-то своимъ стихійнымъ законамъ, калѣчитъ равнодушно свои жертвы и никто не въ силахъ остановить его.“

Мы видѣли какимъ образомъ родилась въ нашей литературѣ *трагедія*, дальнѣйшее развитіе которой на тему: „безпощадное колесо жизни вертится по какимъ-то своимъ законамъ, калѣчитъ равнодушно свои жертвы и никто не въ силахъ остановить его“—мы находимъ у Куприна, который въ этомъ пунктѣ близко соприкасается съ Тимковскимъ.

Въ небольшомъ томикѣ разсказовъ Куприна, изданныхъ тѣмъ же товариществомъ „Знаніе“ и объединенныхъ одной общей мыслью, мы находимъ жизнь погруженной во мракъ безысходной, пассивной тоски. Дѣло жизни умерло; нѣтъ силъ, нѣтъ желанія жить, нѣтъ

идеала, нѣтъ вѣры—есть только покорность невѣдомой силѣ, комкающей, пожирающей человѣка и насмѣхающейся надъ нимъ.

Трагическая покорность.

Царство угрюмой, безсильной тоски, одиноко, какъ Агасферъ, бродящей по аренѣ жизни, пока смерть не принесетъ желаннаго избавленія.

Тяжелой, скучной и однообразной, какъ дождливая ночь, какъ безконечная, незнакомая дорога, представляется Куприну жизнь. Люди задавлены этой жизнью, мрачно-тоскливой и безпросвѣтной; они гибнутъ въ ея желѣзныхъ когтяхъ—неповинные, слѣпо-наивные, довѣрчивые. Съ тупой скукой на лицѣ, равнодушно-тоскливые, усталые, доживаютъ они свою незадачливую жизнь въ одиночествѣ, всѣми забытые, оскорбленные и униженные. И нѣтъ у нихъ злобы—они *покорны* своей судьбѣ и невѣдомымъ чудовищнымъ силамъ, смявшимъ ихъ личность, сдавившимъ ихъ жизнь. Небо угрюмо и низко нависло. Ночь. Безпросвѣтная, темная ночь.

„Къ чему эта жизнь? Кому нужно это жалкое нечеловѣческое прозябаніе? Какой отвѣтъ, какое оправданіе можетъ дать судьба въ ихъ страданіяхъ?“ („Болото“).

Вотъ вопросы, которыми мучится авторъ. Нелѣпыя, безцѣльныя страданія невинныхъ, довѣрчивыхъ, слѣпонаивныхъ людей—вотъ основная тема его небольшихъ разсказовъ. И всѣ они вызываютъ все тотъ же вопросъ — кому нужны эти страданія? И авторъ, переходя отъ страданія къ страданію, пытается дать намъ отвѣтъ.

Въ первомъ разсказѣ „Молохъ“—авторъ даетъ намъ ключъ ко всѣмъ остальнымъ, а равно и къ разрѣшенію мучительнаго для него вопроса.

Надъ жизнью людей тяготѣетъ всепоглощающій Молохъ „общественнаго“ благополучія, „соціальнаго

блага",—того, что мы считаемъ общественностью, коллективностью, соціальной жизнью, государствомъ.

„Вотъ онъ, Молохъ, требующій теплой человѣческой крови! О, конечно, здѣсь прогрессъ, машинный трудъ, успѣхи культуры... Но подумайте же, ради Бога, — двадцать лѣтъ! двадцать лѣтъ человѣческой жизни въ сутки!"

Кому знакомо это мѣсто изъ „Молоха", тотъ прекрасно знаетъ, что здѣсь дѣло идетъ не о восьми-часовомъ рабочемъ днѣ, а о принципіальномъ протестѣ противъ эксплоатаціи коллективомъ отдѣльной личности—протестъ который предвозвѣстилъ Гуковскій.

Мораль и гуманность быстрыми шагами несутся впередъ. И вотъ мы — свидѣтели великаго поединка. Такъ называемое „Соціальное благо" и „Гуманность"— вотъ непримиримые враги, которые стали другъ противъ друга, лицомъ къ лицу. И это стало темой не только для нашей художественной литературы, но и для западной. Вспомнимъ слова философа-поэта: „Государствомъ называется самое холодное изъ всѣхъ чудовищъ. Оно холодно лжетъ, и ложь ползетъ изъ устъ его... Посмотрите какъ привлекаетъ оно къ себѣ это многое множество людей! Какъ оно душитъ, жуетъ и пережевываетъ ихъ... Государствомъ зову я его: тамъ всѣ, добрые и дурные, теряютъ самихъ себя: государство тамъ, гдѣ медленное самоубійство всѣхъ называется жизнью". („Такъ говорилъ Заратустра").

И далѣе: „тамъ, гдѣ оканчивается „государство", начинается впервые „человѣкъ".

Въ этомъ пунктѣ сходятся литераторы самыхъ противоположныхъ убѣжденій. Вспомнимъ Нордау, оставшаго Ницше и въ то же время написавшаго свою „Политическую ложь", служащую яркой иллюстраціей и комментаріемъ къ вышеприведеннымъ словамъ. Вспомнимъ теоретика индивидуалистическаго анархизма — Макса Штирнера, вспомнимъ Киркегора и достаточно

знакомыхъ намъ Ибсена и Толстого. Всѣ они сходятся въ одномъ: отрицаніи всякаго рода государствъ и даже общественныхъ „организацій“, якобы во имя „блага личности“. „Настоящая свобода, говоритъ Ибсенъ,—та, которая ускользаетъ отъ тиранніи политической свободы... Мы живемъ крохами, которыя упали со стола великой революціи; и эта пища давно уже изжевана и пережевана. Идеи нуждаются въ новой пищѣ и въ дальнѣйшемъ развитіи. Свобода, равенство, братство уже не то, чѣмъ они были во времена покойной гильотины. Политиканы упорно не хотятъ этого понять,—и вотъ почему я ихъ ненавижу. Они желаютъ частныхъ, поверхностныхъ революцій,—революцій въ политическомъ строѣ и тому подобное. Пустяки все это! Главное—это пробужденіе человѣческаго духа“).

Нѣтъ словъ, русская художественная литература, идя наравнѣ съ западной, далеко опережаетъ русскую дѣйствительность и русскую политическую мысль. Анархія — на меньшемъ она не хочетъ помириться! Отсюда пожалуй и ея скорбь, и ея пессимизмъ, грозящій уйти не раньше, чѣмъ осуществится ея мечта.

„Государство — тамъ, гдѣ медленное самоубійство всѣхъ называется жизнью“.

Иллюстраціей этой мысли и является сборникъ разсказовъ Куприна. И дѣйствительно, жизнь, изображаемая авторомъ — не жизнь, а медленное самоубійство. Всѣ видятъ Молоха-государство и идутъ покорно съ опущенной головой на закланіе. Нѣтъ числа этимъ жертвамъ, нѣтъ именъ...

„Вы помните изъ Библіи, что какіе-то тамъ ассиріяне или моавитяне приносили своимъ богамъ человѣческія жертвы? Но вѣдь эти мѣдные господа — Молохъ и Дагонъ,—покраснѣли бы отъ стыда и отъ обиды передъ тѣми цифрами, что я сейчасъ привелъ“...

---

*) Письма Ибсена, въ пер. журнала „Правда“.

„Новый кумиръ", какъ называетъ Ницше государство, все пожираетъ и убиваетъ. Попираетъ ногами все чистое и святое. Молодость, жизнь, честь и любовь — все приносится въ жертву великому богу Молоху. Гибнутъ отдѣльныя личности во имя прогресса и культуры, а между тѣмъ на ихъ долю не достается ни того, ни другого. Культура, прогрессъ, — гдѣ-то тамъ, далеко... а глазамъ автора рисуется картина за картиной, — одна печальнѣе другой. Вотъ унылая картина похода во время маневровъ, среди ночной мглы, неизвѣстно куда и зачѣмъ. Слышно какъ по широкой и грязной дорогѣ, во тьмѣ ненастнаго вечера идетъ странная, кипучая и осторожная сутолока. Сотни ногъ тяжело, торопливо, вразбродъ, шлепаютъ по лужамъ; раздаются сердитые, но сдержанные окрики, лязгаетъ и звенитъ желѣзо о желѣзо. Люди натыкаются другъ на друга, выкалываютъ одинъ другому глаза и идутъ, и идутъ... „И кажется, что никогда не будетъ конца этому движенію, что *какая-то чудовищная сила овладѣла тысячами взрослыхъ, здоровыхъ людей*, оторвала ихъ отъ родныхъ угловъ, отъ привычнаго любимаго дѣла и гонитъ Богъ знаетъ куда и зачѣмъ– среди этой ненастной ночи"... И думается, „что, должно быть, точно такимъ же образомъ пятьсотъ и тысячу, и пять тысячъ лѣтъ назадъ водили по ночамъ своихъ плѣнниковъ суровые и равнодушные побѣдители. Вѣроятно, такъ же угрюмо и тревожно молчали усталые люди, такъ же безпорядочно и озлобленно надвигались они другъ на друга при остановкахъ, такъ же чмокала подъ ихъ ногами размякшая земля и такъ же падалъ на нихъ частый, осенній дождь"...

Властный, невидимый призракъ Молоха незримо царитъ надъ людьми „отъ вѣка до вѣка". Во всѣ чуть замѣтныя, потаенныя мѣста проникаетъ всесильный и всевидящій Молохъ общественной жизни и всюду находитъ онъ новыя и новыя жертвы.

Ночь. Въ казармѣ всѣ спятъ и медленно тянется время — только дневальный Меркуловъ медленно ходитъ изъ взвода во взводъ, „тоскующій, одинокій среди ста человѣкъ, перенесенныхъ какой-то таинственной силой въ невѣдомый міръ". Меркулову жутко и тягостно въ этомъ царствѣ тяжелаго сна, стонущихъ и храпящихъ людей—жутко и втайнѣ завидно. Онъ тоже хотѣлъ бы отдаться во власть этой какой-то непонятной, таинственной жизни небытія. Не жить, не чувствовать, не видѣть. Для каждаго изъ нихъ, мнится ему, уже нѣтъ болѣе „ни военной службы съ ея тягостнымъ и напускнымъ весельемъ, ни скучнаго мрака казармы, ни сосѣда, безпокойно мечущагося у него на груди головой, ни одиноко бродящаго со своей тоской Меркулова"... Но та же власть не даетъ дневальному отдаться сну, и онъ заставляетъ себя ходить, желая прогнать его. Вотъ онъ останавливается передъ часами и внимательно прислушивается къ ихъ ходу — тик-та, ти-к-та—отсчитываетъ среди тишины маятникъ, и Меркуловъ шепчетъ вслѣдъ за ходомъ часовъ: тя-го-та, тя-го-та...

„Странная духовная связь есть между этими часами и ночнымъ бодрствованіемъ Меркулова: точно оба они одни въ казармѣ—осуждены какой-то жестокой силой отсчитывать секунды и томиться долгимъ одиночествомъ. „Тягота, тягота" монотонно и устало шепчетъ маятникъ. Въ казармѣ скучно и жутко, ночники еле свѣтятъ, въ углахъ громоздятся безобразныя тѣни, и Меркуловъ сонно шепчетъ вмѣстѣ съ маятникомъ тя-го-та, тя-го-та...

„Тягота, тягота"... повторяютъ за нимъ и всѣ остальные герои разсказовъ Куприна, осужденные какой-то невидимой силой тоскливо отсчитывать секунды и томиться долгимъ одиночествомъ.

Въ разсказѣ „Болото" молодой студентъ въ періодѣ благихъ порывовъ лицомъ къ лицу сталкивается съ

суровой дѣйствительностью, безпріютной, холодной и жутко-безжалостной. Отъ идейныхъ разговоровъ онъ сразу попадаетъ въ „самую гущу жизни". Умъ, не искушенный и не окрѣпшій, теряется передъ ужасомъ голой дѣйствительности и бѣжитъ отъ нея.

Описывается ночь—обычная обстановка разсказовъ Куприна — мрачная, тихая и темная. Заблудившіеся въ туманѣ инженеръ и студентъ Сердюковъ находятъ убѣжище въ избушкѣ лѣсника, среди гнилого болота, тумановъ и ѣдкихъ испареній. Весь этотъ ночлегъ въ царствѣ тумановъ и маляріи явился сплошнымъ кошмаромъ для студента. Всѣ лица слились для него въ одинъ образъ, мучительно-жалкій и прекрасный образъ дѣвочки—порожденіе тумана, и маляріи—получеловѣкъ, полупризракъ.

Таинственная власть болѣзни царитъ надъ семьей лѣсника и уноситъ одинъ за другимъ его дѣтей. И съ ужасомъ смотритъ Сердюковъ въ лицо старшей дѣвочки лѣсника, еще живой, но уже полумертвой, уже въ объятіяхъ смерти. „Дѣвочка, сидѣвшая на кровати, уронила руки между колѣнъ и задумчиво, какъ очарованная, глядѣла на огонь лампы. Ея громадные съ неземнымъ выраженіемъ глаза еще больше расширились, а голова склонилась на бокъ съ безсознательной и покорной граціей. О чемъ думала она, что чувствовала, глядя такъ пристально на огонь? Временами ея худенькія ручки тянулись въ долгой, лѣнивой истомѣ, и тогда въ ея глазахъ мелькала на мгновеніе странная, едва уловимая улыбка, въ которой было что-то лукавое, нѣжное и ожидающее: точно она знала, тайкомъ отъ остальныхъ людей, о чемъ-то сладкомъ, болѣзненно-блаженномъ, что ожидало ее въ тишинѣ и въ темнотѣ ночи..."—о блаженствѣ нирваны. И глядя на нее, Сердюковъ думалъ, что можетъ быть для нея не существуетъ обыкновенной, будничной жизни: ночью духъ неизлѣчимой болѣзни овладѣваетъ

ея маленькимъ тѣломъ и окутываетъ его дикими, мучительными грезами. И все было непонятно ему, непостижимо и внушало мистическій ужасъ. Онъ видитъ тихую покорность лѣсника передъ таинственной, жестокой судьбой, призраки умершихъ дѣтей наполняютъ комнату—и все сливается для него въ одно мучительно-гнетущее впечатлѣніе, похожее на болѣзненную, колючую, виноватую жалость къ этимъ добрымъ, ограниченнымъ, обездоленнымъ людямъ. И кажется Сердюкову, что въ этой бѣдной, узкой и скучной жизни былъ чей-то злой и несправедливый обманъ. Чей? Этого не могъ онъ постигнуть. А между тѣмъ это былъ все тотъ же кумиръ, все то же „самое холодное изъ всѣхъ чудовищъ,—которое холодно лжетъ—новый кумиръ, пожирающій жертвы за жертвами—общество, соціальное благо, прогрессъ, — засасывающіе и убивающіе человѣка ядовитыми испареніями гнилого болота.

Культура...

„Онъ вспомнилъ сегодняшнюю вечернюю дорогу, мутно-бѣлыя завѣсы тумана по сторонамъ плотины, мягкое колебаніе почвы подъ ногами, низкій, протяжный крикъ выпи—и ему стало нестерпимо, по-дѣтски жутко. Какая загадочная невѣроятная жизнь копошилась по ночамъ въ этомъ огромномъ, густомъ, мѣстами бездонномъ, болотѣ? Какіе уродливые гады извивались и ползали въ немъ между мокрымъ камышомъ и корявыми кустами вербы?“

Вотъ оборотная сторона побѣдоноснаго прогресса соціальной жизни, блага немногихъ, достоянія олигархіи.

Передъ глазами студента проносится одинокая фигура Степана, который идетъ теперь черезъ это „болото“, тихо повинуясь судьбѣ, безъ страха на сердцѣ, идетъ, безъ ропота повинуясь невѣдомой силѣ. И этотъ простосердечный человѣкъ, съ его наѣженной боро-

дой и кроткими усталыми глазами, былъ теперь непостижимъ, почти таинственъ для Сердюкова.

„Къ чему эта жизнь?—говоритъ онъ со страстными слезами въ глазахъ. Кому нужно это жалкое, нечеловѣческое прозябаніе? Какой смыслъ въ болѣзни и смерти милыхъ, ни въ чемъ неповинныхъ дѣтей, у которыхъ высасываетъ кровь уродливый болотный вампиръ? Какой отвѣтъ? Какое оправданіе можетъ дать судьба въ ихъ страданіяхъ?“

И мнится ему, будто Степанъ стоитъ тутъ же и улыбается ласково и снисходительно, какъ будто жалѣя нервнаго и добраго юношу, который не понимаетъ что жизнь человѣческая скучна, бѣдна и противна и что не все ли равно, гдѣ умереть, — на войнѣ или въ путешествіи, дома или въ гнилой болотной трясинѣ“.

Жизнь человѣческая скучна, бѣдна и противна — таково было credo Куприна. Всѣ персонажи его небольшихъ разсказовъ снабжены всепоглощающимъ, гнетущимъ, покорнымъ пессимизмомъ. Покорно идутъ въ походъ массы солдатъ; покорно не спитъ по ночамъ дневальный Меркуловъ, покорно доживаютъ въ немощномъ одиночествѣ свои дни престарѣлые артисты въ домѣ призрѣнія, покорно идетъ на смертельную для него борьбу тяжело и опасно больной атлетъ Арбузовъ, и покорно, безъ протеста и ропота, умираетъ отъ паралича сердца. Покорная, безропотная жизнь, покорная смерть. И въ этой покорности весь ужасъ положенія.

И невольно встаютъ въ головѣ забытыя, безполезныя слова — ненужный, но неотвязный вопросъ:

„Зачѣмъ вы такіе мягкіе, такіе уступчивые, такіе податливые? Зачѣмъ такъ много отреченія въ сердцахъ вашихъ? Такъ мало рокового во взорѣ вашемъ?..“ („Такъ говорилъ Заратустра“).

А металлическій голосъ желѣзной необходимости говоритъ намъ: „единственный разумный и холодный выводъ—надо жить, какъ всѣ, надо подчиняться обстоятельствамъ, надо даже лгать, если нельзя говорить правду".

Такимъ безнадежнымъ аккордомъ кончается эпопея покорной тоски и безнадежнаго отчаянія. Кто-нибудь спроситъ: а гдѣ же выходъ? Въ чемъ оправданіе жизни, скучной, бѣдной и противной?" Его нѣтъ. У Чехова еще былъ выходъ—работа, перемѣна жизни; у его наслѣдниковъ выхода нѣтъ. Это пессимизмъ безъ просвѣта, отчаяніе безъ луча надежды, безъ вѣры, безъ идеала. Кажется, некуда дальше идти по этой дорогѣ. Кажется, еще одинъ шагъ—и все полетитъ въ пропасть. Но неутомима и ненасытна жажда исканія. И вотъ мы дѣлаемъ еще одинъ шагъ—послѣдній.

Передъ нами титанъ человѣческой воли, задумавшій разомъ сорвать „Красный цвѣтокъ" человѣческаго страданія—о. Василій Ѳивейскій.

Что изъ того, что столько вѣковъ, столько людей были безсильны сдѣлать жизнь разумной, здоровой и счастливой?! Если общество было безсильно помочь, если массы пали въ безсиліи—сильна одинокая личность!

И вотъ мы въ центрѣ послѣдней трагедіи.

„Медленно и тяжело клонятся и сближаются стѣны, сползаютъ своды, безшумно рушится высокій куполъ, колышется и гнется полъ — въ самыхъ основахъ своихъ разрушается и падаетъ міръ.

...Небо охвачено огнемъ. Въ немъ клубятся и дико мечутся разорванныя тучи и всею гигантской массой своей падаютъ на потрясенную землю — въ самыхъ основахъ своихъ рушится міръ. (Л. Андреевъ).

...Вѣрьте мнѣ, братья мои! Тѣло, отчаявшееся въ тѣлѣ—ощупывало пальцами ослѣпленнаго духа послѣднія стѣны... И вотъ захотѣло оно проникнуть го-

ловой сквозь послѣднія стѣны, и не только головой, но и перейти въ другой міръ. (Фрид. Ницше).

Странная участь постигла произведеніе Л. Андреева. Странная и неожиданная, но въ то же время — легко объяснимая, если принять въ соображеніе упадокъ художественной критики. Таковая у насъ уже давно не существуетъ. Ее смѣнила публицистика. Нечего говорить о достоинствахъ послѣдней съ точки зрѣнія утилитарно-общественной морали. Безъ сомнѣнія за ней есть много немалыхъ заслугъ, но это не воскрешаетъ художественной критики. А между тѣмъ произведенія художественной литературы все болѣе и болѣе наводняютъ книжный рынокъ. Нѣтъ силъ одному человѣку разобраться въ ней при ея подавляющемъ разнообразіи и обиліи.

Какъ нельзя ярче сказалось это безсиліе при разборѣ „Жизни Василія Фивейскаго“ Л. Андреева. Однихъ поразила мрачная красочность произведенія и мистическій ужасъ, который разлитъ въ немъ, до того, что внѣшнія рамки—психологія ужаса—были приняты за основную идею автора. Такъ критикъ „Журнала для всѣхъ“, г. Волжскій, видитъ только ее, эту мрачную психологію ужаса и считаетъ ее основнымъ мотивомъ, тогда какъ это только фонъ. Правда, г. Волжскій въ своей статьѣ расплывается еще въ религіозной мечтательности, но и это къ дѣлу не идетъ, такъ какъ идея произведенія не—въ поискахъ бога; да и самое понятіе „богъ“ слишкомъ обширно, чтобы понимать его такъ, какъ наши неомистики въ лицѣ г. Волжскаго и сотрудниковъ „Новаго Пути“, также откликнувшагося на послѣднее произведеніе Андреева со своей точки зрѣнія. Ни взглядъ на повѣсть, какъ на „атеистическую лабораторію“, ни нагроможденіе всякихъ другихъ ужасовъ не спасутъ художественной критики. Они не только затемняютъ смыслъ и идею прекраснаго произведенія, но такимъ образомъ вовсе лишаютъ его безцеремонно всякаго смысла.

Не лучше толкованія и другихъ менѣе мистическихъ критиковъ и рецензентовъ, изъ которыхъ одни были недовольны пессимистическимъ взглядомъ автора на міръ, а другіе, великодушно мирясь съ нимъ, переносятъ вопросъ на библейскую почву (Это-де не у насъ дѣлается), называя Василія Фивейскаго „многострадальнымъ Іовомъ“. Нечего говорить о томъ, что это—ошибка уже потому, что въ міросозерцаніи Фивейскаго главную роль играли не личныя страданія, а страданія окружающихъ людей, на что ясно указываетъ Л. Андреевъ.

Невольную грусть вызываетъ чтеніе статьи Скабичевскаго, гдѣ онъ примѣняетъ клиническій методъ во вкусѣ Макса Нордау. Не лучше ли быть осторожнѣе? Слишкомъ недвусмысленно говоритъ этотъ методъ о безсиліи критики. И не она ли вырождается, когда говоритъ о вырожденіи? Мистическія бредни или клиническое здравомысліе—такъ окончились первыя попытки критики того времени разобраться въ философско-психологической литературѣ. А между тѣмъ произведеніе Л. Андреева могло бы возродить и освѣжить критику, и заставить говорить о себѣ тѣхъ, кому оно доступно. Поэтъ долженъ судить поэта, философъ—философа, публицистъ—публициста.

Мы попытаемся здѣсь выяснить идею произведенія, попытаемся дать „идейный скелетъ“ его, освобожденный отъ деталей и художественной отдѣлки..

Замѣтимъ предварительно, что передъ нами по искренности почти автобіографическая исторія перерожденія убѣжденій изъ эгоистическихъ въ альтруистическія и крахъ этихъ убѣжденій въ силу безплодія любви къ человѣку. Отношеніе автора къ этому вопросу—опредѣленно: онъ читаетъ отходную всему міру. „Въ самыхъ основахъ своихъ разрушается и падаетъ міръ“—вотъ основная идея всего произведенія. Это—вопль человѣка-титана, разбившагося о стѣну

человѣческаго безсилія. Это трагедія одинокой личности, возмечтавшей сорвать, какъ „Красный цвѣтокъ", все зло и страданіе міра и павшаго въ безсильи любви.

Прослѣдимъ же шагъ за шагомъ рожденіе и смерть убѣжденій этого человѣка-титана, разбившагося о стѣну безсилія и безплодія.

„Надъ всей жизнью Василія Опвейскаго тяготѣлъ суровый и загадочный рокъ. Точно проклятый невѣдомымъ проклятіемъ, онъ съ юности несъ тяжелое бремя печали, болѣзней и горя и никогда не заживали на сердцѣ его кровоточащія раны". Первымъ ударомъ на его некрасивую, вихрастую голову — была смерть любимаго сына Васи, утонувшаго въ знойный іюльскій полдень. И „стали бояться всѣ яркихъ лѣтнихъ дней, когда слишкомъ свѣтло горитъ солнце и нестерпимо блеститъ зажженная имъ рѣка"...

Потеря ребенка глубоко отразилась на попадьѣ, и она стала пить...

„Когда о. Василій въ первый разъ увидалъ пьяную жену и по мятежно взволнованному, горько радостному лицу ея понялъ, что это навсегда — онъ весь сжался и захохоталъ тихимъ безсмысленнымъ хохоткомъ, потирая сухія, горячія руки... Но потомъ онъ сразу сталъ серьезенъ, и челюсти его замкнулись какъ желѣзныя..."

Онъ вышелъ въ поле и долго шелъ тропинкой среди поднявшейся ржи и смотрѣлъ внизъ, на мягкую, бѣлую пыль, сохранившую кое-гдѣ глубокіе слѣды каблуковъ и круглыя живыя очертанія чьихъ-то босыхъ ногъ... И тамъ, затерянный среди частыхъ колосьевъ, онъ поднялъ глаза кверху. Дрогнули, но не подались сомкнутыя желѣзныя челюсти: скрипнувъ зубами, попъ съ силой развелъ ихъ—и съ этимъ движеніемъ устъ его, похожимъ на судорожную зѣвоту, прозвучали

громкія, отчетливыя слова: „я вѣрю“. Безъ отзвука потерялся въ пустынѣ этотъ молитвенный вопль, такъ безумно похожій на вызовъ...“

И посыпались на него несчастія одно за другимъ: безуміе жены, рожденіе сына-идіота, пожаръ, смерть жены. На ряду съ этимъ къ нему теряли уваженіе прихожане и причтъ. Оскорбленія старосты, сытаго и удачливаго кулака, униженія и позоръ. Такова стала его жизнь.

Въ этихъ несчастіяхъ изолировалась и закалялась для одинокой жизни душа его.—„Среди людей, ихъ дѣлъ и разговоровъ о. Василій былъ видимо обособленъ, такъ непостижимо чуждъ всему, какъ если бъ онъ не былъ человѣкомъ, а только движущейся оболочкой его. Онъ дѣлалъ все, что дѣлаютъ другіе, разговаривалъ, работалъ, пилъ и ѣлъ, но иногда казалось, что онъ только подражаетъ дѣйствіямъ живыхъ людей, а самъ живетъ въ другомъ, куда нѣтъ доступа никому“. Подражая дѣйствіямъ другихъ людей съ цѣлью ввести ихъ въ заблужденіе относительно себя, съ цѣлью избѣжать соприкосновенія съ ними—ненавистнаго для выдѣлившейся личности, а самому жить въ недоступномъ для взгляда другихъ—вотъ наука одиночества. Скрытность и даже ложь—вотъ средство изолировать свою личность отъ вторженія постороннихъ людей и дать ей возможность свободно развиваться. Культъ одиночества—вотъ къ чему привели Василія Ѳивейскаго его страданія.

И въ этомъ одиночествѣ онъ свободно отдавался своимъ глубокимъ, безотраднымъ думамъ. И были эти думы „въ его тяжелой поступи, въ медлительной, запинающейся рѣчи, когда между двумя сказанными словами зіяли черные провалы притаившейся далекой мысли“. Онъ думалъ о Богѣ, о людяхъ и о таинственныхъ судьбахъ, и о скорбной правдѣ человѣческой жизни.

И тихо скользя, приближалось къ нему что-то новое, неясное, но близкое.

Однажды, во время исповѣди, когда о. Василій равнодушно предлагалъ какой-то старухѣ обычные вопросы, его внезапно поразила странность, которой онъ не замѣчалъ раньше.

„Отпалъ туманъ отъ его лица, и блестящими, точно обмытыми, глазами, онъ изумленно глядѣлъ на лицо женщины и на сѣренькую полоску кожи, среди тщательно расчесанныхъ волосъ. И этотъ жалкій проборъ, эта глухая забота о старой, некрасивой, никому ненужной головѣ были также правдой: печальной правдой и вѣчно одинокой, вѣчно скорбной человѣческой жизни".

Какъ просвѣтленный, взглянулъ о. Василій расширенными глазами на человѣческую жизнь и увидѣлъ то, чему боялся дать имя. И съ этой минуты все стало иначе для его больной, измученной души. До сихъ поръ было такъ: существовала крохотная земля и на ней жилъ одинъ огромный о. Василій со своимъ огромнымъ горемъ и огромными страданіями; и другихъ людей какъ-будто не было совсѣмъ. Теперь же земля выросла, стала необъятной и вся заселилась людьми, подобными о. Василію,—людьми, страждущими и молящими о пощадѣ, о правдѣ, о счастливой человѣческой жизни.

Такъ умерло его одиночество.

Нельзя не замѣтить того сожалѣнія и грусти, съ которымъ говоритъ авторъ объ этомъ фактѣ—растворенія личности въ массѣ. Умерло его одиночество, „но вмѣстѣ съ нимъ скрылось и солнце, пустынныя, свѣтлыя дали, плотнѣе сдѣлался мракъ ночи".

На новый путь вышла когда-то одинокая личность, и темная ночь окружила ее. Почва, колеблясь, ушла изъ-подъ ногъ.

Непонятнѣй стала вся бездна страданій людскихъ и нелѣпѣй. И съ отчаяніемъ обратился о. Василій къ людямъ за правдою жизни и допрашивалъ „пытливо, настойчиво, забираясь въ самые заповѣдные уголки души, куда самъ человѣкъ заглядываетъ рѣдко и со страхомъ. Онъ не зналъ чего онъ ищетъ и безпощадно переворачивалъ все, на чемъ держится и чѣмъ живетъ душа. Въ вопросахъ своихъ онъ былъ безжалостенъ и безстыденъ и страха не знала его родившаяся мысль".

А между тѣмъ отвѣта не было: люди сами не знаютъ правды о своей жизни. „Всѣ чувствовали ее и ждали, но никто не умѣлъ назвать ее человѣческимъ словомъ",—потому что не зналъ. Не зналъ ея и о. Василій, но уже смутно началъ предчувствовать—и „чувствовалъ ее то какъ отчаяніе и безумный страхъ, то какъ жалость, гнѣвъ и надежду".

Одинъ за другимъ являлись къ нему исповѣдники. Все больше собиралось ихъ и отовсюду тянулись къ церкви безцвѣтныя, какъ колокольный звонъ, молчаливыя фигуры".

Все также настойчиво и сурово допрашивалъ ихъ о. Василій, и „смыслъ каждой рѣчи былъ страданіе, страхъ и великое ожиданіе. Всѣ осуждали жизнь, но никто не хотѣлъ умереть, и всѣ чего-то ждали, напряженно и страстно, и не было начала ожиданію, и казалось отъ самаго перваго человѣка идетъ оно. Прошло оно черезъ всѣ умы и сердца, уже исчезнувшія изъ міра и еще живые, и оттого стало оно такимъ повелительнымъ и могучимъ. И горькимъ оно стало, ибо впитало въ себя всю печаль несбывшихся надеждъ, всю горечь обманутой вѣры, всю пламенную тоску безпредѣльнаго одиночества".

Эта удивительная по своей экспрессіи и напряженной сосредоточенной тоскѣ и боли за страждущее отъ вѣка человѣчество цитата ясно показываетъ, что мы имѣемъ дѣло не съ Василіемъ Фивейскимъ, а съ

самимъ поэтомъ міровой скорби, который „не хотѣлъ человѣческихъ слезъ, но онѣ лились неудержимо, внѣ его воли, и каждая слеза была требованіемъ, и всѣ онѣ, какъ отравленныя иглы, входили въ его сердце“,— поэтомъ, которому Богъ далъ „остріемъ его горя проникнуть въ страданія людей“.

Порой о. Василій Өивейскій приходилъ въ себя, и тогда—„подобно жертвеннику горѣла его душа, и каждаго, кто подходилъ къ нему, хотѣлось ему заключить въ братскія объятія и сказать: бѣдный другъ, давай бороться вмѣстѣ и плакать, и искать. Ибо ниоткуда нѣтъ помощи человѣку“.

У каждаго страданій и горя было столько, что хватило бы на десятокъ человѣческихъ жизней, и попу, оглушенному, потерявшемуся, казалось, что весь живой міръ принесъ ему свои слезы и муку и ждетъ отъ него помощи—ждетъ кротко, ждетъ повелительно“.

И снова въ безсиліи падалъ духомъ о. Василій. И вкрадывались въ душу его мечты о бѣгствѣ, далеко-далеко отъ этого моря страданій и моря слезъ.

Да! „онъ искалъ правды когда-то, и теперь онъ захлебывался ею, этой безпощадной правдой страданія, и въ мучительномъ сознаніи безсилія ему хотѣлось бѣжать на край свѣта, умереть,—чтобы не видѣть, не слышать, не знать“.

Какъ фальшивый игрокъ, „онъ съ трепетомъ ожидалъ взрыва какого-то страшнаго, сатанинскаго хохота и боялся оборачиваться къ людямъ спиною“.

Такъ долженъ чувствовать себя тотъ, кто ничего не можетъ и призванъ играть роль человѣка, отъ котораго всѣ чего-то ждутъ. А онъ, зная правду, тщательно скрываетъ свое безсиліе и лжетъ, и боится, что будетъ открытъ и осмѣянъ. Такъ чувствуетъ себя всякій, кто искренно любитъ и жалѣетъ человѣка.

Въ это время одна за другой постигаютъ Василія Ѳивейскаго бѣды: попадья пытается повѣситься, немного спустя сгораетъ до тла его домъ и въ пламени гибнетъ, наконецъ, попадья,—но остается жить сынъ-идіотъ, проклятіе его жизни.

Въ порывѣ отчаянія, обезсилѣвъ отъ собственнаго горя и несчастій людскихъ, онъ создаетъ безумный планъ спасенія человѣчества. Въ его головѣ хаосъ и злая безсмыслица получаютъ ясную и опредѣленную оцѣнку, смыслъ и значеніе.

Да! онъ „избранъ".

„Черезъ горнило бѣдствій, насильственно отторгая его отъ дома, отъ семьи, отъ суетныхъ заботъ о жизни—вела его могучая рука къ великому подвигу, къ великой жертвѣ... Самое большое, самое важное предстояло передъ нимъ и называлось оно—чудо. Туда не смѣла заглянуть его все еще человѣческая, слишкомъ человѣческая мысль. Тамъ была граница мысли".

Какъ нѣкогда герой „Краснаго цвѣтка", задумалъ о. Василій сорвать все горе людское и сдѣлать чудо спасенія людей отъ страданій и смерти. Абстрактная идея воплотилась у него въ конкретный образъ, какъ мы это видимъ позднѣе, въ сценѣ съ мертвецомъ. И вотъ онъ начинаетъ постомъ и молитвой готовиться къ подвигу, и душа его становится чище и яснѣе; она закаляется.

Случилось такъ, что умеръ работникъ старосты и о. Василій долженъ былъ отпѣвать его.

Хоронили Мосягина въ понедѣльникъ на „Духовъ день", и начался онъ зловѣщій и страшный... И тишина стояла нѣмая и тяжелая: какъ-будто задумался кто-то большой, опустилъ глаза—и молчитъ...

Такимъ мрачнымъ аккордомъ вводитъ насъ авторъ въ послѣдній актъ своей драмы.

Приближалась гроза и въ церкви темнѣло: всѣ молча входили, опасливо стуча ногами... „Уже трудно

было дышать отъ тѣсноты, а сзади все напирали новые молчаливые ряды. И всѣ молчали, и всѣ судорожно и тревожно ждали". Въ воздухѣ было предчувствіе чего-то, что неизбѣжно, безповоротно должно совершиться, и всѣ, кто выходилъ на время изъ церкви, внезапно спохватывались и пугались, что безъ нихъ произойдетъ въ церкви что-то важное и неожиданное.

И оно произошло.

Во время „послѣдняго цѣлованія", когда псаломщикъ читалъ послѣднее прощальное слово усопшему, внезапно съ амвона среди тишины прозвучалъ разрѣзающій, стонущій голосъ:

— Да остановись же, безумецъ! Развѣ ты не видишь, что здѣсь нѣтъ мертвыхъ?!

И о. Василій бѣжитъ черезъ всю церковь, почувствовавъ въ себѣ силы воскресить мертвеца. Вся любовь, все страданіе его за человѣка кристаллизировались въ одномъ напряженномъ усиліи, нечеловѣчески смѣломъ и безумномъ. Человѣкъ, забывъ о томъ, что онъ человѣкъ, оставивъ его далеко за собой, собравъ всю силу свою и волю, и вѣру, обращается къ мертвецу со словами Бога:

— Тебѣ говорю встань!

. . . . . .

Но неподвиженъ былъ мертвецъ, и вѣчную тайну безстрастно хранили его сомкнутыя уста...

И спрятавъ глаза подъ темною аркой бровей, онъ говоритъ спокойно, спокойно,— тихо, тихо, какъ-будто разбудить кого боится:

— Ты обмануть меня хочешь?

И молчитъ, потупивъ глаза, точно отвѣта ждетъ.

И снова говоритъ тихо, тихо, съ той зловѣщей паузительностью бури, когда уже вся природа въ ея власти, а она медлитъ и царственно нѣжно покачиваетъ въ воздухѣ пушинку.

— Такъ затѣмъ же и вѣрилъ?

— Такъ зачѣмъ же ты далъ мнѣ любовь къ людямъ и жалость? Чтобъ посмѣяться надо мной?

— Это послѣднія слова человѣка-титана, обманутаго его богомъ, покинутаго имъ тогда, когда онъ призвалъ всѣ свои силы, чтобъ положить ихъ за людей,—и звалъ его на помощь. Но... „ниоткуда нѣтъ помощи человѣку". Богъ обманулъ человѣка. Нѣтъ больше вѣры, не въ кого вѣрить—„ниоткуда нѣтъ помощи человѣку". Нѣтъ выхода изъ людскихъ страданій, нѣтъ имъ конца и не будетъ. Погибла вѣра, умерла надежда, безплодна любовь—„въ самыхъ основахъ своихъ разрушается и падаетъ міръ".

И бѣжитъ въ ужасѣ человѣкъ.

„Небо охвачено огнемъ. Въ немъ клубятся и дико мечутся разорванныя тучи и всею гигантской массой своей падаютъ на потрясенную землю.—Въ самыхъ основахъ своихъ рушится міръ—и оттуда, изъ огненнаго клубящагося хаоса несется огромный, громоподобный хохотъ и трескъ, и крики дикаго веселья". Умерло все: погибла вѣра, обманута надежда, безплодна любовь.

Такъ кончается повѣсть Андреева. И нѣтъ въ ней ни одного намека на спасеніе. Это—сплошной вопль, сплошной безумный, раздирающій крикъ отчаянія безповоротнаго, безысходнаго.

Помощи ждать неоткуда, выхода—нѣтъ.

Вотъ простая и ясная на нашъ взглядъ трагедія жизни. Жизни не только Василія Фивейскаго или Л. Андреева, но многихъ, многихъ человѣколюбцевъ. Это—трагедія неутоленной любви къ человѣку, любви безплодной, любви безполезной, безсильной помочь ему въ его тяжкихъ и вѣчныхъ страданіяхъ, вѣчно мятущейся, неудовлетворенной души. И помощи ждать неоткуда: отдѣльная личность безсильна, безсильны ста-

ранія многихъ. „Никто не можетъ этого измѣнить. Если бы сошлись добрые и сильные люди со всего міра, обнимали его, говорили бы ему слова утѣшенья и ласки — онъ остался бы также одинокъ." А между тѣмъ міръ захлебнулся страданіями, и худо отъ стоновъ людскихъ.

Намъ кажется, что эта біографія человѣколюбца, изболѣвшагося душой за страданья людскія, безсильнаго помочь и разочаровавшагося даже въ самой любви въ силу ея безплодія завершая собою циклъ современной литературы, есть глубоко современная трагедія нѣжной человѣческой души. И почемъ знать, быть можетъ она останется и трагедіей будущаго, такъ какъ въ ней запечатлѣны вѣчныя страданія, независящіяся отъ перемѣнъ соціальнаго и политическаго строя, запечатлѣна міровая скорбь, переживпая тысячелѣтія, и она тѣмъ болѣе неизмѣнна, что исторія рожденія этого безотраднаго пессимизма слишкомъ проста и знакома.

Рожденный и выросшій въ страданіяхъ человѣкъ сначала видитъ и чувствуетъ только свои страданія и муки и не замѣчаетъ никого. Но вотъ онъ оглядывается вокругъ — и изъ всѣхъ угловъ тянутся къ нему блѣдные призраки, и смотрятъ изъ тьмы, полные слезъ, просящіе глаза. И слышатся стоны и плачъ. Онъ видитъ массу себѣ подобныхъ, страждущихъ, мятущихся людей, и оглушенный, ошеломленный и захлебывающійся въ морѣ слезъ, онъ спѣшитъ имъ на помощь. Но встрѣчаетъ на пути своемъ стѣну безсилія и разбивается о нее. Въ отчаяніи бѣжитъ онъ отъ этого моря страданій и слезъ. И бѣжитъ до тѣхъ поръ, пока не упадетъ.

И лежа, повергнутый въ прахъ, онъ и въ позѣ своей сохраняетъ стремительность бѣга: „блѣдныя, мертвыя руки тянулись впередъ, нога подвернулась подъ тѣло, другая въ старомъ, стоптанномъ сапогѣ, съ пробитой

подошвой, длинная, прямая, жилистая, откинулась назадъ напряженно и прямо—какъ-будто и мертвый продолжалъ онъ бѣжать...“

Таковъ неизбѣжный исходъ человѣка пойти навстрѣчу людскимъ страданіямъ въ дерзкой надеждѣ, что онъ что-то можетъ. Это символическое изображеніе полнаго краха любви къ человѣку и надо всѣмъ смѣющагося торжества страданія.

Это пессимизмъ, дошедшій до предѣла, за которымъ—вѣчное, безмолвное Ничто.

Изъ царства трагедіи въ царство анархіи.

ГЛАВА V.

Изъ царства трагедіи въ царство Анархіи.

(1905 г.)

А. Купринъ. Л. Андреевъ. Л. Шестовъ. Идеалисты

И наша художественная литература надолго умолкла. Казалось, что вопросъ исчерпанъ—больше писать нечего—все равно послѣ этого ничего не напишешь.

„Жизнь человѣческая скучна, бѣдна и противна“—и лучшее, что можно взять отъ нея — это трагедія и анархизмъ — это „вѣчное кольцо колецъ, кольцо возвращенія“.

И, дѣйствительно, отрицаніе „дѣла жизни“, немыслимаго при ясномъ сознаніи „правды жизни“: отрицаніе прогресса во имя гуманности; отрицаніе любви къ ближнему — все это должно было породить анархизмъ, тотъ самый анархизмъ, который называется индивидуалистическимъ и родоначальникомъ котораго у насъ является Достоевскій, съ его знаменитой дилеммой „мнѣ ли чаю не пить, или міру провалиться“, а продолжателями—Толстой, Горькій съ его босякомъ-анархистомъ, Андреевъ съ его крушеніемъ всего міра и спасительной спайки людей — любви къ ближнему. Ненависть къ обязывающимъ благамъ общежитія вылилась даже въ проповѣди бродячей жизни, въ философіи бродяжничества, съ которой выступилъ на страницахъ покойнаго журнала „Жизнь“ Г. Успенскій въ талантливомъ разсказѣ „Странники“, гдѣ съ любовью и завлекательностью изображены прелести бродячей

жизни, чисто въ Мопассановскомъ духѣ, внѣ законовъ и тяготъ общежитія, въ качествѣ „гражданъ необъятнаго Божьяго міра". Вообще эта чисто анти-общественная тенденція нашла въ нашей литературѣ благодарную почву, но особенно привилась послѣ „Жизни Василія Ѳивейскаго".

Послѣ періода высшаго духовнаго напряженія литературы настала анархія — анархія настроеній, творчества и идей. И эта анархія была зародышемъ реакціи, отказа отъ наслѣдства, перехода къ обыденщинѣ,— словомъ, началомъ конца.

Аріаднина нить литературы была упущена.

Безъ сомнѣнія, такая эволюція заслуживаетъ самаго подробнаго изученія шагъ за шагомъ, намъ же предѣлы небольшого, далеко не исчерпывающаго вопроса очерка позволяютъ намѣтить только этапы въ литературѣ нашихъ дней, останавливаясь лишь на центральныхъ пунктахъ, на вѣхахъ литературнаго пути.

Такимъ центральнымъ боевымъ произведеніемъ надо считать и крупную повѣсть Куприна „Поединокъ", вышедшую ровно годъ спустя послѣ „Василія Ѳивейскаго", которому она служитъ продолженіемъ, принимая въ соображеніе преемственность идей.

Вообще, если мы откинемъ бытовую сторону повѣсти и выявимъ ея идею, мы увидимъ, что связь между ними настолько велика и такъ бросается въ глаза, что можно было бы заподозрить нѣкоторое вліяніе одного на другое. И въ то же время она—отказъ.

Почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ и Л. Андреевъ, разсказываетъ Купринъ исторію рожденія убѣжденій своего героя—офицера Ромашева.

Первый шагъ былъ сдѣланъ Ромашевымъ тогда, когда онъ, застигнутый рядомъ неудачъ и несчастій, впервые сталкивается съ чужимъ человѣческимъ горемъ. Случай свелъ его въ темную страшную ночь въ одно мѣсто съ солдатомъ Хлѣбниковымъ, гдѣ они оба

хотѣли размыкать свое горе, выплакать обиду накипѣвшими слезами на груди матери-природы... „Эта безсонная лихорадочная ночь, чувство одиночества, ровный, матовый, неживой свѣтъ луны: черпѣющая глубина выемки подъ ногами, и рядомъ съ нимъ молчаливый, обезумѣвшій отъ побоевъ солдатъ — все, все представлялось ему какимъ-то нелѣпымъ, мучительнымъ сновидѣніемъ, въ родѣ тѣхъ сновъ, которые должно быть будутъ сниться людямъ въ самые послѣдніе дни міра. Но вдругъ приливъ теплаго, самозабвеннаго безконечнаго состраданія охватилъ его душу. И, чувствуя свое личное горе маленькимъ и пустяшнымъ, чувствуя себя взрослымъ и умнымъ въ сравненіи съ этимъ забитымъ, затравленнымъ человѣкомъ, онъ нѣжно и крѣпко обнялъ Хлѣбникова за шею, притянулъ къ себѣ и заговорилъ горячо, со страстной убѣдительностью: „Хлѣбниковъ, тебѣ плохо? И мнѣ нехорошо, голубчикъ, мнѣ тоже нехорошо, голубчикъ, повѣрь мнѣ. Я ничего не понимаю изъ того, что дѣлается на свѣтѣ. Все —какая-то дикая, безсмысленная, жестокая чепуха!.. Но надо терпѣть, мой милый, надо терпѣть... Это надо..."

Ромашевъ нагнулся близко надъ головой, которая взступленно моталась у него на колѣняхъ. Онъ услышалъ запахъ грязнаго, нездороваго тѣла и немытыхъ волосъ, и прокисшій запахъ шинели, которой покрывались во время сна. Безконечная скорбь, ужасъ, непониманіе, виноватая жалость переполнили сердце офицера и до боли сжали и стѣснили его. И, тихо склонясь къ стриженой, колючей, грязной головѣ, онъ прошепталъ чуть слышно:

— „Братъ мой!"

Это уже шагъ впередъ отъ того студента Сердюкова, который также чувствовалъ виноватую жалость, но ничего не сдѣлалъ и даже не сказалъ въ утѣшеніе несчастнымъ обитателямъ жизненнаго „Болота". Вообще Ромашевъ хотя еще вполнѣ Купринскій типъ

но уже въ дальнѣйшей стадіи развитія. Онъ, какъ и другой герой повѣсти, Назанскій, еще во власти, въ когтяхъ нелѣпой, дикой, безсмысленной и жестокой жизни, но они уже другіе люди, критически относящіеся къ этой жизни, и особенно Назанскій, въ которомъ все-таки что-то есть, надъ чѣмъ не была властна сама жизнь. Гдѣ-то далеко-далеко подъ чернымъ навѣсомъ ночи прорѣзается еще холодная, но уже брезжущая полоска свѣта...

Равнымъ образомъ и остальные персонажи повѣсти уже не то, чѣмъ были они же прежде, годъ назадъ. Правда, они безсильны, но уже не чужды мятежа: „изрѣдка, время отъ времени, въ полку наступали дни какого-то общаго, повальнаго, безобразнаго кутежа. Можетъ быть это случалось въ тѣ странные моменты, когда люди, случайно между собой связанные, но всѣ вмѣстѣ осужденные на скучную бездѣльность и безсмысленную жестокость, вдругъ прозрѣвали глазами другъ у друга, тамъ, далеко въ запутанномъ и угнетенномъ сознаніи, какую-то таинственную искру ужаса, тоски и безумія“... И тогда все разрѣшалось кощунственнымъ, дикимъ возстаніемъ рабовъ противъ вѣками сложившейся жизни...

Подобно тому, какъ въ Василіи Ивейскомъ, послѣ разговора на исповѣди со старушкой „отпалъ туманъ отъ его лица, и блестящими, точно обмытыми, глазами онъ изумленно глядѣлъ на лицо женщины и на сѣренькую полоску кожи, среди тщательно расчесанныхъ волосъ“, такъ какъ это говорило про глухую заботу о старой, некрасивой, никому ненужной головѣ и про печальную правду о вѣчно одинокой, вѣчной скорбной человѣческой жизни,—подобно этому отпалъ туманъ отъ глазъ офицера Ромашева въ эту ночь.

Съ удивленіемъ, тоской и ужасомъ начиналъ Ромашевъ понимать, что судьба ежедневно и тѣсно сталкиваетъ его съ сотнями этихъ сѣрыхъ Хлѣбниковыхъ,

изъ которыхъ каждый болѣетъ своимъ горемъ и радуется своимъ радостямъ, но что всѣ они обезличены и придавлены собственнымъ невѣжествомъ, общимъ рабствомъ, начальническимъ равнодушіемъ, произволомъ и насиліемъ. Эта новая жизнь поражала его своей многообразностью. Раньше онъ не смѣлъ и подозрѣвать, какія радости, какая мощь и какой глубокій интересъ скрываются въ такой простой, обыкновенной вещи, какъ человѣческая мысль. Онъ думалъ о священникахъ, докторахъ, педагогахъ, адвокатахъ и судьяхъ,—обо всѣхъ этихъ людяхъ, которымъ по роду ихъ занятій приходится постоянно соприкасаться съ думами, мыслями и страданіями другихъ людей. Медленно, чрезвычайно неувѣренно, но все глубже и глубже вдумывался Ромашевъ въ жизненныя явленія.

Съ тѣхъ поръ въ Ромашевѣ произошелъ глубокій душевный надломъ. Онъ сталъ уединяться, онъ точно созрѣлъ, сдѣлался старше и серьезнѣе за послѣдніе дни, и самъ замѣчалъ это по тому ровному и грустному спокойствію, съ которымъ онъ теперь относился къ людямъ и явленіямъ.

Мы видимъ, что эта исторія внутренней жизни Ромашева сильно походитъ на схему развитія міросозерцанія Василія Ѳивейскаго. И тотъ, и другой въ своемъ мышленіи начали съ индивидуализма, но думы Василія Ѳивейскаго привели его къ отреченію отъ своей индивидуальности, а думы Ромашева—къ ея утвержденію. И въ томъ, и другомъ случаѣ—эпилогъ печальный и даже трагическій. Но Василій Ѳивейскій гибнетъ героически отъ безплодной любви къ ближнему и въ силу того, что отрекся отъ своей личности. Ромашевъ же гибнетъ нелѣпо, въ силу своей собственной непослѣдовательности и безсилія, такъ какъ онъ былъ слишкомъ долго въ когтяхъ жизни и ему было почти уже поздно выступать въ новую жизнь. Въ старые мѣхи не льютъ новаго, молодого вина. Психо-

логически Ромашевъ скорѣе походитъ на „Сергѣя Петровича“, такого же какъ онъ индивидуалиста по недоразумѣнію, не рожденнаго для индивидуализма. Все это старые мѣхи, и потому они нелѣпы и жалки, когда въ нихъ переливается и бурлитъ молодое вино.

Много интереснѣе другой типъ, также для Куприна новый, хотя тоже старый, ветхій, изорванный и заштопанный мѣхъ, кое-какъ поддерживающій свою жизнь въ бреду и мечтахъ наркотиковъ и алкоголя—типъ Назанскаго, который въ оправданіе такой жизни говоритъ:

„Это время моей свободы, Ромашевъ, свободы духа, воли и ума! Я живу тогда, можетъ быть, странной, но глубокой, чудесной, внутренней жизнью. Такой полной жизью! Все, что я видѣлъ, о чемъ читалъ или слышалъ,—все оживляется во мнѣ, все пріобрѣтаетъ необычайно яркій свѣтъ и глубокій, бездонный смыслъ... Сначала, когда я впервые испыталъ этотъ трудный подъемъ внутренней жизни, я думалъ, что это—самовдохновеніе. Но нѣтъ: въ немъ ничего нѣтъ творческаго, нѣтъ даже ничего прочнаго. Это просто болѣзненный процессъ. Это просто внезапные приливы, которые съ каждымъ разомъ все больше и больше разъѣдаютъ дно. Да. Но все-таки это безуміе сладко мнѣ и... къ чорту спасительная бережливость и вмѣстѣ съ ней къ чорту дурацкая надежда дожить до ста десяти лѣтъ и попасть въ газетную смѣсь, какъ рѣдкій примѣръ долговѣчности... Я счастливъ—и все тутъ!“ Таковъ Назанскій.

Вся жизнь для него въ мечтахъ. Въ устa этого-то порожденія алкоголя и безумія Купринъ влагаетъ свои заповѣдныя мысли. И изъ устъ этого живого мертвеца льются дивныя рѣчи, полныя огня и смѣлой, свободной жизни, проповѣдь радости жизни, смѣлое „да, бытію!“

„Посмотрите, нѣтъ, посмотрите только, какъ прекрасна, какъ обольстительна жизнь! восклицаетъ Назанскій. О, радость, о божественная красота жизни! Смотрите: голубое небо, вечернее солнце, тихая вода— вѣдь дрожишь отъ восторга, когда на нихъ смотришь—вонъ тамъ, далеко, вѣтряныя мельницы машутъ крыльями, зеленая кроткая травка, вода у берега— розовая-розовая отъ заката. Ахъ, какъ все чудесно, какъ все нѣжно и счастливо! Нѣтъ, если я попаду подъ поѣздъ и мнѣ перерѣжутъ животъ и мои внутренности смѣшаются съ пескомъ и намотаются на колеса, и если въ этотъ послѣдній мигъ меня спросятъ: „Ну что, и теперь жизнь прекрасна? Я скажу съ благодарнымъ восторгомъ:

— „Ахъ, какъ она прекрасна!“

Такъ говоритъ одинокій полубезумный алкоголикъ Назанскій на краю могилы своему товарищу, обреченному на смерть, тоже одинокому, забытому и обезпеченному. Несмотря на свое человѣческое существованіе, на границѣ сумасшествія и смерти, онъ находитъ въ себѣ искру жизни для того, чтобы пропѣть ей славословіе во что бы то ни стало, для того, чтобы звать къ свободной дивной жизни. И—обращаемъ на это особенное вниманіе—къ какой жизни? можетъ быть, къ людямъ, какъ это принято обыкновенно думать? Нѣтъ, къ свободной жизни вдали отъ людей, граждашномъ великаго Божьяго міра, необъятной матери природы. „Главное—не бойтесь вы, не бойтесь жизни, она веселая, занятная, чудная штука эта жизнь... Смѣло ныряйте въ жизнь, она васъ не обманетъ... Идите, идите... Ну, ладно, не повезетъ вамъ, надуетъ вы, опуститесь до босячества, до пропойства. Но вѣдь, ей-Богу, родной мой, любой бродяжка живетъ въ десять тысячъ разъ полнѣе и интереснѣе... Ходишь по землѣ—туда, сюда, видишь города, деревни, знакомишься со множествомъ странныхъ, безпечныхъ, ва-

смѣшливыхъ людей, смотришь, нюхаешь, слышишь, спишь на росистой травѣ, мерзнешь на морозѣ, ни къ чему не привязанъ, никого не боишься, обожаешь свободную жизнь всѣми частицами души"...

Мы снова узнаемъ здѣсь знакомый уже намъ выходъ изъ общественной жизни, съ ея всепожирающимъ чудовищемъ Молохомъ—въ философіи бродяжничества, въ „философіи нищеты", въ анархизмѣ. Снова воскресаетъ Мопассанъ, этотъ философъ-бродяга, ненавистникъ той жизни, которую такъ неумѣло устроили люди.

— „Уходите. Говорю вамъ такъ, потому что я самъ попробовалъ воли, и если вернулся назадъ, въ загаженную клѣтку, то виной этому... ну, да ладно... все равно, вы понимаете... Смѣло ныряйте въ жизнь, она васъ не обманетъ". Эти слова почти тожественны съ В. Успенскимъ („Странники").

Если мы признаемъ, что Л. Андреевъ своей повѣстью создалъ такое положеніе вещей, что дальше по пути пессимизма и отчаянія идти было некуда, то мы видимъ, что первый, кто взялся указать выходъ изъ этого положенія, является Купринъ, неожиданно и круто повернувшій отъ отрицанія къ формулѣ „да, бытію!"

Спрашивается: „гдѣ же черпалъ эту силу" несчастный, полубезумный алкоголикъ Назанскій, сохранившій въ себѣ силу жизни на краю могилы и на границѣ умопомѣшательства, этотъ кровь отъ крови, плоть отъ плоти героевъ Куприна?

Эта сила въ его религіи, въ фетишѣ, въ призракѣ. Изъ отрицанія общества и коллектива, изъ отрицанія любви къ ближнему и крушенія всѣхъ боговъ—на развалинахъ міра рождается новый богъ — я. Рождается индивидуалистическій анархизмъ.

„Да, наступаетъ новое, чудное, великолѣпное время, и оно уже у воротъ. Время великихъ разочарованій и

страшной переоцѣнкѣ... Если рабство длилось вѣка, то распаденіе будетъ ужасно. Чѣмъ громаднѣе было насиліе, тѣмъ кровавѣе будетъ расправа".

Homo novus объявляетъ войну всему, что связывало его по рукамъ и ногамъ въ прежней жизни тоски и отчаянія, и первое, на что падаетъ тяжелый молотъ его мысли— это любовь къ ближнему — краеугольный камень общественнаго зданія — его прежнее credo и религія.

„До этой поры старые вороны и галки вбивали въ насъ съ самой школьной скамьи: люби ближняго, какъ самого себя и знай, что кротость, послушаніе и трепетъ есть первыя достоинства человѣка. Болѣе честные, болѣе сильные, болѣе хищные говорили намъ: возьмемся объ руку, пойдемъ и погибнемъ, но будущимъ поколѣніямъ приготовимъ свѣтлую и легкую жизнь. Но я никогда не понималъ этого. Кто мнѣ докажетъ съ ясной убѣдительностью,—чѣмъ связанъ я съ этимъ— чортъ бы его побралъ!—моимъ ближнимъ, съ подлымъ рабомъ, съ готтентотомъ, съ татариномъ, съ зараженнымъ, съ идіотомъ? О, изъ всѣхъ легендъ я больше всего ненавижу — легенду о Юліанѣ Милостивомъ... Ухъ, ненавижу! ненавижу прокаженныхъ и не терплю ближнихъ!"

Не напоминаетъ ли вся эта тирада извѣстныхъ словъ философа: „я бы хотѣлъ, чтобы всѣ эти ближніе и сосѣди ихъ стали для васъ невыносимы; тогда вы должны бы были изъ себя создать своего друга".

Но русская художественная литература опередила философа. Ницше отрицалъ любовь къ ближнему во имя любви къ дальнему: „выше любви къ ближнему стоитъ любовь къ дальнему и будущему; выше еще чѣмъ любовь къ человѣку я ставлю любовь къ дѣламъ и призракамъ".

Русская художественная литература не желаетъ считаться съ подобными „утопіями" и „призраками", она

болѣе реальна, конкретна и анархична, скорѣе какъ у Штирнера: „Какой интересъ заставитъ меня разбивать свою голову ради счастья людей тридцать второго столѣтія? О, я знаю этотъ куриный бредъ о какой-то міровой душѣ, о священномъ долгѣ. Но даже тогда, когда я ему вѣрилъ умомъ, я ни разу не чувствовалъ его сердцемъ".

Мы видимъ, что это далеко уже не Ницше. Ницше остался позади. Съ нами говоритъ потомокъ и послѣдователь Достоевскаго въ періодѣ „Записокъ изъ подполья", возставшаго даже противъ самой закономѣрности мірового порядка *).

И это возстаніе индивида противъ коллектива литература оправдываетъ тѣмъ, что съ человѣкомъ умираетъ вся жизнь. Только въ немъ и постольку, поскольку существуетъ человѣкъ, существуетъ весь міръ: „вѣдь никто, ни вы, ни я, ахъ, да просто-напросто никто въ мірѣ не вѣритъ ни въ какую загробную жизнь". И если человѣкъ себя убиваетъ, „развѣ онъ себя убиваетъ—этотъ жалкій, движущійся комочекъ, который называется человѣкомъ? Онъ убиваетъ солнце, свѣтлое небо, природу, — всю многообразную красоту жизни, убиваетъ величайшее наслажденіе и гордость — человѣческую мысль!" Человѣкъ живетъ только мигъ и никогда не узнаетъ, что будетъ послѣ него.

„Вотъ пройдетъ еще двадцать, тридцать лѣтъ — одна секунда въ томъ времени, которое было до меня и будетъ послѣ меня. Одна секунда! Мое „я" погаснетъ, точно лампа, у которой прикрутили фитиль. Но лампу зажгутъ снова, и снова, и снова, а меня уже не будетъ. И не будетъ ни этой комнаты, ни неба, ни полка, ни всего войска, ни звѣздъ, ни земного шара, ни моихъ рукъ и ногъ... Потому что не будетъ меня... Да, да это такъ... Меня не будетъ. Было темно, кто-то за-

*) Ср. Достоевскій „Записки изъ подполья".

жетъ мою жизнь, и сейчасъ же потушилъ ее, и опять стало темно навсегда, навѣки вѣковъ."...

Возставшій человѣкъ Куприна, потомокъ мятежника изъ подполья, „интиринріанецъ", порывая послѣднія путы, разрушаетъ одно за другимъ старыя позолоченныя „идолища" и прокладываетъ путь своему „я".

„И вотъ, говорю я, любовь къ человѣчеству выгорѣла и вычадилась изъ человѣческихъ сердецъ. На смѣну ей идетъ новая, божественная вѣра, которая пребудетъ безсмертной до конца міра. Это любовь къ себѣ, къ своему прекрасному тѣлу, къ своему всесильному уму, къ безконечному богатству своихъ чувствъ. Кто вамъ дороже и ближе себя? Никто. Вы — царь міра, его гордость и украшеніе. Вы — богъ всего живущаго".

Въ тѣхъ случаяхъ, когда авторъ проповѣдуетъ такія мысли, его принято упрекать въ проповѣди тунеядства, крѣпостничества и паразитства на чужихъ хребтахъ. Такъ отнеслась когда-то къ Ницше соціаль-демократическая критика. Но авторъ здѣсь неуязвимъ: „настанетъ время, говоритъ онъ, и великая вѣра въ свое „я" осѣнитъ, какъ огненные языки св. Духа, головы всѣхъ людей, и тогда уже не будетъ ни господъ, ни рабовъ, ни калѣкъ, ни жалости, ни пороковъ, ни злобы, ни зависти. Тогда люди станутъ богами. И подумайте, какъ осмѣлюсь я тогда оскорбить, толкнуть, обмануть человѣка, въ которомъ я чувствую равнаго себѣ, свѣтлаго бога?.."

И это, по мнѣнію автора, не утопія: къ этому идетъ весь прогрессъ личности: „такъ же, какъ вѣрю я въ это вечернее небо надо мною, такъ же твердо я вѣрю въ эту грядущую, богоподобную жизнь!"

И какъ бы заранѣе предвидя нападки, авторъ старается ихъ отпарировать: „какой-нибудь профессоръ догматическаго богословія или классической философіи разставитъ врозь ноги, разведетъ руками и скажетъ, склонивъ на одинъ бокъ голову: „Но, вѣдь, это про-

явленіе крайняго индивидуализма!" „Дѣло не въ страшныхъ словахъ, мой дорогой мальчикъ, дѣло въ томъ, что нѣтъ на свѣтѣ ничего практичнѣе, чѣмъ тѣ фантазіи, о которыхъ теперь думаютъ немногіе. Онѣ, эти фантазіи — вѣрнѣйшая и надежнѣйшая спайка для людей".

И въ доказательство своей мысли авторъ приводитъ слѣдующій примѣръ-аналогію:

„Вотъ на улицѣ стоитъ чудовище, веселое, двухголовое чудовище", самое холодное изъ всѣхъ чудовищъ, которое холодно лжетъ. „Кто ни пройдетъ мимо него, оно сейчасъ въ морду, сейчасъ въ морду. Оно меня еще не ударило, но одна мысль о томъ, что оно меня можетъ ударить, оскорбить мою любимую женщину, лишить меня по произволу свободы,—эта мысль вздергиваетъ на дыбы всю мою гордость. Одинъ я осилить его не могу. Но рядомъ со мной стоитъ такой же смѣлый, такой же гордый человѣкъ, какъ я, и я говорю ему: „пойдемъ и сдѣлаемъ вдвоемъ такъ, чтобы оно ни меня, ни тебя не ударило". И мы идемъ.

О, конечно, это грубый примѣръ, это схема, но въ лицѣ этого двухголоваго чудовища я вижу все, что связываетъ мой духъ, насилуетъ мою волю, унижаетъ мое уваженіе къ своей личности. И тогда-то не телячья жалость къ ближнему, а божественная любовь къ самому себѣ соединяетъ мои усилія съ усиліями другихъ, равныхъ мнѣ по духу, людей!"

Мы безконечно далеки отъ мысли обобщать указанное анархическое направленіе, принятое нашей литературой, до какой-либо государственной теоріи въ смыслѣ новаго ученія о соціальномъ строѣ или теоріи практической политики. Нашей задачей было анализировать постепенно развитіе философской мысли и настроеній нашей художественной литературы и намѣтить этапы, по которымъ она проходила. Тѣмъ не менѣе, какъ любопытную параллель, припомнимъ, между про-

чимъ, слова А. Менгера въ книгѣ его „Новое ученіе о государствѣ", вышедшей у насъ почти одновременно тремя изданіями. Въ главѣ объ анархизмѣ онъ говоритъ: „Все же въ этихъ столь крайнихъ теоріяхъ заключается зерно истины. Наше современное общество, съ господствующими въ немъ узкими, житейскими интересами, конечно, не можетъ отказаться отъ примѣненія насилія въ самомъ широкомъ объемѣ. И человѣчество никогда, вѣроятно, не сможетъ обойтись совершенно безъ государства съ его законодательствомъ, съ его принудительной и карательной властью. Но если когда-нибудь благо всѣхъ будетъ дѣйствительно цѣлью нашихъ соціальныхъ учрежденій и народныя массы, благодаря имъ, разовьются до болѣе высокаго уровня проницательности и готовности на жертвы, тогда возможно будетъ предоставить ихъ свободной дѣятельности гораздо въ большей степени, чѣмъ мы, вѣчно водимые на помочахъ, можемъ теперь даже мечтать".

Еще дальше пошелъ Ф. Энгельсъ. Въ предисловіи къ „Гражданской войнѣ" К. Маркса онъ заявляетъ: „въ дѣйствительности государство является только машиной для угнетенія одного класса другимъ, все равно, будь то демократическая республика или наслѣдственная монархія". Въ этомъ замѣчаніи Энгельсъ вполнѣ солидаренъ съ анархистомъ Ибсеномъ.

Во всякомъ случаѣ нельзя не отмѣтить нѣкоторой терпимости къ анархизму въ западной литературѣ, выразившейся и въ томъ, что книга Макса Штирнера, теоретика индивидуалистическаго анархизма, послѣдніе годы снова возбудила къ себѣ интересъ и вниманіе, послѣдствіемъ чего, быть можетъ, и явилось, какъ отголосокъ, анархическое направленіе художественной литературы въ лицѣ Киркегора, Ибсена, Октава Мирбо и т. п. У насъ въ Россіи содержаніе этой книги также не замедлило появиться въ изложеніи Сазонова:

„Ницшеанецъ 40-хъ годовъ“ (М. Штирнеръ)*). Отголоскомъ всего этого въ совокупности, очевидно, явилось вышеочерченное направленіе нашей молодой литературы, принесшее въ недалекомъ будущемъ такіе печальные плоды.

Дойдя до апогея реалистическаго пессимизма, насквозь пропитанная скептицизмомъ, невѣріемъ, культомъ отчаянія,—по мѣткому выраженію Л. Шестова,—апоѳеозомъ безпочвенности,—наша молодая литература неожиданно и вопреки всему ходу общественной жизни, за два года до политической „весны“ повернула къ періоду вѣры и идеалистическихъ утопій, въ родѣ анархистскихъ построеній на основѣ неизбѣжнаго якобы улучшенія человѣчества и шаткой вѣры въ воскресеніе гуманизма, что явно противорѣчило реалистически-научному взгляду на вещи вообще и на человѣческій прогрессъ въ частности.

„Господствующій взглядъ на исторію цивилизаціи можно формулировать такъ: „цивилизація превратила хищнаго звѣря въ человѣка“. Изъ сотни читателей девяносто девять (а можетъ быть и всѣ сто) подпишутся подъ этой формулой обѣими руками.

„Противоположную формулу: „цивилизація превратила человѣка въ хищнаго звѣря“—огромное большинство публики назоветъ парадоксомъ. Но точная наука накопила столько данныхъ въ пользу этого „парадокса“, что скоро онъ станетъ азбучной истиной“ (*М. Энгельгардтъ*. Прогрессъ какъ эволюція жестокости. Изд. Павленкова 1899 г.).

Какъ мы увидимъ позднѣе, анархизмъ настроеній перешелъ въ анархизмъ творчества, и Ариаднина нить русской литературы была временно потеряна, пока съ „Жизнью человѣка“ не была снова поднята Л. Андреевымъ, но уже въ измѣненномъ видѣ.

---

*) Позднѣе и полный переводъ его книги, равно какъ и цѣлая литература по этому вопросу.

Въ области общественно-философскихъ исканій мы видимъ тотъ же путь- путь отъ „Философіи трагедіи" Леонида Шестова къ идеалистическому и этическому индивидуализму, „Проблемамъ идеализма", неокантіанству.

1903 годъ былъ завершеніемъ коренной ломки экономическаго матеріализма. Вотъ краткая схема этого разложенія. Еще ранѣе Миллъ и Спенсеръ указали на то, что соціологія должна опираться непосредственно не на біологическіе факторы, а на психическіе. Психическіе факторы общественной эволюціи особенно подчеркивались Гордомъ, Тардомъ и Михайловскимъ вмѣстѣ съ другими представителями „русской соціологической школы". Въ ихъ пониманіи историческій процессъ являлся синтезомъ экономическаго и психическаго. Отсюда—синтетическій монизмъ въ пониманіи исторіи, исходившій изъ субъективнаго метода—въ силу невозможности познанія „объективной дѣйствительности". Синтетическій монизмъ исходилъ изъ законности и необходимости субъективнаго идеала и опредѣленно становился на эту точку зрѣнія. Матеріализмъ въ философіи исторіи имѣлъ корни: 1) въ общефилософскомъ матеріализмѣ Бюхнера, Геккеля, Фейербаха и др. 2) въ біологизмѣ Дарвина и Уоллеса и 3) въ органической теоріи Спенсера и Вормса. Игнорируя дальнѣйшее развитіе философіи исторіи и соціологіи въ сторону „психическихъ факторовъ", онъ выдвигалъ главнымъ факторомъ матеріальныя потребности человѣка. Психика по его пониманію- продуктъ матеріальныхъ условій, „надстройка на экономическомъ факторѣ". Человѣкъ для него продуктъ среды и связанъ закономѣрностью и необходимостью.

Нельзя не сознаться, что матеріализмъ былъ первой ступенью научнаго исканія, его младенческимъ періодомъ.

Въ новѣйшее время, за исключеніемъ немногихъ фанатиковъ ортодоксіи, рѣдко кто исповѣдуетъ догму въ ея чистомъ видѣ. Не говоря уже объ экономической сторонѣ, ея психологія подвергнута существеннымъ измѣненіямъ. Ортодоксамъ и послѣднимъ могиканамъ матеріализма пришлось ограждать чистоту и невинность своей догмы отъ цѣлаго ряда критиковъ: „ревизіонистовъ", какъ Бернштейнъ, Прокоповичъ, Туганъ-Барановскій, неокантіанцевъ, идеалистовъ, какъ Ланге, Гиль, Паульсенъ, Штамлеръ, Вольтманъ и проч. Ряды послѣднихъ могиканъ рѣдѣютъ, дезертирство учащается. Все это говоритъ о близкомъ крушеніи матеріалистическаго направленія въ научной философіи исторіи.

Историческій матеріализмъ принялъ опредѣленную тенденцію къ переходу къ идеалистическимъ системамъ. Элементы идеализма стремятся внести въ свое міросозерцаніе многіе марксисты, какъ Вандервельдъ, Жоресъ, Булгаковъ и др., и даже Каутскій ищетъ теперь „этическій элементъ" „въ экономическомъ пониманіи исторіи" и разрабатываетъ „этическую проблему" въ историческомъ матеріализмѣ.

Отсюда ясна тенденція матеріализма. Гносеологія матеріалиста не выдержала испытанія времени и породила громадную оппозицію вплоть до метафизическаго идеализма. Мало того, она ассимилируется съ новыми теоріями и, постепенно впитывая ихъ, переходитъ въ свою противоположность. Этическій элементъ и неокантіанство говорятъ намъ уже объ „этическомъ" соціализмѣ и прививаютъ ему идеалистическій элементъ и „субъективизмъ", такъ яро осуждавшійся когда-то въ представителяхъ „русской соціологической школы".

Перевѣсъ получаетъ реалистическое пониманіе исторіи какъ синтезъ идеализма и позитивизма. Метафизическому идеализму противоставляется идеализмъ этическій съ тремя основными положеніями: 1) Необхо-

димость субъективнаго метода, вытекающая изъ невозможности познанія объективной дѣйствительности. Законность и необходимость субъективнаго идеала. 2) Насущность соціальной этики, ибо соціальная мораль не есть надстройка на матеріальныхъ отношеніяхъ и опредѣляется не ими, а „субъективнымъ идеаломъ". 3) Признаніе роли личности въ исторіи какъ единственно прогрессивнаго фактора и возможности сознательнаго вмѣшательства организованныхъ силъ въ стихійный процессъ и цѣлесообразной дѣятельности личности и индивида. Матеріалистическому пониманію исторіи противоставляется реализмъ какъ отправной пунктъ теоріи прогресса Михайловскаго. Элементы позитивизма и идеализма, тѣсно сплетаясь, создаютъ основы интегральнаго соціализма Лаврова и Михайловскаго. Цѣлесообразность прогресса устанавливается съ точки зрѣнія не только общества, но и индивида. Прогрессъ—въ установленіи „общественной солидарности" и „цѣлостности недѣлимыхъ". Послѣднее въ смыслѣ нерастворимости индивида въ массѣ является прочнымъ фундаментомъ для перваго. Цѣль и основа исканія—въ возможности осуществленія идеаловъ общественной солидарности и цѣлостности недѣлимыхъ при соціалистическомъ строѣ.

Наиболѣе серьезнымъ ударомъ для разложенія у насъ экономическаго матеріализма послужили знаменитыя „Проблемы идеализма" съ ярко индивидуалистической окраской. Но прежде чѣмъ перейти къ нимъ, необходимо остановиться на нашумѣвшей книгѣ молодого философа Л. Шестова, посвященной „Достоевскому и Ницше" съ подзаголовкомъ „Философія трагедіи".

„Философія трагедіи" въ исторіи общественной мысли безусловно предшествовала „Проблемамъ идеализма". То и другое совпало съ разложеніемъ экономическаго матеріализма и декадентства, всюду ему

сопутствовавшаго. Вмѣстѣ родившись, они вмѣстѣ умерли. На смѣну имъ сначала выступила „Философія трагедіи", а потомъ индивидуализмъ, который, какъ мы видѣли, и художественной литературой признавался единственнымъ выходомъ изъ создавшагося положенія.

Разбирая Достоевскаго, Шестовъ говоритъ: „у него нѣтъ надежды— развѣ это не значитъ, что надежда погибла для всего міра?

„На дѣлѣ мнѣ надо знаешь чего? Чтобы вы всѣ провалились— вотъ чего. Мнѣ надо спокойствія. Да я за то, чтобъ меня не безпокоили, весь свѣтъ за копейку продамъ! Свѣту ли провалиться или мнѣ чаю не пить? Я скажу, что свѣту провалиться, а чтобъ мнѣ чай всегда пить".

Останавливаясь на этомъ афоризмѣ, Шестовъ говоритъ: „Записки изъ подполья". это—раздирающій душу вопль ужаса, вырвавшійся у человѣка, внезапно убѣдившагося, что онъ всю свою жизнь лгалъ, притворялся, когда увѣрялъ себя и другихъ, что высшая цѣль существованія, это- служеніе послѣднему человѣку. До сихъ поръ онъ считалъ себя отмѣченнымъ судьбой, предназначеннымъ для высшаго дѣла. Теперь же онъ внезапно почувствовалъ, что онъ ничуть не лучше, чѣмъ другіе люди, что ему такъ же мало дѣла до всякихъ идей, какъ и самому обыкновенному смертному. Пусть идеи хоть тысячу разъ торжествуютъ; пусть освобождаютъ крестьянъ, пусть заводятъ правые и милостивые суды, пусть уничтожаютъ рекрутчину— у него на душѣ отъ этого не становится ни легче, ни веселѣе. Онъ принужденъ сказать себѣ, что если бы взамѣнъ всѣхъ этихъ великихъ и счастливыхъ событій на Россію обрушились несчастія, онъ чувствовалъ бы себя не хуже; можетъ быть лучше. ...Что дѣлать, скажите, что дѣлать человѣку, который открылъ въ себѣ самомъ такую безобразную и отвра-

тительную мысль? Особенно писателю, привыкшему думать, что онъ обязанъ дѣлиться съ читателями всѣмъ, что происходитъ въ его душѣ? Разсказать правду? Выйти на площадь и открыто, всенародно признаться, что вся прежняя жизнь, всѣ прежнія слова были ложью, притвореніемъ, лицемѣріемъ, что въ то время, когда онъ плакалъ надъ Макаромъ Дѣвушкинымъ, онъ нимало не думалъ объ этомъ несчастномъ и только рисовалъ картины на утѣшеніе себѣ и публикѣ?..

Навсегда Достоевскаго изсякъ. Добро, служеніе идеѣ не вдохновляютъ его больше. „Записки изъ подполья" есть публичное, хотя и не открытое, отреченіе отъ своего прошлаго. „Не могу, не могу больше притворяться, не могу жить въ этой лжи идей, а другой правды нѣтъ у меня, — будь, что будетъ!"

Въ послѣдній разъ Достоевскій уже одними губами шепчетъ свое заклинаніе: „познается, что послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ твой". Но слова этой молитвы не только не утѣшили его, — они были тѣмъ ядомъ, который отравилъ Достоевскаго, хотя въ нихъ видѣли и продолжаютъ до сихъ поръ видѣть безопасныя и даже укрѣпляющія душу слова!.. Благо тому, кто въ этой фразѣ чувствуетъ только поэзію братства! Но каково справиться съ ней, когда на первый планъ выступаетъ ничтожество и безсмысленица существованія послѣдняго человѣка? Какъ вынести ее, если весь ужасъ такого послѣдняго существованія узнаешь по собственному опыту? Когда поэзія братства будетъ уже предназначаться для новыхъ входящихъ въ жизнь людей, а тебѣ лично придется взять на себя роль Макара Дѣвушкина, объекта умиленія возвышенныхъ душъ? Что тогда дастъ великая идея гуманности? Надежду на будущее, очень, конечно, отдаленное, мечты объ иномъ, счастливомъ устроеніи человѣчества? А пока вѣчная, постылая и лицемѣрная роль жреца всего „прекраснаго и высокаго".

Если когда-нибудь осуществится идеалъ человѣческаго счастья на землѣ, то Достоевскій заранѣе предаетъ его проклятью.

Сократъ, Платонъ, Добро, Гуманность, идеи— весь сонмъ прежнихъ ангеловъ и святыхъ, оберегавшихъ невинную человѣческую душу отъ нападеній злыхъ демоновъ скептицизма и пессимизма, безслѣдно исчезаетъ въ пространствѣ, и человѣкъ передъ лицомъ своихъ ужаснѣйшихъ враговъ впервые въ жизни испытываетъ то страшное одиночество, изъ котораго его не въ силахъ вывести ни одно самое преданное любящее сердце. Здѣсь-то и начинается философія трагедіи.

Всѣ апріори погибли, философія Канта и гр. Толстого кончена, начинается область Ding an sich...

Побѣдить идеализмомъ свои несчастья и сомнѣнія— невозможно. „Все, что цѣнилось, все, что считалось прекраснымъ и высокимъ—въ этой жизни для меня запретный плодъ. Но я живу еще, я буду еще долго жить въ новыхъ страшныхъ условіяхъ". Всѣ ужасы жизни не такъ страшны, какъ выдуманныя совѣстью и разумомъ идеи... „А что, господа, не столкнуть ли намъ все это благоразуміе съ одного раза, ногой, прахомъ, единственно съ той цѣлью, чтобы всѣ эти логарифмы отправить къ чорту, и чтобы намъ опять на своей волѣ пожить?"

Если задача человѣка—обрѣсти счастье на землѣ, то, значитъ, все навсегда погибло.

Достоевскій понималъ и умѣлъ рисовать лишь мятежную, борющуюся, ищущую душу. Какъ только же онъ дѣлалъ попытку изобразить человѣка нашедшаго, успокоившагося, появившаго — онъ сразу впадалъ въ обидную банальность.

„Скажи мнѣ самъ, прямо, я зову тебя, отвѣчай: представь, что это ты самъ возводишь зданіе судьбы человѣческой съ цѣлью въ финалѣ осчастливить лю-

дей, дать имъ наконецъ миръ и покой, но для этого необходимо немилуемо предстояло бы замучить всего одно лишь крохотное созданьице, вотъ того самаго ребеночка, бившаго себя кулачонками въ грудь, и на неотмщенныхъ слезахъ его основать это зданіе, согласился ли ты быть архитекторомъ на этихъ условіяхъ, скажи и не лги". („Братья Карамазовы" *).

Никакія гармоніи, никакія идеи, никакая любовь или прощеніе, словомъ, ничего изъ того, что отъ древнѣйшихъ до новѣйшихъ временъ придумывали мудрецы, не можетъ оправдать безсмысленцу и нелѣпость въ судьбѣ отдѣльнаго человѣка.

Герои Достоевскаго забвенья не ищутъ, какъ бы трудно имъ ни давалась жизнь. „Сердце мое раздираю нарочно, злобой его утоляю".

Достоевскаго и Ницше Шестовъ считаетъ родными братьями. „У Ницше мыслить—значитъ терзаться, мучиться, корчиться въ судорогахъ". Онъ приводитъ молитву Ницше:

„О, пошлите мнѣ безуміе, небожители! Безуміе, чтобы я наконецъ самъ повѣрилъ себѣ. Пошлите мнѣ бредъ и судороги, внезапный свѣтъ и внезапную тьму, бросайте меня въ холодъ и жаръ, какихъ не испыталъ еще ни одинъ смертный, пугайте меня таинственнымъ туманомъ и привидѣніями, заставьте меня выть, визжать, ползать какъ животное: только бы мнѣ найти вѣру въ себя. Сомнѣніе пожираетъ меня! я убилъ законъ,—законъ страшитъ меня, какъ трупъ страшитъ живого человѣка; если я не больше, чѣмъ законъ, то вѣдь я отверженнѣйшій изъ людей. Новый духъ, родившійся во мнѣ—откуда онъ, если не отъ васъ? Докажите мнѣ, что я вашъ — одно безуміе можетъ мнѣ доказать это".

И поразительно!—восклицаетъ Шестовъ, людей по-

*) Срави. выше — посѣщеніе Прогресса и Гуманности у Куприна.

стоянно предостерегаютъ противъ скептицизма и пессимизма, ихъ непрерывно убѣждаютъ въ необходимости во что бы то ни стало сохранить вѣру въ идеалы, но ни предостереженія, ни убѣжденія не оказываютъ никакого дѣйствія: насъ всѣхъ влечетъ роковая сила впередъ, къ неизвѣстности. *Не въ правѣ ли мы видѣть въ стихійности этого влеченія залогъ будущаго успѣха и не должно ли въ силу того уже теперь искать въ пессимизмѣ и скептицизмѣ не враговъ, а неузнанныхъ друзей.*

Въ этихъ словахъ мы видимъ своего рода „оправданіе зла“, о которомъ столько кричатъ и кричали и котораго упорно не хотѣли признать добромъ. Здѣсь та же апологія трагическаго, то же возведеніе трагическаго въ міровой законъ, какъ у Вересаева, Тимковскаго, Андреева, Куприна и т. д. Культъ трагедіи окончательно закрѣпляетъ за собой репутацію положительнаго начала въ жизни, прогрессивнаго фактора. И Шестовъ, нашумѣвшій своей книгой, какъ чѣмъ-то, казалось, необычайнымъ, оригинальнымъ и новымъ, ужъ не такъ неожиданенъ въ молодой русской литературѣ, какъ это сначала казалось.

Шестовъ развиваетъ свою мысль. Существуетъ, говоритъ онъ, двѣ морали, то не мораль обыкновенныхъ и необыкновенныхъ людей, а *мораль обыденности* и *мораль трагедіи*: эту поправку необходимо внести въ терминологію Достоевскаго и Ницше.

Ницше же не только не страшится устранить изъ жизни все загадочное, таинственное, трудное, мучительное, но ищетъ всего этого. Въ законахъ природы, въ порядкѣ, въ наукѣ, въ позитивизмѣ и идеализмѣ— залогъ несчастья, въ ужасахъ жизни—залогъ будущаго. Вотъ основа философіи трагедіи. Къ этому приводятъ скептицизмъ и пессимизмъ, которыхъ когда-то такъ испугался Кантъ и отъ которыхъ до сихъ поръ люди, каждый на свой ладъ, открещиваются какъ отъ опаснѣйшихъ чудовищъ.

Кто привыкъ къ страданію, — говоритъ Ницше, кто ищетъ страданія -героическій человѣкъ — поетъ вмѣстѣ съ трагедіей хвалу существованію и ему одному подноситъ трагикъ этотъ напитокъ сладчайшей жестокости... Есть у васъ мужество, о, братья? — спрашиваетъ Заратустра. Есть ли у васъ смѣлость? Не мужество передъ свидѣтелями, а мужество пустынниковъ и орловъ, которыхъ даже и боги не видятъ? Кто глядитъ въ пропасть, но глазами орла, кто схватываетъ пропасть — когтями орла — у того есть мужество.

Но... сколько разъ Ницше былъ на волосокъ отъ гибели, какъ часто овладѣвало имъ отчаяніе отъ сознанія, что взятая имъ на себя задача — невыполнима, что трагедія въ концѣ-концовъ должна уступить обыденности.

Вѣдь въ государствѣ будущаго также нѣтъ мѣста для трагическихъ людей, какъ и въ государствахъ современныхъ, и такъ называемая буржуазная мораль тамъ будетъ лишь настолько измѣнена, насколько это нужно для „счастья большинства“.

„*Русскій народъ любитъ страданія*“ — это не былъ парадоксъ, какъ думали противники Достоевскаго, — это была истина“. Вы, высшіе люди! Думаете ли вы, что я пришелъ сюда, чтобы исправить то, что вы испортили? Или чтобы удобнѣе постелить страждущимъ? Или вамъ потерявшимъ путь, заблудившимся, указать легчайшую дорогу? Нѣтъ, нѣтъ, трижды нѣтъ! Все чаще и чаще лучшіе изъ васъ будутъ гибнуть, ибо вамъ будетъ все труднѣе и труднѣе“.

Философія трагедіи, говоритъ Шестовъ, далека отъ того, чтобы искать популярности, успѣха. Но уже то обстоятельство, что стали возможны учителя въ родѣ Достоевскаго и Ницше, проповѣдующіе любовь къ страданію, возвѣщающіе, что лучшіе изъ людей должны погибнуть, ибо имъ будетъ все хуже и хуже, показываетъ,

что розовыя надежды позитивистовъ, матеріалистовъ и идеалистовъ были только дѣтскими грезами. Трагедіи изъ жизни не изгонятъ никакія общественныя переустройства и, повидимому, настало время не отрицать страданіе, какъ нѣкую фиктивную дѣйствительность, отъ которой можно, какъ крестомъ отъ чорта, избавиться магическимъ словомъ „ея не должно быть“, а принять ихъ, признать и, быть можетъ, наконецъ понять. Наука наша до сихъ поръ умѣла только отворачиваться отъ всего страшнаго въ жизни, будто оно совсѣмъ не существовало, и противоставлять ему идеалы, какъ будто бы идеалы и есть настоящая реальность.

Для интеллигенціи наступило трудное время. Прежде она плакала надъ страждущимъ народомъ, взывала къ справедливости, требовала иныхъ порядковъ и кстати, не имѣя на это никакихъ правъ, обѣщала иные порядки!.. Теперь жизнь явилась къ намъ съ другими требованіями... Наши расчеты не оправдались. Не у поселянъ будетъ къ воскресному обѣду курица, а у насъ отнимутся всѣ, и матеріальныя и духовныя, блага, которыми насъ дарила наука. И лишь тогда, когда не останется ни дѣйствительныхъ, ни воображаемыхъ надеждъ найти спасеніе подъ гостепріимнымъ кровомъ позитивистическаго или идеалистическаго ученія, люди покинутъ свои вѣчныя мечты и выйдутъ изъ той полутьмы ограниченныхъ горизонтовъ, которые до сихъ поръ назывались громкимъ именемъ истины, хотя ознаменовали собой лишь безотчетный страхъ консервативной человѣческой натуры передъ той таинственной неизвѣстностью, которая называется трагедіей.

Такъ или иначе, заключаетъ Л. Шестовъ — философія трагедіи находится въ принципіальной враждѣ съ философіей обыденности. Тамъ, гдѣ обыденность произноситъ слово „конецъ“ и отворачивается, тамъ Ницше и Достоевскій видятъ начало и ищутъ.

Таково въ извлеченіи содержаніе книги Шестова. Черезъ годъ, въ 1904 году, онъ выпустилъ „Апофеозъ безпочвенности", но лучшей осталась „Философія трагедіи".

Что сказать о ней? Въ ней было послѣднее слово молодой философіи, какъ въ „Василіи Опвейскомъ" послѣднее слово молодой литературы. Пожалуй немного декадентское...

Дальше—слѣдуя терминологіи Шестова, пришла обыденщина. Опасенія Ницше, что трагедія въ концѣ-концовъ уступитъ обыденности, не оправдавшееся на немъ, оправдалось на дальнѣйшемъ теченіи русской литературы.

И „Проблемы идеализма", направленныя противъ матеріализма, смѣнили страждущій анархическій индивидуализмъ Достоевскаго, Ницше, Ибсена, Куприна пошловатымъ лже-ницшеанскимъ индивидуализмомъ. Онѣ же дали новую волну декадентства и родили „мистическій" анархизмъ.

Шестовъ смѣнился Булгаковымъ, Франкомъ, Бердяевымъ и, наконецъ, Чулковымъ. Страждущій, мятущійся анархистскій индивидуализмъ незамѣтно и ловко былъ подмѣненъ жизнерадостнымъ, довольнымъ и сытымъ, успокоившимся индивидуализмомъ и мистическимъ анархизмомъ, примѣнительно къ „жизни, какъ она есть"—„примѣнительно къ подлости".

И съ этой подмѣной началась реакція. Ушла трагедія, освящавшая анархо-индивидуализмъ, и наступила обыденщина сытая, довольная, уравновѣшенная, подленькая и блудливая.

Реакція въ литературѣ и жизни.

ГЛАВА VI.

Реакція въ литературѣ и жизни.

(1905—1908 г.)

Отъ трагедіи къ обыденщинѣ. — Отказъ отъ наслѣдства. — Проблема пола. — „Загадка тяготѣ". — Апологія праздника жизни. — Культъ тѣла. — Эстетизмъ. — Литература „третьяго сословія". — Андр. Бѣлый. — Бальмонтъ. — Мережковскій. — Брюсовъ. — М. Кузьминъ. — Ѳ. Сологубъ. — Зиновьева-Аннибалъ. — З. Гиппіусъ. — Ремизовъ. — Сергѣевъ-Ценскій. — Ан. Каменскій. — Л. Андреевъ. — А. Блокъ. — С. Ауслендеръ. — Арцыбашевъ.

Странно. Реакція въ литературѣ началась и почти совпала съ моментомъ наивысшаго подъема общественной жизни, наивысшаго возбужденія дѣятельной энергіи съ годомъ революціи въ общественной, политической жизни. Какъ разъ съ осенью 1905 года.

Литература въ лучшемъ смыслѣ слова, литература Достоевскаго, Гаршина, Чехова, Андреева, Куприна, Вересаева, Тимковскаго и многихъ другихъ, — литература, о которой мы до сихъ поръ говорили, какъ-то сразу, внезапно умолкла.

Періодъ молчанія продолжался съ небольшими перерывами, вплоть до окончанія острой революціонной борьбы.

Несмотря на разстройство, которое внесла въ литературную жизнь революція 1905 года, несмотря на общій разбродъ творческой мысли, вполнѣ естественно вызванный историческими событіями въ жизни страны — разбродъ, еще до сихъ поръ не урегулировавшійся, не перебродившій и не отстоявшійся — возможно все-таки

выяснить литературные пути, направленія, настроенія, вызванныя чрезвычайными событіями русской общественной жизни, и уже достаточно себя выявившія и опредѣлившія.

Уже въ дни революціи подняло голову декадентство, въ короткій срокъ эволюціонировавшее отъ „радости жизни“ къ извращенности порнографіи самаго низшаго разряда, ставшей болѣе или менѣе возможной съ наступленіемъ нѣкоторыхъ свободъ. Приспѣшая вскорѣ на смѣну революціи, реакція выпустила новую волну декадентской порнографіи. Воскресли на литературной аренѣ сотрудники „Сѣвернаго Вѣстника“: Сологубы, Гиппіусъ, появились Кузьмины, Каменскіе, Аннибалъ, Цецкіе, эволюціонировали къ порнографіи Арцыбашевы. Народились критики-декаденты, какъ Пильскій, Чуковскій, Арскій и пр., усиленно затрубившіе обо всемъ этомъ какъ о возрожденіи литературы и провозгласившіе всю эту компанію „молодой литературой“, якобы родившейся на „перевалѣ двухъ эпохъ“, и занялись усиленно „культомъ тѣла“, „эстетизмомъ“, „проблемой пола“ и навязали всей русской литературѣ „загадку похоти“ какъ отправной пунктъ всего міросозерцанія.

Все это было бы смѣшно, когда бы не было такъ грустно. Волна порнографіи почти умышленно была выпущена русскимъ правительствомъ, чтобы дать выходъ хоть въ ней истомившемуся по свободѣ творчеству россійскаго гражданина. Пріемъ—старый и извѣстный еще Людовику. Только слѣпорожденные могли броситься такъ на порнографію, какъ бросился на нее средній обыватель, дававшій сбыть всей этой макулатурѣ.

Къ началу 1908 года, по выраженію И. Шебуева, „полъ умеръ“. Порнографія немного перебродила и вылилась въ формулу въ вѣреніямъ тѣхъ же критиковъ—символистической и идеалистической литературы, якобы въ противовѣсъ „знаньевскому“ реализму. Пильскіе,

Е. Аничковы и даже А. Горнфельдъ заговорили о „красотѣ" какъ единственномъ критеріи литературныхъ произведеній, сужденія о которой якобы всегда избѣгалъ И. К. Михайловскій, о „новой русской красотѣ". (*И. Ясинскій.* О красотѣ и пустотѣ. „Свобода и Мысль" 20 авг.; *Е. Аничковъ.* О гротѣ Венеры и о русской эстетикѣ. „Нашъ День" 17 дек.; *А. Горнфельдъ.* Учитъ ли красота? id).

Порнографія почувствовала, что она зарвалась и вмѣсто „загадки похоти", урнизма, сафизма и проч. извращенностей, вплоть до сожительства отцовъ съ дочерьми (Ф. Сологубъ) провозгласила — „эстетизмъ".

Все это было, конечно, старо какъ міръ и говорило лишь о второй молодости декадентства и было чуждо русской литературѣ, всегда предпочитавшей прекрасному празднику и „аѳинскимъ ночамъ" скорбный путь — Via dolorosa.

Эта литература все же среди этихъ метаній продолжала свое дѣло, но и въ ней намѣтились новыя группировки: одни, какъ Андреевъ, временно выбыли изъ ея строя и, порвавъ съ наслѣдствомъ, топили свое дарованіе въ волнахъ декадентства, другіе окрѣпли и выросли, какъ Купринъ, третьи народились, какъ Муйжель и Корчемный. Эта литература не была связана съ реакціей ни механически, ни органически и, широко используя наслѣдство дореволюціоннаго періода, настойчиво продолжала дѣло своихъ предшественниковъ. Ниже мы на ней подробно остановимся, а здѣсь разсмотримъ порожденіе общественной и литературной реакціи — декадентство съ его беллетристами, поэтами и критиками.

Трудно сказать, что было первымъ произведеніемъ этой литературы, съ кого и съ чего она, собственно, началась. Ему нѣтъ имени, какъ нѣтъ именъ у всей плеяды „молодыхъ" декадентовъ, воспрянувшей въ эти мрачные, черные дни. У нихъ нѣтъ крупныхъ соб-

тральныхъ произведеній, о которыхъ можно было бы говорить, какъ о чемъ-то кристаллизирующемъ и концентрирующемъ, какъ мы говорили о произведеніяхъ только что умолкнувшей на время литературы. Они „безлики".

Но будемъ безпристрастны и предоставимъ нѣсколько словъ тѣмъ, кто держится иного мнѣнія и видитъ то, чего не видимъ мы.

„Отдѣлъ такъ называемой „изящной словесности", пишетъ Арскій, въ большинствѣ нашихъ толстыхъ ежемѣсячниковъ съ 1906 года замѣтно реформируется, вѣрнѣе,— освѣжается. На обложкахъ, гдѣ печатается „содержаніе" номера, мелькаютъ имена писателей, бывшихъ еще такъ недавно за непроходимой стѣной, въ чуждомъ и даже враждебномъ лагерѣ. Беллетристы и поэты изъ „Вопросовъ Жизни", „Вѣсовъ", „Новаго пути", органовъ самодовлѣющаго и неслужебнаго искусства, находятъ пріютъ въ „Мірѣ Божьемъ", „Образованіи" и „Русской Мысли". Имена Бориса Зайцева, Марка Криницкаго, Бальмонта, Брюсова, Ѳ. Сологуба и Блока становятся все болѣе и болѣе привычными для читателя толстыхъ ежемѣсячниковъ. Съ одной стороны возникла мысль, что политическій подъемъ, неизмѣнно связанный съ подъемомъ обще-жизненнымъ, принесъ свой лозунгъ — Свобода — и художественной литературѣ, которая послѣ того, что было достигнуто (?), освобождалась отъ узко-служебной роли, ограниченной задачами мѣста и времени, и могла позволить себѣ роскошь (!) быть чисто-художественной и свободно-художественной. Съ другой стороны, наша толстая журналистика, въ лицѣ трехъ ея видныхъ органовъ, какъ бы оказывала довѣріе представителямъ модернизма въ литературѣ, признавая за ними значеніе не только новшества (?!) и оригинальничанья, но также и художественное.

Правда, въ 1906 году замѣтны только начатки этого явленія, которое болѣе широко обнаружилось лишь потомъ. Но и эти начатки кое-чѣмъ освѣжили и разнообразили журнальную беллетристику, далеко не богатую и представляемую однимъ и тѣмъ же рядомъ именъ".

Вы думаете это пишетъ критикъ изъ „Голоса Москвы", побившаго рекордъ въ незнакомствѣ съ литературой минувшаго десятилѣтняго періода? Или, быть можетъ, критикъ „Вѣсовъ", „Золотого Руна"? Какой-нибудь Антонъ Крайній?

Гораздо проще. Это пишетъ въ марксистскомъ библіографическомъ еженедѣльникѣ И. Я. Абрамовичъ (Арскій).

И онъ правъ. Отчасти. Вотъ что говоритъ другой критикъ: „Революція, интегрировавъ общественныя силы, дифференцировала искусство. Она сжала, какъ въ кулакъ, разнородныя теченія и растопырила пальцы литературъ. Скопила, какъ скупой копильщикъ, протестантскую мощь и, какъ мотъ и расточитель, тратила и тратитъ силу искапія. У одной большой рѣки появилась тысяча притоковъ. Изъ немногихъ именъ стало много. Вмѣсто трехъ журналовъ сталъ (есть и будетъ) десятокъ... Обособляется и индивидуализируется творящая личность. Разрученлась вся литература, прихотливыми излучинами пошла поэтическая мысль, расплескался стаканъ".

Это говоритъ критикъ-декадентъ П. Пильскій, раньше сотрудникъ марксистскаго „Міра Божьяго".

Третій критикъ Корнѣй Чуковскій, вышедшій изъ „Вѣсовъ" и выдвинувшійся своими газетными фельетонами въ „Нивѣ" и „Рѣчи", немного насмѣшливо характеризуетъ эту эволюцію русской литературы и дифференціацію искусства:

„Сначала просто: Брюсовъ напѣвничалъ. Бѣлый озорничалъ. Гиппіусъ манерничала, и никто рѣшительно не смотрѣлъ на себя въ серьезъ.

А потомъ вдругъ—это такъ неожиданно!—озорники и нахвальники стали литературой.

— Это я, русскій писатель? настоящій? творю русскую литературу? Странно! сказалъ каждый изъ нихъ, когда въ нѣкое осеннее утро вдругъ оказалось, что у русскаго народа нѣтъ иной литературы, кромѣ ихней—озорнической и нахвальнической". („Чудо" — „Свобод. Мысли" 20 авг. 1907 г.).

Быть можетъ кому-нибудь покажется страннымъ, что мы цитируемъ декадентовъ, но что же дѣлать, если кромѣ нихъ никто не замѣчаетъ такъ называемаго „освѣженія" и „реформированія" литературы? Что же дѣлать, если, наоборотъ, даже о лучшихъ писателяхъ дореволюціоннаго періода, о вождяхъ приходится зачастую думать, что они поправѣли, отдались во власть реакціи, отказались отъ наслѣдства?

Что дѣлать, если одно время это было дѣйствительно почти фактъ, что „у русскаго народа нѣтъ иной литературы, кромѣ ихней—озорнической и нахвальнической".

Въ самомъ дѣлѣ, на что было опереться въ своемъ возраженіи? Кого мы могли назвать „наслѣдниками" и продолжателями „того великаго и чуднаго, что зовется русской литературой"—литературой писателя-страстотерпца, литературой Достоевскаго, Гаршина, Чехова?

Гдѣ были тѣ, въ чьихъ рукахъ оставалась Ріадниша нить трагическаго творчества русской литературы съ ея зарокомъ, тревожнымъ звукомъ набата будить сонливую совѣсть и мысль? Въ рукахъ Кузьмина? Ценскаго? Бѣлаго? Блока? Брюсова? Гиппіусъ? Ремизова? Потемкина? Иванова? Городецкаго? Година? Аннибалъ? Крачковскаго? Ауслендера? И tutti quanti?

Или быть можетъ Арцыбашева? Каменскаго? Зайцева?

Приходилось сознаться, что нѣтъ. Одни—„знакомыя все лица". Другіе—бездарны. Иныхъ уже нѣтъ, а тѣ далече...

Иныя пѣсни, иные призывы наполнили литературу. „Загадка похоти — вотъ что тревожитъ духъ“ современной литературы, если вѣрить г. Пильскому. И нельзя не вѣрить. Онъ правъ. Но литература ли это? Та ли это строгая, несговорчивая женщина съ трагическими чертами лица, съ которой мы такъ знакомы? Или просто глупая и похотливая кумушка?

Подойдемъ къ ней поближе.

Чьи имена, чьи книги считаются у нихъ евангелическими?

Не такъ давно Андрей Бѣлый въ статьѣ о Брюсовѣ сознался, что первая фаланга русскихъ символистовъ (Бальмонтъ, Мережковскій, Брюсовъ) состояла изъ „образованнѣйшихъ“ людей своего времени. А среди новѣйшихъ представителей сверхсимволизма неудивительно встрѣтить совершеннѣйшихъ невѣждъ“.

А между тѣмъ этими „невѣждами“ полна литература.

„Куда намъ дѣваться отъ модернизма? Всѣ стали декадентами! восклицаетъ А. Бѣлый... Это ли не эстетическій нигилизмъ? Что намъ дѣлать, когда вдохновляемые новымъ искусствомъ модернистическіе хулиганы готовы растерзать не только Пушкина, Гёте, Шекспира и Данте, но и насъ, если мы поднимемъ голосъ въ защиту этихъ *реакціонеровъ* искусства“.

Итакъ, за „первой фалангой образованнѣйшихъ“ Бальмонта, Мережковскаго, Брюсова, о которыхъ мы уже достаточно говорили, ибо они наши старые знакомцы и уже „старики“, пришли жрецы новаго искусства, которые готовы растерзать, пришли невѣжды, литературные хулиганы, нѣчто въ родѣ грядущаго хама, о которомъ писалъ Мережковскій.

Въ литературѣ былъ дворянинъ, былъ разночинецъ, былъ буржуа — теперь пришелъ хамъ.

„Совершеннѣйшій невѣжда“, говоритъ А. Бѣлый, начинаетъ нагадить: часто онъ поднимаетъ свой гар-

варскій томагавкъ надъ культурными цѣнностями... Неужели не видятъ въ этомъ слишкомъ поспѣшномъ преодолѣніи новыхъ цѣнностей, въ этомъ выпускѣ векселей на громадную сумму стремительнаго бѣгства въ даль и въ глубь... первобытнаго варварства?

„Я положительно предсказываю, что такъ-называемый символизмъ, разсасываемый широкой массой,—пройдетъ немного дней,—утонетъ въ „знаньевской“ литературѣ: тогда лопнутъ всѣ эти дутые болотные пузыри „сверхсимволическаго“ модернизма, провалится народный символизмъ, мнѣотворчество и пр. пр.! мы, воображающіе, что летимъ на всѣхъ парахъ къ золотымъ горизонтамъ будущаго, сонно зѣвнемъ, спокойно завалясь надъ стоящимъ болотомъ грядущей литературы русской“. („Утро Россіи“ 19 дек. „Поэтъ мрамора и бронзы“).

Золотыя слова! Какъ видите и декаденты пищутъ о литературѣ русской. Но выпося, что называется, соръ изъ избы, отчего А. Бѣлый говоритъ въ пространство? Неужели и онъ не знаетъ ихъ именъ? Приходится догадываться, что гнѣвъ его обрушивается на всѣхъ „молодыхъ“, въ которыхъ П. Пильскій видѣлъ „грядущее того великаго и чудеснаго, что называется русской литературой“. И онъ не знаетъ ни ихъ книгъ, ни ихъ именъ индивидуальныхъ, а не коллективныхъ. „Они“, безликіе „они“—вотъ все ихъ имя.

Не послѣдуемъ, однако, примѣру Бѣлаго и не будемъ кричать въ пространство, ибо мы не связаны ни съ кѣмъ изъ нихъ никакими узами родства духовнаго или кровнаго.

Не скроемъ, что центральными именами, насколько, конечно, возможно, именами, вокругъ которыхъ группируется „хулиганская“ и „хамская“ литература, является М. Кузьминъ, Ѳ. Сологубъ, Каменскій, С. Ценскій, Аннибалъ, Гиппіусъ, еще пожалуй Ремезовъ—вотъ и все.

За исключеніемъ Ремезова всѣ они — порнографы, апологеты извращенныхъ и противоестественныхъ страстей, отъ мужеложства и лесбоса до некроманіи. И Пильскій былъ правъ, когда говорилъ, что кардинальнымъ вопросомъ момента является „проблема пола", и „загадка похоти тревожитъ духъ" современныхъ „литераторовъ". Это о нихъ онъ говорилъ.

За исключеніемъ Каменскаго всѣ они вышли изъ гнѣзда „Скорпіоновъ", „Грифовъ", „Орѣ" и т. п. Всѣ они — дѣти декаданса, вылупившіяся изъ „Сѣверныхъ Вѣстниковъ", „Новыхъ Путей", „Вѣсовъ", „Золотыхъ Руно" и проч. Всѣ они дѣти выдвинутаго революціей третьяго сословія буржуазіи и торжествующаго мѣщанства.

Посмотримъ, какія литературныя величины они изъ себя представляютъ. Почему они избрали объектомъ своего творчества „Загадку похоти", и какъ они ее разрабатываютъ.

„Проблема пола" имѣетъ свои литературные корни въ недалекомъ прошломъ, отчасти въ произведеніяхъ Вербицкой, раньше Маркевича, Ясинскаго, главнымъ образомъ Арцыбашева, еще въ 1904 г. написавшаго разсказъ „Жена" со всѣми зародышами позднѣйшаго „Санина". Сыграло, конечно, быть можетъ и неожиданную роль Л. Андреевъ своими „Бездной", „Въ туманѣ" и пр. Но общимъ родоначальникомъ является Іеронимъ Ясинскій (Максимъ Бѣлинскій) — не даромъ его портретомъ украшенъ „Литературный Календарь-Альманахъ" молодыхъ декадентовъ.

„Еще въ началѣ 80-хъ годовъ, писалъ когда-то Новополинъ *), Михайловскій отмѣтилъ зарожденіе въ русской литературѣ порнографическаго элемента. Какъ

*) „Въ сумеркахъ литературы и жизни".

ни искренно было негодованіе критика, но явленіе это было только въ своемъ зародышѣ и носило эпизодическій характеръ, да и то въ произведеніяхъ, соприкасавшихся съ лубочной литературой. Однако правъ былъ публицистъ, замѣтившій, что дѣло не въ личности писателей, выѣхавшихъ на порнографіи, а въ той общественной атмосферѣ, которая ихъ породила. А что въ общественной жизни было нѣчто, вызвавшее на свѣтъ Божій порнографію, видно изъ того, что въ серединѣ 80-хъ годовъ она широкимъ и мутнымъ потокомъ ворвалась въ теченіе русской литературы, до сихъ поръ аскетически-цѣломудренно чистой даже въ произведеніяхъ наименѣе видныхъ своихъ представителей, и выдвинула даровитаго представителя въ лицѣ Іеронима Ясинскаго.

Со второй половины 80-хъ годовъ волна порнографіи все больше и больше захлестываетъ произведенія Ясинскаго и становится наконецъ преобладающимъ элементомъ. Адюльтеръ въ различныхъ видахъ—вотъ постоянная тема многочисленныхъ романовъ и повестей Ясинскаго. Хожденіе вокругъ обнаженнаго торса (по выраженію Щедрина) сдѣлалось его спеціальностью. Эта вакханалія порнографіи на сценѣ русской литературы чрезвычайно любопытное явленіе.

Порнографія родилась у насъ, конечно, не вмѣстѣ съ Ясинскимъ. Но еще въ памяти у многихъ современниковъ то время, когда она находила пріютъ только на задворкахъ нашей литературы. Она заслонялась тѣми идеями, которыя тучами поднялись въ воздухѣ, и тѣми запросами жизни, которые призывали къ работѣ интеллигенцію страны. Но когда эти идеи были изъяты изъ обращенія въ жизни, въ обществѣ понизился спросъ на идейную литературу, разрабатывающую задачи широкой дѣйствительности, и выработался читатель, падкій на легкое и пикантное чтеніе. Навстрѣчу этой потребности и вышелъ Ясинскій со своей

наглой порнографіей и чисто французской откровенностью, совершенно чуждой нашей литературѣ".

Казалось бы, истина о связи расцвѣта порнографіи съ реакціей—безусловна и внѣ сомнѣній. Но попробуйте сказать это „молодымъ" декадентамъ и порнографамъ. Попробуйте разъяснить имъ, что они—порожденіе реакціи и только реакціи, ею взлелѣяны и вскормлены, и только въ дни реакціи и выползаютъ на свѣтъ, что они въ сущности своей реакціонны. Напрасный трудъ! Они ставятъ свое существованіе въ связь не болѣе не менѣе, какъ съ революціей.

„Революція создала, говоритъ теоретикъ „молодого" декадентства П. Пильскій,—огромную и длинную похоронную процессію не только въ жизни, но и въ искусствѣ, въ литературѣ и въ критикѣ. Какъ прекрасная гроза, она смела прошлое, какъ великая буря, она очистила воздухъ. Освободились мѣста, заговорили тѣ, которыхъ реакція (!) держала *на задворкахъ*, получили права прежде-безправные и рухнули журнальныя бастиліи и критическіе участки, гдѣ сидѣли строгіе участковые пристава, сидѣли и покрикивали, лишали свободы и награждали не за чудную мысль, а всего только за хорошее поведеніе...

Она соціализировала жизнь, но анархизировала искусство и индивидуализировала авторовъ. Большинство ихъ стало независимыми какъ цари, имморальными какъ боги и упрямыми какъ геро. Революціонизмъ ихъ не всегда боевой, но онъ у всѣхъ растетъ протестомъ. Революція духа создала литературныхъ мятежниковъ,—поэтическихъ бунтарей. Ихъ можно осуждать. Но объ нихъ необходимо думать и съ ними нельзя не считаться, ибо грядущая судьба того великаго и чуднаго, что зовется литературой, въ нихъ, отъ нихъ и черезъ нихъ". („Поютъ ручьи").

Эта небольшая цитата вызываетъ одну ассоціацію. Герой романа К. Тетмайера „Омутъ", выразился од-

нажды о своей женѣ, что она стала столбомъ, къ которому каждый несъ считаетъ долгомъ подойти. Бѣдная русская революція уподоблена въ творчествѣ Пильскихъ этой женѣ. Но ужъ, конечно, не по своей винѣ, а благодаря нарожденію лицъ, „независимыхъ какъ цари и имморальныхъ какъ боги".

Мораль, дѣйствительно, тутъ и не ночевала. Въ самомъ дѣлѣ. Какихъ только словъ здѣсь нѣтъ: анархизировала, соціализировала, бунтари, мятежники. А на дѣлѣ „между женщиной и молодымъ мужчиной разница совсѣмъ не такъ ужъ велика", какъ поетъ уранистъ М. Кузьминъ, которому Пильскій посвящаетъ восторженный фельетонъ „О красотѣ и пустотѣ".

При чемъ же здѣсь революція?

Съ 80-хъ годовъ до настоящаго времени прошло 27 лѣтъ. 27 лѣтъ раздѣляютъ Іеронима Ясинскаго отъ Петра Пильскаго, и надо было воцариться небывалой реакціи, чтобы воскресить порнографію въ небывалой сицѣ формѣ. Только этой реакціи недоставало, чтобы Корнѣй Чуковскій имѣлъ смѣлость и развязность провозгласить, что русскій читатель отъ того не принимаетъ М. Кузьмина, что онъ некультуренъ, а Кузьминъ —это „нѣнки" культуры.

„Боже мой! восклицаетъ Чуковскій: чтобы получить Поль-де-Кока Европа училась тысячу лѣтъ. Вся. Всѣми своими картинами, соборами, парламентами, статуями, хартіями, гильотинами, цехами, минезингерами училась, зубрила, готовилась какъ къ экзамену и, когда, наконецъ, настаетъ его день, день Поль-де-Кока, онъ приноситъ нужный, понятый, свой!

А мы прямо отъ таракановъ, грамотные со вчера, въ сапожищахъ, прыгаемъ въ Кузьмина, и пусть Кузьминъ даетъ намъ тончайшій стиль, изощреннѣйшій юморъ, острую діалектику (??!!)— наша ли вина, что мы замѣтимъ въ немъ только его общность со сперминомъ и кремомъ „Ренесансъ"? И дальше:

„Вѣдь положеніе единственное въ своемъ родѣ: писатель не исписался, а читатель уже исчитался. Повези некультурнаго человѣка въ Лувръ, заставь его смотрѣть и вникать, онъ устанетъ тотчасъ же, и самыя глубокія, самыя великія, самыя вдохновенныя творенія его утомятъ, и онъ съ тоской подумаетъ:

Ракетку бы, Фейерверкъ бы.

Некультурный человѣкъ послѣ двухъ трехъ разъ уже всмотрѣлся.

Такъ и съ читателемъ нашимъ. Онъ усталъ отъ культуры, потому что этой культуры было вокругъ него больше, чѣмъ въ немъ". („Въ Банѣ" „Свобод. Мысли").

Итакъ, возрожденіе декадентства и порнографіи, по „просвѣщенному мнѣнію критиковъ-декадентовъ",— порожденіе не реакціи, а революціи, не дикарства и атавизма, а культуры, не мѣщанства, а анархизма.

Мы уже видѣли, каково ихъ отношеніе къ революціи, къ которой они подходятъ съ завѣдомо-злостнымъ намѣреніемъ очернить своимъ прикосновеніемъ; посмотримъ,— каково ихъ отношеніе къ культурнымъ цѣнностямъ, которыми мы дѣйствительно небогаты, вопреки просвѣщенному мнѣнію Корнѣя Чуковскаго, и которыя для насъ тѣмъ дороже.

Рѣчь идетъ о критикѣ за послѣднія двадцать лѣтъ.

„Наша критика, говоритъ П. Пильскій, за послѣднія 20 лѣтъ слишкомъ облѣнилась, засолидничалась, возгордилась, привыкла къ ранжированію и раздачѣ занумерованныхъ патентовъ. И вдругъ пришлось изучать, читать, думать, колебаться, слѣдить и знать". („Поютъ ручьи").

Послѣднія 20 лѣтъ. Это съ 1887 г. Съ 1887 г. наша критика не изучала, не читала, не думала, не колебалась, не слѣдила и не знала. Михайловскій, Скабичевскій, Волжскій, Андреевичъ, Боцяновскій, А. Б. — не изучали, не читали, не думали, не колебались, не слѣдили и не знали.

Что это— клевета или невѣжество?

Мы могли бы привести цѣлый рядъ подобныхъ грубыхъ и безграмотныхъ геростратовскихъ цитатъ, характеризующихъ культурный уровень апологетовъ декадентства. Но они не стоятъ этого. Да и одна эта достаточно ясно говоритъ о нашествіи въ литературу „вандала", „грядущаго хама", однимъ махомъ уничтожающаго работу цѣлыхъ поколѣній въ лицѣ ихъ лучшихъ представителей, о нашествіи въ литературу, по выраженію А. Бѣлаго, „хулигана", готоваго „растерзать" Пушкина, Гёте, Шекспира и Данте", во имя „модернистскаго новаго искусства.

„Совершеннѣйшій невѣжда, — какъ говоритъ Бѣлый,—начинаетъ наглѣть: онъ поднимаетъ свой варварскій томагавкъ надъ культурными цѣнностями".

Разумѣется, все это только подтверждаетъ наши слова о связи порнографіи и возрожденія декадентства съ реакціей. Мыснова переживаемъ 80-е годы; что же удивительнаго, если съ ними вернулись и декадентство, и порнографія и, быть можетъ, вернется и марксизмъ.

Тогда началось съ Іеронима Ясинскаго, теперь съ Кузьмина, Каменскаго и Арцыбашева. Мы должны принимать ихъ какъ фактъ. Передъ этимъ писала Вербицкая, теперь пишетъ Зиновьева-Аннибалъ. Что изъ того, что ея „Тридцать три урода" въ тридцать три раза бездарнѣе „Сафо" Щепкиной-Куперникъ, написанной чуть не десять лѣтъ назадъ. „Сафо" не замѣтили, „Тридцать три урода" прогремѣли.

Тогда выходилъ „Сѣверный Вѣстникъ", теперь „Вѣсы" съ „Крыльями" Кузьмина и „Міръ Тайнъ", подписчики котораго получаютъ „богатѣйшую литературу по вопросу тайнъ любви во всѣ вѣка и у всѣхъ народовъ. Всѣ тайные культы любви передъ ними воочію, такъ какъ будутъ иллюстрироваться извѣстными художниками". Теперь.—„Тайны жизни", съ маркизомъ

де-Садъ во главѣ, съ гермафродитизмомъ и онанизмомъ у женщинъ. Теперь „Адонисъ и Венера", посвященный „легкой пикантной литературѣ" съ заманчивыми темами: „Дневникъ дамскихъ панталонъ", „Садизмъ", извращеніе полового чувства, чудовищныя страсти (скотоложство, любовь къ мертвецамъ)— пересказанные когда-то Щедринымъ.

И рядомъ съ этимъ П. Пильскій, восклицающій: „Было бы странно, если бы искусство не коснулось этихъ пропастей, ибо тайны манятъ" („О красотѣ и и пустотѣ"). Или: „Загадка похоти — вотъ что тревожитъ духъ". (id).

И рядомъ съ этимъ Кузьмины съ „Крыльями" и „Картоннымъ домикомъ", воспѣвающіе педерастію. И тутъ же Чуковскій, восклицающій, что только некультурностью объясняется наше непониманіе Кузьмина, и опять Пильскій, увѣряющій печатно, что онъ любитъ и уважаетъ талантъ Кузьмина.

Рядомъ съ этимъ Каменскіе съ „Ледой" и „Четырьмя" изнасилованными или насилующими женщинами. Ценскіе съ „Женскими трупиками", воспѣвающіе некроманію. Сологубы съ пѣсней о сожительствѣ отцовъ съ дочерьми въ пьескѣ „Любви" („Перевалъ" 1907 г.) и садизмомъ („Назьи Чары") (III-й Альманахъ „Шиповника") и опять Пильскіе, увѣряющіе, что это „дѣло очень простое: потерявъ жену, отецъ очень просто влюбляется въ свою собственную дочь", и что „прекрасный Сологубъ", напечатавшій въ „Перевалѣ" двухъактную пьесу „Любви"—„одинъ изъ самыхъ сильныхъ, самыхъ прозорливыхъ и самыхъ глубокихъ авторовъ современности". („О красотѣ и пустотѣ").

„Какое дѣло, что у Кузьмина въ „Картонномъ домикѣ" Демьяновъ любитъ не Марью и Екатерину, а Ивана или Кузьму?" (id).

Рядомъ съ этимъ Зиновьева-Аннибалъ, воспѣвающая, наоборотъ, лесбійскую любовь и т. д. и т. д. и т. д.

Когда-то, восемь лѣтъ назадъ, В. Розановъ писалъ о нарожденіи въ поэзіи „человѣка-звѣря“.

„Эросъ не одѣтъ здѣсь болѣе поэзіей, не затуманенъ, не скрытъ: весь смыслъ, вся красота, всѣ безконечныя муки и радости, изъ которыхъ исходитъ актъ любви и которыя позднѣе, съ инымъ характеромъ поэзіи и другими заботами, изъ него слѣдуютъ — все это здѣсь отброшено: отброшено самое лицо любимаго существа: на него, какъ на лицо оперируемаго, набрасывается въ этой новой „поэзіи“ покрывало, чтобы своимъ выраженіемъ страданія, ужаса, мольбы оно не мѣшало чему-то „существенному“, что должно быть совершено тутъ, около него, но безъ какого-либо къ нему вниманія. Женщина нетолько безъ образа,но и всегда безъ имени (современная литература пошла еще дальше: „какое дѣло, что Демьяновъ любитъ не Марью или Екатерину, а Ивана или Кузьму?“) фигурируетъ обычно въ этой „поэзіи“, гдѣ голова въ объектѣ изображаемомъ играетъ почти столь же ничтожную роль, какъ и у субъекта изображающаго... Уголъ зрѣнія на человѣка и, кажется, на всѣ человѣческія отношенія, то-есть, на самую жизнь, идетъ не отъ лица, проникнуть не смысломъ, но поднимается откуда-то снизу, отъ ногъ, и проникнуть ощущеніями и желаніями, ничего общаго со смысломъ не имѣющими„

„Умеръ человѣкъ и остались только панталоны“. („Религія и культура“).

Давно это было сказано и, казалось, не придется когда-либо говорить что-либо подобное. Казалось, что „оно“ уже погребено и не воскреснетъ вновь. Но напрасно. Какъ заготовленные въ прокъ ожили снова уродцы и снова закружились въ дикомъ вихрѣ и свистопляскѣ.

„Вездѣ кругомъ эти могильные выходцы, неисчислимые, какъ песокъ морской (Иссенъ „Привидѣнія“). Ихъ племя плодится и заполняетъ литературу. И эти

„привидѣнія", эти „выходцы изъ тьмы временъ" зовутъ себя кичливо „молодой" литературой, „молодые талантливые критики", какъ зоветъ себя Петръ Пильскій — пишутъ о нихъ, „молодыхъ". Афишируютъ другъ друга въ „календаряхъ писателей" и заполняютъ своими именами столбцы газетъ и журналовъ..."

А взгляните, какъ лучезарно они настроены!

„Революція, — пишетъ Пильскій, — выдала разрѣшительныя грамоты на все, ибо ея высшая единая цѣль — освобожденіе человѣка, ея пѣснь — гимнъ свободно дѣйствующему, свободно мечтающему, свободно любящему и свободно славящему жизнь человѣку. И больше всего эта свобода нужна въ искусствѣ и, быть можетъ, только ради него, ибо послѣднее усиліе культуры и ея послѣдняя цѣль въ созданіи красивой и полной, [illegible]шей и горящей цвѣтами жизни" („О красотѣ и пустотѣ").

Кромѣ нихъ „въ Россіи нѣтъ литературы и нѣтъ литературной атмосферы" („Судьба писателей").

И вообще „нашимъ смиреніемъ и сплетней о вѣчныхъ нашихъ слезахъ мы разрушили и убили волшебную сказку литературнаго преданія, сорвали вѣнецъ съ вдохновеннаго чела, вмѣсто праздника устроили длинные литературные будни" („Безъ героизма").

Воистину „шуменъ праздникъ, не счесть приглашенныхъ гостей"... Ихъ не шокируетъ такой диссонансъ съ окружающей русской жизнью!

Мы какъ-то привыкли, сжились и освоились съ тѣмъ, что надъ русской землей, усѣянной тысячами, десятками тысячъ труповъ, летаютъ тучи воронья, но мы не можемъ привыкнуть, не можемъ видѣть и слышать, какъ на свѣжихъ, еще не облѣзлыхъ отъ мяса костяхъ безпечно поютъ соловьи...

Въ черные дни мрачной реакціи, въ дни шабаша тьмы и разврата, когда все честное угрюмо и сосредоточенно молчитъ — стыдливо молчитъ, какъ въ домѣ

гдѣ покойникъ—въ эти дни только они рѣшились нарушить торжественное молчаніе визгомъ и сатанинской пляской козлоногихъ надъ кладбищемъ русской жизни - - они, „молодые“...

Русская жизнь, русская литература и критика пройдутъ мимо нихъ, какъ прошли въ первое ихъ пришествіе подъ знаменемъ „Радости жизни“. Они молчатъ о нихъ. Терпятъ какъ неизбѣжное зло, принесшее вмѣстѣ съ реакціей, противъ котораго русская жизнь пока безсильна, но придетъ время, опрокинетъ вмѣстѣ съ царствомъ тьмы, произвола и легализованнаго разврата, ставшими у насъ самой обыденщиной,—обыденщиной, противъ которой всегда боролась женщина съ трагическими чертами лица—русская литература.

Въ сторонѣ отъ порнографовъ-декадентовъ стоятъ склонные къ порнографіи Анатолій Каменскій и Арцыбашевъ, отдавшіе дань времени реалисты.

Кажется, можно считать безспорнымъ утвержденіе, что русская жизнь снова вошла въ свою колею. Какъ помните, тогда,—въ 80-хъ годахъ. Снова тихая, размѣренная и аккуратная прилила обыденщина. Снова выдвинуты на сцену теорія малаго дѣла, мелкое культурничество, благотворительность и прочіе аксессуары „героя нашего времени“.

Не надо быть особенно прозорливымъ, чтобы увидѣть, что революція, вопреки ея желаніямъ, выдвинула на сцену общественной жизни „средній классъ“, и этотъ послѣдній властно поставилъ въ программу дня свои идеалы, свою идеологію,—идеологію „Не героя“, котораго нѣкогда воспѣлъ П. Н. Потапенко.

Молодая литература еще не обрѣла своего Потапенко, но симптомы возвращенія къ прошлому всѣ налицо. Возрожденіе литературы упадочниковъ, рас-

цвѣтъ эстетизма, культъ тѣла, странное дружественное сожительство вчерашнихъ литературныхъ враговъ — все это факты, которые ясно свидѣтельствуютъ о томъ, что жизнь-„матушка вспять побѣжала".

Вернулась обыденщина, воскресли ея пѣвцы. Вмѣсто „Не героя" пришелъ „Мелкій Бѣсъ". Вмѣсто Болеслава Маркевича пришелъ Анатолій Каменскій. Вмѣсто „Четверти вѣка назадъ" явилось „Четыре". И. странно, Каменскій ничего не внесъ новаго рядомъ хотя бы съ Вербицкой. „Леда" не такъ далеко ушла отъ „Бабочки", а между тѣмъ— сравните успѣхъ Вербицкой и успѣхъ Каменскаго. О Вербицкой никто не писалъ и мало кто читалъ; о Каменскомъ много пишутъ, много кричатъ и его читаютъ. А между тѣмъ ихъ дарованія далеко не равны. Проблема пола, роднящая Каменскаго съ Вербицкой, очевидно, воскресла изъ болѣе отдаленныхъ временъ, когда писали Іеронимы Ясинскіе и Болеславы Маркевичи— временъ разгула реакціи, радушно принявшей и даровавшей права гражданства „эротикѣ ради эротики".

Не будемъ вдаваться въ подробности этого печальнаго перелома во вкусахъ читающей публики, тѣмъ болѣе, что соціальныя его причины всѣмъ ясны: эротика всѣми правительствами используется какъ отдушина для сгустившейся общественной атмосферы, рвущейся къ выходу. Объ этомъ достаточно ясно говорятъ эпохи Директоріи, Ренессанса и т. п.

Эротика дала популярность Анатолію Каменскому, и въ общей эротической волнѣ надо искать причины его чисто-внѣшняго успѣха. Эротика была для Каменскаго плащомъ, „одежкой", по которой его, по пословицѣ, встрѣтили. Проводить же должны „по уму".

И насъ интересуетъ именно эта интеллектуальная сторона его творчества, его міросозерцаніе, ибо только по нимъ можно судить о мѣстѣ, которое занимаетъ Анатолій Каменскій въ литературѣ. „Одежку" можно

мѣнять сколько угодно, что отчасти и дѣлаетъ А. Каменскій: міросозерцаніе же не такъ эластично и представляетъ болѣе устойчивый признакъ.

Правда, нелегко вскрыть міросозерцаніе Каменскаго. Онъ вѣчно прячется за спины своихъ героевъ, стыдится своего „я", и если поетъ гимнъ чему-нибудь, то черезъ нѣсколько страницъ, какъ ни въ чемъ не бывало, проклинаетъ то, чему поклонялся. Какая-то странная трусость своихъ мыслей, проводимыхъ какъ бы контрабандой, боязнь каждаго слова сквозятъ изъ каждой строчки. Ни слова онъ не скажетъ въ простотѣ, а все съ „ужимкой" и гримасой. „Честныхъ людей нѣтъ, говоритъ одинъ изъ его героевъ, нѣтъ потому, что нѣтъ людей искреннихъ". („Чедаг"). Каменскій тоже не изъ искреннихъ.

Тѣмъ не менѣе попробуемъ вскрыть его міросозерцаніе, ибо только оно можетъ дать возможность судить о той или иной прочности его положенія. Ясно, что свѣдѣнія о его индивидуальности мы можемъ черпать только изъ тѣхъ положеній, которыя общи всѣмъ его героямъ и не являются ихъ специфически - индивидуальными чертами, тѣмъ болѣе, что Каменскій и самъ сознается, что это „общее, красивое и стройное возможно даже въ самомъ скучномъ предметѣ", даже въ такомъ, какъ система „римскаго права" („Дипломъ").

А его произведенія не скучны.

Весь балластъ Анатолія Каменскаго заключается въ „томѣ первомъ" съ десяткомъ его разсказовъ. Единая общая идея, ихъ одухотворяющая, — борьба съ обыденщиной во имя смѣлаго, свободнаго и гордаго человѣка. Казалось бы, чего еще болѣе прекраснаго требовать отъ автора. Борьба съ обыденщиной одухотворяла собой всю молодую литературу, начиная съ

придетъ въ голову поставить рядомъ съ ними Каменскаго. Отчего?

Да отъ того, что дѣло не въ томъ, что отрицаешь и какъ отрицаешь, а въ томъ — во имя чего отрицаешь. Если Чеховъ, Тихоновскій, Вересаевъ, Купринъ, Андреевъ отрицали обывательщину во имя трагедіи, а Горькій во имя „свободнаго сокола", это было понятно и дорого.

Но что такое „смѣлый, свободный и гордый человѣкъ" А. Каменскаго? Онъ идетъ, „высоко и гордо поднявъ голову", и „передъ нимъ покорно разступалась толпа". Кто это? Это — поручикъ Нагурскій, занимающійся изнасилованіемъ женщинъ въ поѣздахъ желѣзныхъ дорогъ. Всѣ онѣ безъ различія „положенія, возраста и вѣроисповѣданія" равны для него. Всѣхъ ихъ „предразсудокъ гнететъ, какъ и всякую тупую, добродѣтельную жену священника или тамъ аптекаря, чортъ бы ихъ побралъ совсѣмъ! И есть вещи, о которыхъ вы втихомолку можете думать до изнеможенія цѣлыми днями, но не дай Богъ заговорить о нихъ вслухъ". Это даетъ поводъ Нагурскому заявить: „Такъ вотъ же, вамъ, слушайте! По-моему, умныя, или, какъ у васъ тамъ говорится, эмансипированныя женщины не должны стыдиться своихъ желаній и могутъ отдаваться своимъ лакеямъ и денщикамъ своихъ мужей съ такой же легкостью, какъ мы, мужчины, беремъ горничныхъ и нянекъ. Разъ, два, три—и до свиданья" („Четыре").

Эти слова—credo Каменскаго, ибо они общи его героямъ. Вотъ передъ нами „Леда", играющая съ Володей Шубинскимъ и заявляющая ему съ первыхъ словъ: „Вѣроятно и тѣло у васъ бѣлое и нѣжное, какъ у дѣвушки... Только отчего вы такой молчаливый, робкій?.. Никогда ничего не нужно стыдиться въ молодости. Навалъте сейчасъ же сдѣлать безстыд-

народился новый типъ женщины-Донъ-Жуана, и передъ вами представительница этого типа". Представъ передъ другимъ мужчиной, въ чемъ мать родила, Леда говоритъ ему, совершенно опаршенному: „Будьте же, наконецъ, свободны. Не отводите глазъ!"

Въ этомъ для Каменскаго та „новая свобода", о которой говорятъ его герои, о которой говорится и въ его „Игрѣ": „Подосеновъ нагнулся къ ней, почти цѣлуя ея ротъ, взялъ за обѣ руки и, жадно сжимая ихъ, спросилъ: Сколько?—Сто...—коротко отвѣтила она и, высвободивъ руки, быстро пошла впередъ".

Всѣ герои Каменскаго стремятся разрушить преграду общенія между людьми. Объ этомъ заботятся и Нагурскій, и Леда, и студентъ въ „Дипломѣ", и полубезумные герои „Бѣлой ночи". Всѣ они вожделѣютъ ворваться въ чужую „скрытую, обособленную, вторую жизнь, похожую на комнату, съ заколоченными окнами и запертыми на ключъ дверями, куда не заглядывалъ ни одинъ человѣкъ" („Леда").

Я проникъ въ тайну нетерпѣливой, обостренной тоски, овладѣвающей людьми въ эти гнетущіе вечера остановившагося заката, когда самое небо, вѣтки деревьевъ, пустыя впадины оконъ, блуждающія въ полутьмѣ фигуры—все ждетъ чего-то и томится надеждой. Всѣ ждутъ пророка! Ждутъ, что придетъ кто-то новый и смѣлый и разрушитъ преграды, и скажетъ, что нѣтъ чужихъ людей, чужихъ квартиръ, нѣтъ знакомыхъ и незнакомыхъ, а есть только ничѣмъ непреграждаемая свобода влеченія одного къ другому" („Бѣлая ночь").

Разсказъ Каменскаго „Бѣлая ночь" насквозь проникнутъ вліяніемъ Мопассана („На водѣ", „Одиночество"), Бодлера и Альтенберга и, пожалуй, наиболѣе талантливый и идейный изо всѣхъ. Въ немъ Каменскій почти такой же анархистъ и индивидуалистъ, какъ и Мопассанъ („На водѣ"), но еще раньше въ

„Ледъ“, въ лицъ философа Данчича, намѣчаются тѣ же черты: „А знаете ли вы, что порабощаетъ мысль? Человѣческое общество — и больше ничего. Нужно уничтожить общество. Нужно лишить людей права сближаться между собой или выстроить столько же одиночныхъ тюремъ, сколько людей. Ибо когда встрѣчаются два человѣка, — они уже мелкіе трусы и рабы“.

Данчичъ, несмотря на недодѣланность, пожалуй, наиболѣе интересный изъ всѣхъ типовъ Каменскаго, но онъ отчасти — диссонансъ. Данчичъ возвелъ въ культъ теорію одиночества и „темную комнату“, въ которую вторгаются Нагурскіе и герои „Бѣлой ночи“. „Не хочу, не хочу,— говоритъ онъ,— не нужно жизни, не нужно фонарей, не нужно свѣта. Ничего не хочу видѣть! Дайте мнѣ темную комнату, дайте мнѣ темную комнату... Не нужно фактовъ, не нужно логики, не нужно словъ. Ищите новыхъ путей, странныхъ путей. Найдите въ мысляхъ своихъ, въ глубинѣ себя темное поле и темную ночь, забудьте жизнь, оставьте позади себя людей, чувство, ваши собственныя тѣла и съ проклятіемъ, очертя голову, устремитесь впередъ“.

Данчичъ— съ одной стороны, Нагурскій — съ другой — вотъ два начала, два голоса, которые все время спорятъ въ душѣ Каменскаго. И тотъ, и другой повторяются въ его разсказахъ, и за тѣмъ и за другимъ стоитъ авторъ. Кто одержитъ въ немъ верхъ—это покажетъ будущее.

Порою Каменскій на сторонѣ Нагурскихъ, вторгающихся въ чужую „темную комнату“. — А все-таки я не раскаиваюсь,— говоритъ одинъ изъ героевъ „Бѣлой ночи“, ворвавшихся ночью въ чужую квартиру, что мы съ тобой учинили походъ на самую неприкосновенную изъ собственностей—жилище“.

Но уже и въ „Бѣлой ночи“ Каменскій говоритъ о ея герояхъ съ ужимкой и усмѣшкой Данчича. Ихъ

всюду преслѣдуютъ комическія неудачи на пути покушенія на неприкосновенность человѣческой личности. И они восклицаютъ: „Проклятая, бездарная, набитая претензіями башка! Круглый, безмозглый шаръ, рождающій банальныя, затасканныя, кастрированныя слова, безсильныя пробудить въ человѣкѣ даже простое любопытство!“

И еще болѣе рѣзкимъ диссонансомъ съ теоріей Леды, Нагурскаго и героевъ „Бѣлой ночи“ являются слова Одинцова изъ „Ничего не было“:

„Вѣдь душа человѣческая, простите меня, не кабакъ, куда можно войти въ шапкѣ и стуча каблуками. Осторожно надо, бережно, съ непокрытой головой и тихимъ голосомъ подходить къ человѣку“.

Лучше всего Каменскому удается описаніе засасывающей власти обыденщины и пошлости, и въ этомъ смыслѣ его „Дипломъ“ и „Мебель“ — шедевры. Здѣсь нѣтъ тѣхъ потугъ на „новые пути“, какъ въ „Ледѣ, „Четырехъ“ и „Бѣлой ночи“, но зато есть тонкая наблюдательность — чисто-гончаровская, дѣлающая его героевъ ходячей пошлостью и обыденщиной. Но не ищите и въ нихъ отношенія автора. Это просто живая фотографія, синематографъ, и авторъ, какъ и Гончаровъ, скорѣе живетъ съ ними, чѣмъ осуждаетъ. И только въ одномъ разсказѣ видно его отношеніе къ обыденщинѣ — это все въ той же „Бѣлой ночи“: „Боже мой, какъ ограниченъ кругъ людей, близкихъ каждому изъ насъ отъ рожденія и до могилы!.. Да знаешь ли ты, что пока существуетъ все это, никакія гекатомбы не дадутъ свободы“. И только.

Все это, вмѣстѣ взятое, говоритъ объ одномъ: у Каменскаго нѣтъ стройнаго, яснаго и твердаго міропониманія. Не даромъ жизнь его героевъ такъ „проста“ и все „такъ просто“. И только это отсутствіе опредѣленнаго міросозерцанія объясняетъ, почему онъ скрывается и прячется, и вилять какъ „рабъ лукавый“.

Каменскій невылазно запутался въ сѣтяхъ той же обыденщины, противъ которой онъ пишетъ, и все, что онъ рекомендуетъ противъ обыденщины, такъ же пошло и обыденно, какъ сама обыденщина. Идутъ ли его герои растлѣвать женщинъ во имя гордаго и смѣлаго человѣка, — они пошлы и обыденны, какъ поручикъ Нагурскій; кричатъ ли они о нарожденіи новаго типа женщины — Донъ-Жуана, „объявляя войну мѣщанамъ и буржуямъ", они — пошлы и обыденны, какъ Леда; врываются ли они для поруганія неприкосновенности личности въ чужія квартиры, — они тоже пошлы, обыденны и въ лучшемъ случаѣ безумны, какъ герои „Бѣлой ночи". Всѣ они — порожденія той же буржуазіи, противъ которой ведутъ свою донкихотскую кампанію, дѣти той же обыденщины, во имя борьбы съ которой они выступаютъ.

Среда, въ которой ищетъ Каменскій, какъ „пѣтухъ жемчужное зерно", своихъ „новыхъ героевъ", состоитъ изъ людей, швыряющихъ по ресторанамъ и „почтеннымъ домамъ" сотнями рублей, какъ окурками папиросы. Все это — земскіе начальники, поручики, члены судебной палаты, военные инженеры, начальники судоходныхъ дистанцій, купцы, офицеры, проститутки высшаго калибра, адвокаты, художники, артисты, меценаты, богатыя содержанки, студенты, квартирующіе въ домахъ, гдѣ даже швейцары даютъ въ кредитъ не менѣе какъ 25 р., и еще въ университетѣ мечтающіе о „государственной службѣ" и народномъ пирогѣ. Вся жизнь его героямъ, какъ, вѣроятно, и самому Каменскому, „представляется сплошнымъ прекраснымъ рестораномъ".

Порой имъ хочется „поклеветать на человѣческое тѣло, которое такъ прекрасно", и тогда они кричатъ: „Остановитесь, остановитесь! Посмотрите наверхъ, вспомните и забудьте, упадите на землю, хохочите надъ собою, грызите себѣ руки и плачьте отъ ужаса и о-

чанія. Завтра умрете вы, заблудившись между двумя могилами—прошлой и будущей, — вы, никому не приснившіеся сны, и никогда не вспомните о томъ, что жили". Правда, это похоже на горьковское: „А вы на землѣ проживете, какъ черви слѣпые живутъ,—ни сказокъ о васъ не разскажутъ, ни пѣсенъ о васъ не споютъ!" Но это не надолго — до перваго ресторана, гдѣ снова начинается „миръ жизни" въ чаду алкоголя, золота и женщинъ. Всѣ они, какъ Нагурскій, мечтаютъ о томъ, какъ заманчива и прекрасна жизнь, и какъ хорошо было бы, если бы весь міръ былъ наполненъ ресторанными столиками, женщинами и офицерами, а откуда-нибудь сверху, днемъ и ночью, гремѣлъ румынскій оркестръ". И авторъ нисколько не заботится выдѣлить себя изъ этой философіи „Почтеннаго дома", которымъ представляется ему жизнь.

У Каменскаго только одинъ разсказъ написанъ болѣе или менѣе художественно съ внѣшней стороны. Все остальное какъ-то грубо, вульгарно и по-гвардейски примитивно. Возьмите его „Четырехъ". Эта же тема была разработана и Чеховымъ въ „Красавицахъ", и Ишибышевскимъ въ „Homo Sapiens". Но какая между ними пропасть! Тамъ—красота и искупающій трагизмъ положеній, здѣсь — неумный казарменный анекдотъ, пошлый, тупой и банальный, что-то въ родѣ обычнаго газетнаго сообщенія объ изнасилованіяхъ на желѣзныхъ дорогахъ, которыми такъ чревата стала наша общественная жизнь.

Говорятъ о порнографіи Каменскаго. Но вѣдь онъ и порнографію-то не любитъ и не артистъ своего дѣла, какъ хотя бы Ясинскій, а лишь лабазникъ, покорно отзывчающій спросу рынка съ любезнымъ „чего изволите". И недаромъ такъ мало души въ его произведеніяхъ, такъ мало міросозерцанія и такая путаница въ его головѣ. Съ такими неопредѣленными и расплывчатыми взглядами на жизнь еще не выступали въ рус-

ской литературѣ, и какъ-то странно думать, что А. Каменскій получилъ образованіе. Хочется считать его самородкомъ и самородкомъ, которому еще надо учиться, работать надъ собой, и жизнь у котораго вся впереди.

И если Каменскій въ той идеологіи, которую можно съ трудомъ обнаружить у него, не новость послѣ Маркевича, Ясинскаго и Вербицкой, то онъ безусловно новость по своей смѣлости выступать въ литературу безъ опредѣленной точки зрѣнія, безъ опредѣленнаго, яснаго и стройнаго міросозерцанія, почти безъ мысли, съ одними словами и претензіями.

Каменскій — плоть отъ плоти выдвинутаго на арену общественной жизни средняго слоя населенія, онъ — порожденіе буржуазіи и, какъ ея порожденіе, онъ характеренъ для нея со всей безплодностью ея благихъ порывовъ и громкими пустыми фразами о „свободѣ, равенствѣ и братствѣ", со всѣмъ ея вліяніемъ и міросозерцаніемъ лабаза. Они могутъ быть и анархистами, и индивидуалистами, и не могутъ не быть аристократами до мозга костей, растлѣнными, развращенными, изнѣженными и претенціозными.

Давно не носила русская литература такого узкоклассоваго характера, и Каменскій одинъ изъ первыхъ воскресилъ его.

Не менѣе Каменскаго нашумѣлъ своимъ ультрареалистическимъ романомъ „Санинъ" Арцыбашевъ, какъ-то сразу послѣ напечатанія его въ „Современномъ Мірѣ "заставившій говорить о себѣ, послѣ многихъ лѣтъ непризнанія и невниманія къ его писаніямъ.

Помню 10 лѣтъ назадъ, въ самые мрачные дни русской общественной жизни, дни расцвѣта ядовитыхъ и горькихъ цвѣтовъ рефлекса, дни культа отчаянія и пессимизма—впервые заговорилъ Максимъ Горькій.

Помню, какъ встрепенулось, вздрогнуло тогда русское общество и съ благоговѣніемъ, чуть не съ молитвой, напряженно ловило каждое новое слово писа-

теля. Новая эра, казалось, тогда наступила. А съ нею пойдетъ все по-новому! Довольно чеховщины, довольно слезъ, стенаній и грусти, да здравствуетъ жизнь, свобода, смѣлое, гордое „да, бытію“!

Другіе говорили: рано. Слишкомъ рано. Слишкомъ темна, безотрадна, уродлива и безобразна еще жизнь. А до лучшей жизни—далеко. Но не сердились, не раздражались на нѣвѣрующихъ радости жизни. И даже сами порой увлекались. И хотѣли со всѣми.

Босякъ, бродяга былъ героемъ дня, героемъ времени.

Прошло 10 лѣтъ. Цѣлый вѣкъ въ жизни русскаго общества. Но дни наши попрежнему мрачны, попрежнему мы пьемъ ароматъ ядовитаго цвѣтка рефлекса и разочарованія—дышащаго смертью Анчара.

И снова на этомъ фонѣ всплескъ, радостный лучъ, улыбка и беззаботный веселый смѣхъ.

Санинъ. Санинъ — босякъ. Санинъ — бродяга. Санинъ—нигилистъ. Онъ смѣется надъ нашимъ рефлексомъ,—рефлексомъ Сварожичей, Соловейчиковъ, Семеновыхъ.

Спорятъ въ душѣ человѣка вѣчная радость и жизнь.

Вѣчная тайна и смерть.

„Жить стоитъ только тому, кто въ самомъ фактѣ жизни видитъ уже наслажденіе. А страдающимъ—лучше умереть“.

Цинично? Да. Но развѣ не то же писалъ Горькій?

Санинъ—индивидуалистъ. И Санинъ — анархистъ. Онъ презираетъ общественную дѣятельность и едва терпитъ людей.

„Надоѣли всѣ. Или тебѣ этого недостаточно? Понимаешь, я вытерпѣлъ этихъ людей, сколько могъ терпѣть... больше не могу“. И уходитъ.

Развѣ не то же писалъ Горькій?

Санинъ вызвалъ со стороны критики почти поголовное осужденіе и окрикъ. Одинъ критикъ назвалъ

его даже подлецомъ. Другіе кричали о порнографіи. И то, и другое не вѣрно. Подлеца Санинъ получилъ за то, что онъ воспользовался женщиной насильно и не заботясь о страданіяхъ, которыя могутъ изъ этого выйти, и о ребенкѣ, который можетъ отъ этого произойти. Этого въ романѣ Арцыбашева нѣтъ. Если же у него есть порнографія—она не въ идеѣ повѣсти, а въ ея обработкѣ. Идея повѣсти обработана, дѣйствительно, односторонне. Жизнь героевъ проявляется только въ отношеніяхъ половъ другъ къ другу и *фонъ* повѣсти — эротическій. Быть-можетъ больше. Но не идея. А мы должны имѣть дѣло съ идеями.

Я не собираюсь защищать „Санина“ и не могу защищать въ силу идейнаго антагонизма. Но спрошу: Господа. Гдѣ же вы были раньше? Вѣдь къ этому шло. Вѣдь „Санинъ“ родился не deus ex machina. Вѣдь онъ же былъ вызванъ всѣмъ ходомъ литературы послѣдняго десятилѣтія. Онъ не съ неба свалился. Онъ успѣлъ органически съ нею сродниться. Онъ не могъ не родиться, и родиться могъ только „Санинъ“. Почему же вы просмотрѣли постепенное его подготовленіе? Почему же тогда не кричали объ опасности? И зачѣмъ теперь, уже post factum, машете руками и грозно трясете кулаками?

Я хочу сказать, что теперь, когда „Санинъ“ авансомъ вошелъ въ плоть и кровь извѣстной части русскаго общества, когда уже восприняты по частямъ всѣ элементы „Санина“, и вы это допустили—уже не поможешь окриками и угрозами. „Санинъ“ явился званый и жданый въ русскую литературу, и не такъ-то легко отъ него отдѣлаться. Онъ послѣднее звено, заключительный аккордъ въ цѣпи, которую вы пропустили. Если вы его не хотѣли, надо было раньше кричать: куда мы идемъ? и бить тревогу. А теперь—немного поздно. Онъ родился и родился какъ законное дитя, хотя, быть можетъ, и нежеланное.

„Санинъ"—центральное, боевое произведеніе переживаемой литературной эпохи. И произведеніе сильное, талантливое и яркое. И тѣмъ сильнѣе, что покоится на неопровергнутыхъ основахъ и даже болѣе — на основахъ, имѣющихъ силу и власть надъ его врагами. Онъ прочно занялъ въ литературѣ свое мѣсто и скоро его не уступитъ.

Припомнимъ

Послѣ „Василія Өивейскаго" литература молчала ровно годъ. И не могла не замолчать. Послѣ него трудно было писать что-либо. Онъ завершилъ собою циклъ литературы, возведшій въ культъ трагедію, довелъ ее до логическаго конца, до стѣны, о которую литература ударилась всей грудью и разсыпалась на тысячи брызгъ. „Василій Өивейскій", казалось, ошеломилъ самого автора. Ему понадобилось пять лѣтъ растерянности и метаній, чтобы потомъ снова повторить тѣ же мотивы съ той же экспрессіей въ „Жизни Человѣка".

Передовой боецъ за „трагическое", какъ плодотворное начало въ жизни,—стушевался. А снова окрѣпъ лишь къ самому послѣднему моменту, когда въ литературѣ уже укрѣпились иныя начала, иныя пѣсни.

Началось съ „Поединка"—перваго послѣ „Василія Өивейскаго" крупнаго произведенія. Философія трагедіи сошла на время съ литературной сцены, и ее смѣнило утвержденіе жизни, *какъ она есть*. Да, бытію! Во что бы то ни стало.

„Если я попаду подъ поѣздъ, и мнѣ перерѣжутъ животъ, и мои внутренности смѣшаются съ пескомъ и намотаются на колеса, и если въ этотъ послѣдній мигъ меня спросятъ: ну, что, а теперь жизнь прекрасна?—скажу съ благодарнымъ восторгомъ: ахъ, какъ она прекрасна!"

Кто помнитъ „Жизнь Василія Өивейскаго" и Куприна въ его первомъ томѣ, тому ясно, какой крутой

поворотъ сдѣлала литература въ своихъ настроеніяхъ, и ясно, что *это* было началомъ конца.

Купринъ отказался отъ своего перваго тома. Словно не онъ его писалъ. И вся литература пошла за нимъ, забывъ Тимковскаго, Вересаева, прежняго Куприна и охладѣвъ къ пессимизму Андреева.

За „Поединкомъ" явились культъ тѣла, эстетизмъ, проблема пола и—какъ завершеніе—„Санинъ". Но уже зачатки культа тѣла и тѣлесной красоты и прелести жизни, какъ она есть, жизни самой по себѣ,—словомъ, зачатки „Санина" были въ „Поединкѣ".

„И вотъ, говорю я, любовь къ человѣчеству вычадилась и выгорѣла изъ человѣческихъ сердецъ. На смѣну ей идетъ новая, божественная вѣра, которая пробудетъ безсмертной до конца міра. Это—любовь къ себѣ, къ своему прекрасному тѣлу, къ своему всесильному уму, къ безконечному богатству своихъ чувствъ. Кто вамъ дороже и ближе себя? Никто. Вы—царь міра, его гордость и украшеніе. Вы—богъ всего живущаго!"

Кто это говоритъ: Назанскій ли въ лодкѣ Ромашеву или Санинъ въ лодкѣ Карсавиной?

И та же исходная точка, оправдывающая „да, бытію!"—я смертенъ.

„Вы вотъ еще будете живы... Будете ходить, смотрѣть на луну, дышать, пройдете мимо моей могилы и остановитесь надъ ней по своей надобности, а я буду лежать и отвратительно гнить" („Санинъ").

„Вотъ пройдетъ еще 20—30 лѣтъ—одна секунда въ томъ времени, которое было до меня и будетъ послѣ меня. Одна секунда! Мое „я" погаснетъ, точно лампада, у которой прикрутили фитиль. Но лампу зажгутъ снова, и снова, и снова, а меня уже не будетъ... Было темно, кто-то зажегъ мою жизнь, и сейчасъ же потушилъ ее, и опять стало темно навсегда, на вѣки-вѣковъ" („Поединокъ").

Отсюда и отрицаніе общественной дѣятельности, тожественное уже съ Андреевымъ:

„Развѣ я виноватъ, что на землѣ такъ плохо? Когда я родился, земля уже была такою; и такою же останется она, когда я умру. Вѣдь такъ коротка и безсильна моя жизнь!“ („Проклятіе Звѣря“).

„Съ какой стати я принесу свое „я“ на поруганіе и смерть для того, чтобы рабочіе XXXII столѣтія не испытывали недостатка въ пищѣ и половой любви?.. Да, чортъ съ ними, со всѣми рабочими и нерабочими всего міра!“ („Санинъ“).

Безнравственно? Все можетъ быть. А помните буквально то же у Куприна:

„Какой интересъ заставитъ меня разбивать свою голову ради счастья людей XXXII столѣтія? О, я знаю этотъ куриный бредъ о какой-то міровой душѣ и священномъ долгѣ! Но даже тогда, когда я ему вѣрилъ умомъ, я ни разу не чувствовалъ его сердцемъ“ („Поединокъ“).

Нѣтъ, господа, если хотите бороться—боритесь съ идеей, вамъ неугодной, а не съ формой. И если хотите бороться съ идеей—боритесь съ ней въ ея зародышѣ, въ ея намекѣ, а не тогда, когда она уже въѣлась въ плоть и кровь общественныхъ настроеній и міросозерцанія, облеклась въ цѣльныя формы и уже укоренилась.

Кто изъ тѣхъ, который сейчасъ пишутъ противъ „Санина“, писалъ противъ „Поединка“? Никто. Кто писалъ противъ „проблемы пола“ и „культа красоты и тѣла“? Немногіе. А теперь кричатъ почти всѣ.

Зачѣмъ? Развѣ это критика, если она идетъ въ хвостѣ литературы, а не впереди? Развѣ это критика, если она не предвидитъ, что изъ чего рождается, и не стремится предупредить и направить, а лишь караетъ послѣ факта?

Не махайте же, господа, послѣ драки руками.

Выше мы говорили какъ о знамени реакціи и темнаго безвременья — о поправѣніи Леонида Андреева.

Началось оно съ его „Губернатора", которымъ Л. Андреевъ вступилъ въ новую фазу своего творчества—публицистическую.

Первое, что обратило на себя вниманіе Андреева на новомъ поприщѣ—это терроръ, и онъ началъ съ осужденія „террора слѣва", на что не рѣшились позднѣе даже наши представительныя учрежденія—первая и вторая Дума.

Этимъ произведеніемъ, напечатаннымъ въ марксистскомъ журналѣ „Правда", Л. Андреевъ порвалъ съ первымъ періодомъ своей литературной дѣятельности. Послѣднимъ произведеніемъ мятежническаго періода его творчества былъ „Красный смѣхъ". Послѣ него забрался въ политику—совершенно чуждую его творчеству область, въ которой онъ понимаетъ не болѣе октябриста. Родились на свѣтъ его „Савва", „Губернаторъ", „Такъ было", „Тьма" и проч.

Вмѣстѣ съ тѣмъ произошло нѣкоторое измѣненіе въ самой манерѣ его творчества. Въ первый періодъ своей дѣятельности Андреевъ умѣлъ о самыхъ трагическихъ вещахъ въ жизни говорить спокойнымъ, ровнымъ голосомъ, благодаря чему еще ярче вырисовывалась трагедія. Образцовымъ произведеніемъ этого періода являлся разсказъ „Жили-были".

Второй періодъ знаменателенъ тѣмъ, что Андреевъ, быть можетъ временно, промѣнялъ трагедію на обыденщину. Сознавая, однако, что онъ силенъ только въ изображеніи трагическаго, Андреевъ попрежнему ищетъ трагическихъ темъ и положеній, надумываетъ ихъ, показываетъ даже тамъ, гдѣ и быть не можетъ, черпая не изъ жизни, а изъ головы. Образцовымъ произведеніемъ этого періода является „Тьма". Соотвѣтственно этому измѣнился и тонъ его. Прежде спокойный и увѣренный, онъ дѣлается теперь растерян-

нымъ, крикливымъ и безсильнымъ. О самыхъ простыхъ и обыденныхъ вещахъ Андреевъ кричитъ не своимъ голосомъ, чѣмъ только ослабляетъ впечатлѣніе. Отъ этого даже дѣйствительно трагическое дѣлается обыденнымъ и великое смѣшнымъ. Яркій примѣръ—„Проклятіе Звѣря".

Вмѣстѣ съ забвеніемъ трагедіи и измѣненіемъ творчества Л. Андреева измѣнилось и его отношеніе къ трагическому. Дойдя до стѣны въ изображеніи конкретнаго человѣческаго страданія и какъ бы испугавшись пропасти, которая разверзлась передъ его ногами, Андреевъ переходитъ къ абстрактному—эволюціонируетъ отъ „Жизни Василія Ѳивайскаго" къ „Жизни Человѣка". На мѣсто конкретнаго съ плотью и кровью „Василія Ѳивайскаго" родится абстрактный „Человѣкъ", внѣ времени и пространства.

Разсказъ Л. Андреева „Губернаторъ", первый шагъ на новомъ поприщѣ, появился въ дни революціи и шелъ совершенно вразрѣзъ съ существовавшими политическими тенденціями русскаго общества. Онъ казался писательскимъ оригинальничаньемъ, а между тѣмъ ему имѣлся уже прецедентъ въ небольшомъ разсказикѣ, помѣщенномъ въ „Нижегородскомъ Сборникѣ" подъ заглавіемъ „На станціи", гдѣ описывался жандармъ уже съ новой для Л. Андреева точки зрѣнія—съ точки зрѣнія общечеловѣка. Въ моментъ наивысшей конкретизаціи русской общественно-политической мысли Андреевъ выступилъ во имя абстрактнаго „человѣка", котораго онъ видѣлъ въ жандармѣ и въ губернаторѣ, и во французскомъ королѣ, но не увидѣлъ, какъ оказалось позднѣе по разсказу „Тьма"—въ революціонерѣ.

Казалось, что абстрактный „человѣкъ" понадобился ему для совершенно конкретнаго, систематическаго развѣнчанія кумира 1905 года—революціонера, и увѣнчанія мученическимъ вѣнцомъ представителей власти.

Это находитъ подтвержденіе въ томъ, что Л. Андреевымъ не было написано за этотъ періодъ ни одной строчки противъ смертной казни, разстрѣловъ и расправъ и написано нѣсколько драмъ и разсказовъ противъ террора слѣва („Губернаторъ", „Савва", „Тьма", отчасти „Къ звѣздамъ" и „Такъ было").

Односторонне творчество Л. Андреева дало за послѣдніе два года, кромѣ этихъ чисто публицистическихъ произведеній, два незначительныхъ разсказа на тему изъ священнаго писанія: „Іуда", напечатаннаго въ сборникѣ „Знанія" и „Елеазаръ" уже въ „Золотомъ Руномъ". Въ альманахахъ „Шиповника" появились „Жизнь Человѣка" и „Проклятіе Звѣря".

Трудно сказать, что руководило авторомъ при выборѣ этихъ темъ, во всякомъ случаѣ ясно, что Л. Андреевымъ потеряна нить творчества и онъ мечется отъ темы къ темѣ, отъ временъ французской революціи къ временамъ апостольскимъ и отъ временъ апостольскихъ къ русской революціи, а отъ русской революціи къ временамъ Елеазара, отъ двадцатаго вѣка къ первому и обратно.

Въ разсказѣ „Губернаторъ" дѣйствующее лицо совершенно не отвѣчаетъ дѣйствительности, оно выдумано отъ начала до конца и наивно, по-дѣтски идеализировано. Весь разсказъ лишенъ чувства мѣры, онъ смѣло переступаетъ предѣлы художественно-реальной правды и тенденціозенъ.

Можно держаться самыхъ разнообразныхъ взглядовъ на терроръ какъ справа, такъ и слѣва, можно отрицать какъ то, такъ и другое, но посвящать цѣлый періодъ литературной дѣятельности борьбѣ съ терроромъ спеціально слѣва, какъ сдѣлалъ это Л. Андреевъ въ вышеозначенныхъ произведеніяхъ, гдѣ взглядъ его слишкомъ односторонѣнъ—это значитъ угодить Пуришкевичамъ, настойчиво вносящимъ на обсужденіе вопросъ о порицаніи террора слѣва при каждомъ

удобномъ и неудобномъ случаѣ и усиленно замалчивающихъ и оправдывающихъ терроръ справа. Литературная этика налагаетъ извѣстныя обязанности и ставитъ границы, которыя Андреевъ въ цѣломъ рядѣ своихъ произведеній переступилъ.

Почти въ то же время Л. Андреевымъ была выпущена его первая драма „Къ звѣздамъ“.

Было время, когда каждая строка Л. Андреева была какъ откровеніе. Было кощунствомъ выбросить слово изъ его пѣсни. Теперь не то. Изъ 127 стр. его драмы можно рекомендовать выбросить при чтеніи первыя 100. Изъ четырехъ актовъ—первые три. Они не нужны, лишни и написаны неизвѣстно изъ какихъ соображеній, ибо не говорятъ ничего ни уму, ни сердцу и лишь утомляютъ растянутостью и вялостью. Даже протестъ противъ еврейскихъ погромовъ звучитъ какъ-то блѣдно.

Оттого ли, что она написана раньше „Губернатора“—въ ноябрѣ 1905 г.—или по инымъ причинамъ, но въ ней нѣтъ рѣзкихъ нападокъ на революцію. Андреева только какъ-то „пугаетъ кровь“, какъ типичнаго мирнообновленца. Тѣмъ не менѣе „Къ звѣздамъ“—произведеніе новаго періода его дѣятельности, и это какъ нельзя ярче видно изъ равноправнаго сочетанія конкретнаго съ абстрактнымъ, человѣка съ міровой душой.

— Привѣтъ тебѣ, мой далекій, мой неизвѣстный другъ! говоритъ, протягивая руки къ звѣздамъ, Сергѣй Николаевичъ.

— Привѣтъ тебѣ, мой милый, мой страдающій братъ! вторитъ Маруся, протягивая руки къ землѣ.

Кто этотъ „неизвѣстный другъ“?

„Развѣ ты не чувствуешь его—тутъ, вездѣ? Развѣ въ себѣ не ощущаешь его чистаго пламени? Кто далъ тебѣ эту нѣжную душу, чья мысль, улетѣвшая изъ бреннаго тѣла- ты можешь ли сказать, что эта мысль твоя? Твоя душа—лишь алтарь, на которомъ свершаетъ служеніе сынъ вѣчности!

„Сынъ вѣчности“ не умираетъ. „Умираютъ только звѣри, у которыхъ нѣтъ лица. Умираютъ только тѣ, кто убиваетъ, а тѣ, кто убитъ, кто растерзанъ, кто сожженъ— тѣ живутъ вѣчно...

— Да. Человѣкъ думаетъ только о своей жизни и о своей смерти — и отъ этого ему такъ страшно жить и такъ скучно, какъ блохѣ, заблудившейся въ склянѣ... Чтобы заполнить страшную пустоту, онъ много выдумываетъ, красиво и сильно, но и въ помыслахъ—онъ говоритъ только о своей смерти, только о своей жизни, и страхъ его растетъ.

Конкретная человѣческая жизнь, „своя“ жизнь— невыносима.

— Что же это! Проклятая жизнь! Гдѣ же Богъ этой жизни, куда онъ смотритъ? Проклятая жизнь! Изойти слезами, умереть, уйти! Зачѣмъ жить, когда лучшіе погибаютъ, когда— разбита прекрасная форма! Ты понимаешь это, отецъ? Нѣтъ оправданія жизни— нѣтъ ей оправданія.

Это вопль революціонерки, брата которой палачи довели до помѣшательства. Когда-то прекрасная жизнь— теперь онъ идіотъ.

— И уже тутъ въ немъ проснулась страшная смертельная тоска. Онъ никого не упрекалъ, онъ защищалъ передо мною тюремщиковъ— своихъ убійцъ,— но въ его глазахъ росла эта черная тоска: душа его умирала. И все еще успокаивалъ меня, все еще утѣшалъ. И разъ только сказалъ: всю тоску міра понялъ я въ душѣ.

— Отецъ! Какъ же можно жить среди тѣхъ, кто избиваетъ своихъ пророковъ? Куда мнѣ уйти? Я не могу больше. *Я не могу смотрѣть въ лицо человѣка—мнѣ страшно! Лицо человѣка— это такъ ужасно: лицо человѣка.* Я выплакала мои слезы— та же тоска впереди— смертельная, послѣдняя тоска. Ты видишь: я спокойна. Какъ много звѣздъ!

Революціонерка Маруся не выноситъ болѣе конкретнаго лица жизни, „лица человѣка“. „Милое, прекрасное лицо человѣка, которое улыбалось всему міру, они сдѣлали ужаснымъ. Разорвали ему ротъ, уста, которыя никогда не произносили слова лжи: чуть не вырвали глаза—глаза, которые видѣли только прекрасное“. Это лицо ужасно! Лицо конкретнаго, живого изъ крови и плоти человѣка.

Отецъ совѣтуетъ ей уйти отъ земли „къ звѣздамъ“.

— Взгляни туда, въ этотъ безпредѣльный просторъ, въ этотъ неизсякаемый океанъ творческихъ силъ. Взгляни туда! Тамъ тихо... Туда, въ эту синюю глубину посылаю я мой взоръ, и онъ скользитъ въ пространствахъ и настигаетъ то, чего никогда, никогда еще не видѣлъ человѣкъ. Я зову, и оттуда, изъ мрака преисподней, выползаетъ на мой зовъ трепещущая тайна... И тогда я радуюсь, и тогда я говорю въ вѣка и пространства: привѣтъ тебѣ, сынъ вѣчности! Привѣтъ тебѣ, мой неизвѣстный другъ!

Отецъ приглашаетъ ее оторваться отъ „ближняго“ и уйти къ „дальнему“—путь Ницше: „выше любви къ ближнему я цѣню любовь къ дальнему, и еще выше любовь къ привидѣніямъ и призракамъ“— а у насъ путь „Проблемъ идеализма“. Если конкретная жизнь ужасаетъ тебя—иди въ абстракцію, сознай и почувствуй себя частицей великаго Космоса, гдѣ волосъ не упадетъ съ головы безъ пользы и гдѣ ни одинъ твой шагъ не пройдетъ даромъ и дастъ свое сѣмя, гдѣ страданія „Трехъ сестеръ“—живыхъ человѣческихъ индивидуальностей „перейдутъ въ радость для тѣхъ, кто будетъ жить послѣ насъ“.

— Пройдетъ время, и мы уйдемъ навѣки, насъ забудутъ, забудутъ наши лица, голоса и сколько насъ было, но страданія наши перейдутъ въ радость для тѣхъ, кто будетъ жить послѣ насъ, счастье и миръ настанутъ на землѣ и помянутъ добрымъ словомъ, и

благословятъ тѣхъ, кто живетъ теперь. О, милыя сестры, жизнь наша еще не кончена!

Давно это было сказано: пять лѣтъ передъ этимъ... Но Маруся не родня „Тремъ сестрамъ“. Въ ней живъ еще „Сергѣй Петровичъ“, бунтующій противъ органической теоріи міра и утилитаризма. Нѣтъ, она не часть мірового космоса, не личинка, страданія которой перейдутъ въ радость туманнаго будущаго. Что ей за дѣло до счастья людей „тридцать второго столѣтія“! Она—живая, конкретная личность во времени и пространствѣ и тѣмъ же считаетъ другихъ. Ей дорогъ „ближній“ и чуждъ „дальній“.

— Но смерть, восклицаетъ она, но безуміе, но какое торжество рабовъ? Отецъ, я не могу уйти отъ земли, я не хочу уходить отъ нея: она такъ несчастна. Она дышитъ ужасомъ и тоской— но я рождена ею, и въ крови моей я ношу страданія земли. Мнѣ чужды звѣзды, я не знаю тѣхъ, кто обитаетъ тамъ. Какъ подстрѣленная птица, душа моя вновь и вновь падаетъ на землю... Я пойду въ жизнь...

Въ драмѣ „Къ звѣздамъ“ трудно сказать съ кѣмъ Андреевъ: съ Марусей или съ Сергѣемъ Николаевичемъ, съ конкретнымъ или съ абстрактнымъ, съ ближнимъ или съ дальнимъ, съ человѣкомъ или съ общечеловѣкомъ. И то, и другое для него равноправно, и тому, и другому онъ предоставляетъ послѣднее слово, но уже въ этой равноправности путь къ отказу отъ наслѣдства. Абстрактное растетъ въ позднѣйшихъ произведеніяхъ и поглощаетъ человѣка. Онъ теряетъ свое имя, лицо, тѣло и дѣлается прозрачнымъ символомъ, неуловимымъ и колеблющимся. Тѣнью тѣни— абстракціей.

Въ лицѣ Андреева завершается кругъ отъ „Трехъ сестеръ“ къ „Василію Фивейскому“ и отъ него обратно къ „Тремъ сестрамъ“ или „Къ звѣздамъ“.

Дальнѣйшія его произведенія были подготовкой къ „Жизни Человѣка“, постепеннымъ уклоненіемъ отъ „лица человѣка“, покрытаго кровью и ранами.

Андреевъ не пошелъ за Марусей и создалъ „Тьму“, и создалъ „Жизнь Человѣка“, и создалъ „Такъ было, такъ будетъ“... Они всѣ объединены тѣмъ, что въ нихъ—въ однихъ больше, въ другихъ меньше разлитъ ужасъ къ конкретному человѣческому страданію съ одной стороны и стремленіе уйти подъ сѣнь абстракціи—съ другой. Онъ возвращается къ землѣ лишь потому, и темы изъ конкретной жизни беретъ лишь оттого, что душа его отравлена разъ навсегда „Василіемъ Өивейскимъ“ и„ какъ подстрѣленная птица вновь и вновь падаетъ на землю“. покидая „міръ звѣздъ“.

Виденъ въ стремленіи Андреева „Къ звѣздамъ“ злой умыселъ, но онъ ему не удается и, вѣроятно, не удастся, ибо мѣняетъ онъ только внѣшнее, только слова, а суть остается все та же:

— Проклятая жизнь! Изойти слезами, умереть, уйти!..

Это какъ нельзя ярче доказывается новой драмой Л. Андреева—„Жизнь Человѣка“. Въ ней душа Л. Андреева мечется вверхъ и внизъ, уносится „къ звѣздамъ“—въ абстракцію, и снова какъ подстрѣленная птица падаетъ на землю, и снова взвивается „къ звѣздамъ“. Въ этой пьесѣ борьба земли съ небомъ достигла высшаго напряженія—апогея.

И вотъ въ разгарѣ этой борьбы, въ моментъ „когда казалось бы кончены счеты съ землей, Андреевъ шлетъ вдругъ проклятія небу:

Сливая воедино божество съ рокомъ „Неизвѣстнаго“, съ „Нѣкимъ въ сѣромъ“, Человѣкъ, убитый потерей сына и горемъ матери, съ рыданьемъ, но грозно кричитъ равнодушному Нѣкто:

— Ты женщину обидѣлъ, негодяй! Ты мальчика убилъ! Не плачь, милая, не плачь. Онъ и надъ сле-

зами нашими посмѣется, какъ посмѣялся надъ нашими молитвами.

А ты—я не знаю, кто ты. Богъ, дьяволъ, рокъ или жизнь—я проклинаю тебя!

И продолжаетъ громкимъ, сильнымъ голосомъ, одной рукой какъ бы защищая жену, другую грозно протягивая къ Неизвѣстному:

— Я проклинаю все данное тобою. Проклинаю день, въ который я родился, проклинаю день, въ который я умру! Проклинаю всю жизнь мою, ея радости и горе. Проклинаю себя! Проклинаю мои глаза, мой слухъ, мой языкъ. Проклинаю мое сердце, мою голову—и все бросаю назадъ въ твое жестокое лицо, безумная Судьба. Будь проклята, будь проклята вовѣки! И проклятьемъ я побѣждаю тебя. Что можешь еще сдѣлать ты со мною? Вали меня наземь, вали—я буду смѣяться и кричать: будь проклята! Клещами смерти зажми мнѣ ротъ—послѣдней мыслью я крикну въ твои ослиныя уши: будь проклята, будь проклята! Бери мой трупъ, грызи его, какъ собака, вознесь въ темнотѣ—меня въ немъ нѣтъ. Я исчезъ, но исчезъ повторяя: будь проклята, будь проклята! Черезъ голову женщины, которую ты обидѣлъ, черезъ тѣло мальчика, котораго ты убилъ—шлю тебѣ проклятіе человѣка!

Въ этомъ проклятіи Неизвѣстному—проклятіе конкретнаго абстракціи, и напрасно нѣкоторые видятъ въ „Жизни Человѣка" крушеніе индивидуализма (К. Чуковскій. „Отъ Чехова до нашихъ дней"), это неправда, мы видимъ здѣсь утвержденіе индивидуализма, возвратъ къ конкретному индивиду, возвратъ внутренній, несмотря на внѣшнюю абстрактность.

А въ той абстрактности, которая допущена авторомъ, нельзя не видѣть особой прелести и очарованія. Необходимо было для его замысла создать абстракцію, и нельзя не сознаться, что абстракція какъ-то сама собою вытекаетъ изъ замысла, она органически съ

нимъ связана и выборъ имени для этой абстракціи „Человѣкъ“ даже слишкомъ грубъ и тѣлесенъ. „Человѣкъ“ Андреева далеко не „Ганнеле“ Гауптмана, а между тѣмъ этого можно было требовать, ибо и тамъ, и тутъ—абстракція. Но насколько она нѣжнѣе у Гауптмана! Ганнеле тоже абстрактна и обобщенна, но она—почти безтѣлесна, и въ этомъ ея прелесть. Она эфемерна, какъ мысль, какъ фантазія, а у Андреева все это какъ-то грубовато.

Единственно въ чемъ можно упрекнуть Андреева—это въ слишкомъ слабомъ абстрагированіи замысла, какъ за его „Къ звѣздамъ“ мы упрекали его за чрезмѣрное тятотѣніе къ абстракціи. Тамъ это замысломъ не такъ требовалось, а здѣсь абстракція—неотъемлемая принадлежность замысла. Тамъ это было почти отказомъ отъ наслѣдства, въ смыслѣ измѣны живому конкретному человѣку, здѣсь—отказомъ отъ наслѣдства въ смыслѣ измѣны символу и абстракціи Гаршинской „Attalea princeps“.

Но все же хорошо, что у Андреева въ „Жизни Человѣка“ снова осязается „власть земли“, пропитанной потомъ и кровью. Его „Человѣкъ“ снова уже не астрономъ изъ пьесы „Къ звѣздамъ“, онъ уже снова немножко сродни Василію Фивейскому.

Возьмите прелестные акты его „Любовь и бѣдность“, „Несчастье человѣка“, „Смерть человѣка“. Въ нихъ—прежній Андреевъ—мятущійся и страдающій духъ, обезумѣвшій отъ ужаса жизни. Возьмите его „Старухъ“ изъ перваго и послѣдняго акта, въ уста которыхъ вложена вся ѣдкая, чисто-Андреевская сатира надъ жизнью.

— А зачѣмъ онѣ рожаютъ? Это такъ больно.

— Зачѣмъ онѣ умираютъ? Это еще больнѣе.

Старухи тихо смѣются.

— Да. Рожаютъ и умираютъ.

— И вновь рожаютъ.

Смѣются.

Или дальше, въ послѣднемъ актѣ, когда они собираются въ пивной, гдѣ умираетъ Человѣкъ.

— А его пятнадцать комнатъ?

— Я сейчасъ только была тамъ. Меня чуть не съѣли крысы, и я простудилась отъ сквозняковъ. Кто-то укралъ рамы, и вѣтеръ ходитъ по всему дому.

— А вы полежали на кровати, гдѣ умерла его жена? Не правда ли, какая мягкая?

— Да, я обошла всѣ комнаты и помечтала немного. У нихъ такая милая дѣтская. Жаль только, что и тамъ выбиты рамы, и вѣтеръ шуршитъ какимъ-то соромъ. И кроватка дѣтская такая милая. Въ ней крысы теперь завели свое гнѣздо и выводятъ дѣтей.

— Такихъ миленькихъ, голенькихъ крысятокъ.

Или дальше—пляска старухъ надъ умирающимъ „Человѣкомъ".

Это сарказмъ—сарказмъ надъ жизнью и какое-то сладострастное заигрываньe со смертью—своего рода некроманія. Здѣсь и Бёклинъ съ его автопортретомъ, и Бодлеръ съ „Цвѣтами Зла", и Ибсенъ, и Гауптманъ съ Ганнеле. Сцена въ кабачкѣ сильнѣе даже, чѣмъ у Гауптмана.

Даже въ общемъ тонѣ вся „Жизнь Человѣка" отзываетъ Достоевщиной съ его культомъ сладострастія страданія. Въ „Василіи Фивейскомъ" Андреевъ еще бѣжитъ отъ страданія, въ „Жизни Человѣка" онъ, очертя голову, бросается въ объятія трагедіи и смерти. Изъ трагедіи нѣтъ выхода—надо пить изъ ея ядовитаго источника—пить и упиваться.

Разсказывали когда-то о матери, нѣжно любившей свою дочь—единственное дѣтище. И когда она умерла, мать бережно взяла ея трупъ и, положивъ подъ громадный стеклянный колпакъ, съ мучительнымъ сладострастіемъ наблюдала ея разложеніе. И впивалась глазами и безумная захлебывалась отъ мучительнаго восторга.

Андреевъ похожъ на эту фантастическую женщину. Неизбѣжно сознавъ, что

... Въ борьбѣ съ суровымъ рокомъ
Намъ ничтожнымъ нѣтъ спасенья,
Все, на что ни взглянемъ окомъ,—
Боль и горе, прахъ и тлѣнье.—

Андреевъ кладетъ подъ стеклянный колпакъ „Жизнь Человѣка“ и, упиваясь ея болью, прахомъ и тлѣньемъ, сидитъ надъ ней, не отрывая глазъ, и пьетъ, и упивается.

Въ этомъ, пожалуй, его возвратъ къ прошлому, но возвратъ, доведенный до nec plus ultra—до Достоевщины. Ибо это даже не Чеховщина.

Достоевщиной Андреевъ снова возрождается и подаетъ руку изъ тьмы реакціи—будущему. „Жизнь Человѣка“—логическое слѣдствіе „Жизни Василія Ѳиваискаго“ и первая послѣ него вещь съ преемственностью идеи, временно утерянной Андреевымъ.

Заканчивая реакціонный періодъ литературы и жизни, нельзя пройти мимо народившейся плеяды поэтовъ обыденщины: Ѳ. Сологуба, О. Дымова, А. Блока и Каменскаго, о которомъ мы уже говорили. „Обыденщиной“ завершилось оппозиціонное трагедіи теченіе, охарактеризованное выше какъ возрожденіе декадентства и порнографіи.

Отмѣченнымъ эротическимъ направленіемъ не исчерпывалась возродившаяся въ дни реакціи декадентская литература. Если бы мы спросили себя, что выдвинула она кромѣ „проблемы пола“, отвѣтъ былъ бы одинъ—„обыденщину“.

Апологія обыденщины завершила собой циклъ, пройденный декадентствомъ и ею декадентство было, наконецъ, исчерпано до дна. Начавшись съ Бальмонта, оно перешло къ Кузьмину и завершилось Сологубомъ. Такова трилогія декадентства:

Бальмонтъ—Кузьминъ—Сологубъ.

Наиболѣе яркимъ изъ поэтовъ обыденщины, и пожалуй наиболѣе способнымъ, является Сологубъ.

Это тотъ самый Сологубъ, который родился въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ", —органѣ литературныхъ реакціонеровъ, оперялся въ гнѣздѣ „Скорпіоновъ" и „Грифовъ", расцвѣлъ въ „Вѣсахъ", „Новыхъ Путяхъ" и Альманахахъ, но окончательно созрѣлъ въ своемъ романѣ „Мелкій Бѣсъ", въ которомъ и вылился весь.

Говорить о Сологубѣ, значитъ говорить объ авторѣ „Мелкаго Бѣса" и о Передоновѣ, героѣ этого романа.

Говорить о Сологубѣ, значитъ говорить о пѣвцѣ обыденщины, упивающемся ею и возводящемъ ее въ культъ, какъ Л. Андреевъ возвелъ въ культъ въ „Жизни Василія Фивейскаго" трагедію, а въ „Жизни Человѣка"—Достоевщину.

Но небольшое дарованьице, создавшее одну единственную удобочитаемую вещь, не позволяетъ говорить о Сологубѣ какъ о серьезномъ явленіи литературы, равно какъ то же соображеніе не позволяетъ говорить о мистицизмѣ обыденщины у О. Дымова, В. Брюсова, А. Блока и tutti quanti.

Такихъ „литераторовъ" неудобно ставить рядомъ съ Гаршинымъ, Достоевскимъ, Чеховымъ, Андреевымъ, Купринымъ и массой другихъ вдумчивыхъ работниковъ на литературной нивѣ и законорожденныхъ дѣтей русской литературы.

Отмѣчаемъ лишь всю ихъ плеяду, какъ послѣднее слово возрожденнаго декадентства.

Наше время—время царства буржуазіи и мѣщанства, цѣликомъ въ свою пользу обратившихъ революцію. Нельзя не отмѣтить и литературы, которую они съ собой принесли.

Грядущее пѣнкоснимательство.

ГЛАВА VII.

Грядущее пѣнкоснимательство.

Альманахи и пѣнкоснимательство.

Принято радоваться развитію у насъ Альманаховъ. Даже о самой литературѣ стали судить съ точки зрѣнія Альманаха. „Это не соціальная партія, пишетъ П. Пильскій о молодыхъ,—а анархическая группа, не дружина, а орда, не семья, а только сосѣдство, не журналъ, а Альманахъ. Не даромъ этихъ Альманаховъ появилось такъ много и не-спроста и не даромъ такъ ясно гаснетъ журналъ".

Я не вижу, чтобы журналъ „ясно гасъ" и чтобъ альманаховъ у насъ было „такъ много", и тѣмъ не менѣе нельзя скрывать, что альманахъ поглотилъ журналъ, что одно развивается на счетъ другого и въ ущербъ другому. И думаю, что ничего нѣтъ въ этомъ радостнаго. Даже больше: въ этомъ много печальнаго. Въ самомъ дѣлѣ.

Альманахи не новость въ русской литературѣ. Но еще прежде, чѣмъ появиться въ Россіи, они существовали довольно долго на Западѣ. Такъ, во Франціи съ 1765 года по 1833 г. издавался знаменитый „Almanac de muses", въ Германіи соотвѣтствовалъ „Musen Almanache", въ эпоху возрожденія нѣмецкой литературы сыгравшій свою культурную роль, какъ центръ, вокругъ котораго группировались лучшіе ея поэты и беллетристы.

Ихъ значеніе неоспоримо, но нельзя имъ не поставить въ упрекъ того, что преобладающій типъ ли-

тературы, занимавшей въ нихъ мѣсто,—былъ чисто беллетристическій, а научнымъ, критическимъ и историко-литературнымъ статьямъ, руководящаго характера, въ нихъ вовсе не отводилось мѣста. Уже тогда это было ошибкой, ибо не обязывало авторовъ къ тому или иному міросозерцанію, а публику пріучало къ „анархическому“, безалаберному чтенію, безъ точки зрѣнія, безъ серьезнаго взгляда на литературу—къ чтенію ради развлеченія.

Эта ошибка получила впослѣдствіи права! гражданства, и до сихъ поръ на Западѣ на альманахъ смотрятъ именно какъ на сборникъ „легкаго чтенія“ во время путешестія по желѣзной дорогѣ. Это—типично-французская точка зрѣнія, гдѣ отъ литературы прежде всего требуютъ увеселенія.

Не то Россія. У насъ литература, за небольшимъ исключеніемъ, никогда не ставила себѣ задачъ „канатнаго плясуна“ и не ставитъ вплоть до самаго послѣдняго времени. И тѣмъ не менѣе эта же точка зрѣнія на Альманахъ всецѣло была перенесена на русскую почву, когда патріотъ и охранитель Н. М. Карамзинъ издалъ первый въ Россіи Альманахъ „Аглая“. Какъ это ни странно, имъ руководила та же идея, которая оправдала впослѣдствіи, въ дни реакціи и упадка общественной жизни—въ 90-хъ годахъ, появленіе „Сѣверныхъ цвѣтовъ“, „Скорпіона“, альманаховъ „Грифъ“, „Сѣверныхъ цвѣтовъ Ассирійскихъ“, „Самоцвѣтовъ“ и „Хризопрасовъ“.

„Отсутствіе срочной журнальной работы, по мнѣнію Карамзина, должно было содѣйствовать строжайшему выбору пьесъ и вообще чистѣйшему, т. е. вполнѣ выработанному слогу“.

Уже тогда, въ 1794 году, были провозглашены основныя положенія „чистаго искусства“, формулированы и объяснены. „Отсутствіе срочной журнальной работы“—вотъ что ведетъ къ тому, что „такъ ясно гас-

нетъ журналъ" и появляется альманахъ. Раздѣленные болѣе чѣмъ столѣтіемъ, Карамзинъ и Пильскій могли бы подать другъ-другу руки, объединенные общимъ кличемъ: „отъ журнала къ альманаху!"

Для нихъ въ Россіи нѣтъ „срочной журнальной работы", а общество достаточно развилось морально, этически и философски, чтобы посвятить свой досугъ „вообще чистѣйшему, т.-е. вполнѣ выработанному слогу».

Мы подчеркиваемъ этотъ на первый взглядъ незначительный фактъ, чтобы тѣмъ ярче оттѣнить другую точку зрѣнія на Альманахъ, которая также имѣла свое мѣсто въ русской литературѣ. Рядомъ съ Альманахами „Для легкаго чтенія" какого-нибудь Давыдова или „Московскимъ Альманахомъ для прекраснаго пола" С. Глинки издавалась „Полярная Звѣзда" Бестужева и Рылѣева, гдѣ уже не было рѣчи объ „искусствѣ для искусства", а въ 40-хъ годахъ соперничали другъ съ другомъ „Московскій Сборникъ" и „Петербургскій"—органъ славянофильской группы во главѣ съ Аксаковымъ и западнической—И. Панаева и Н. Некрасова. Рожденные цензурными гоненіями на журналъ, эти альманахи стали сразу ареной борьбы опредѣленныхъ литературныхъ направленій, опредѣленныхъ міросозерцаній, опрѣдѣленныхъ школъ. Въ то время, какъ альманахи перваго рода только развращали мысль русскаго общества да будили алчность и назойливость „издателей-альманашниковъ", ошельмованныхъ еще Пушкинымъ, альманахи Московскій и Петербургскій отвели крупное мѣсто статьямъ научнымъ, критическимъ и даже публицистическимъ, чѣмъ только содѣйствовали умственному развитію общества. Извѣстно, что главные участники „Московскаго Сборника"—Аксаковъ, Кирѣевскіе, Хомяковъ въ свое время были лишены права редакторства и отданы подъ надзоръ полиціи, что по тогдашнему времени было большимъ лишеніемъ.

Отмѣчая эти двѣ точки зрѣнія на Альманахъ, мы не становимся всецѣло на сторону второго типа, приближающагося къ журналу, но тѣмъ не менѣе не можемъ не отнестись отрицательно и къ чисто беллетристическому и стихотворному типу, который носитъ характеръ „пѣкоснимательства", ставшаго злобой дня нашего времени.

Въ дальнѣйшемъ развитіи Альманаховъ мы видимъ тѣ же два типа.

Въ 90-хъ годахъ появились сборники съ благотворительными цѣлями по поводу народныхъ бѣдствій. Серьезная цѣль соотвѣтствовала и идейному характеру этихъ сборниковъ. Въ нихъ на ряду съ беллетристикой видное мѣсто занимали статьи научнаго содержанія и руководящія по вопросамъ историческимъ и общественнымъ. Такъ, послѣ голоднаго 91 года появились: „Въ путь-дорогу" въ пользу переселенцевъ, „Кіевскій сборникъ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая", подъ редакціей профессора Лучицкаго, „Отклики" въ пользу студентовъ Петербургскаго университета, подъ редакціей П. Ф. Якубовича (П. Я.), „Помощь голодающимъ"—научно-литературный сборникъ въ изданіи „Русскихъ Вѣдомостей", „Починъ" сборникъ о-ва любителей русской словесности.

Среди ряда другихъ выдѣлились „Къ свѣту"—научно-литературный сборникъ, подъ ред. Ек. Лѣтковой и Ѳ. Батюшкова, „На славномъ посту", цѣликомъ составленный изъ статей, посвященныхъ критику - гражданину Н. К. Михайловскому, „Помощь"—сборникъ статей и разсказовъ, и масса другихъ серьезно-просвѣтительнаго характера, какъ „Въ защиту слова", не говоря уже о такихъ сборникахъ, какъ „Очерки реалистическаго міровоззрѣнія", „Проблемы идеализма", откуда совершенно была изгнана беллетристика. Всего со временъ Карамзина и до изданія сборниковъ „Знанія"—болѣе 400 Альманаховъ.

Старый, Карамзинскій типъ Альманаха возродился вмѣстѣ съ декадентствомъ съ 1901 года и совпалъ съ незабвенной эпохой Плеве, когда „срочной журнальной работѣ“ ставились всѣ возможныя и невозможныя препятствія и все вниманіе посвящалось „чистѣйшему, т.-е. вполнѣ выработанному слогу“. Создался культъ стиля, культъ формы, въ ущербъ содержанію. Народились: „Грифы“, „Скорпіоны“, „Самоцвѣты“, „Хризопрасы“...

Немного позднѣе появились и сборники „Знанія“ съ разсказами и стихотвореніями молодыхъ авторовъ, существующіе вотъ уже восьмой годъ. Сборники „Знанія“, правда, не придавали такого значенія стилю и внѣшности, какъ модернистскіе, и не были чужды идей; однако и они остались строго консервативны въ своемъ направленіи. Составленные изъ поэзіи и беллетристики, они ревниво оберегали себя отъ критики и серьезныхъ статей по литературнымъ вопросамъ, благодаря чему наша оригинальная литература непомѣрно развилась, а критическая заглохла. Благодаря чему въ обществѣ понизился спросъ на идейную, руководящую литературу и осталось одно щекотаніе читательскаго любопытства художественными ухищреніями. Словомъ, замерло вдумчивое и внимательное отношеніе къ литературѣ и родилось пѣнкоснимательство.

Оригинальная литература, объединившаяся вокругъ Альманаховъ и не связанная никакой умственной дисциплиной, присущей журналу, стала дѣйствительно „анархической группой, не дружиной, а ордой, не семьей, а только сосѣдствомъ“. Отсюда и наплывъ литературы, немыслимой въ идейномъ журналѣ, отсюда появленіе даже чисто-„заборной“ литературы. Ничѣмъ не сдерживаемая, возможная отнынѣ для лицъ минимальнаго дарованія, но прикосновенныхъ къ капиталу, литература достигла дѣйствительно гипертрофіи.

И, несмотря на эту гипертрофію „альманашной“ литературы, число альманаховъ растетъ, любовь къ щекотанію и „пѣнкоснимательству“ усиливается какъ у читателя, какъ у писателя, такъ и у издателя. Альманахъ развращаетъ читателя, развращаетъ писателя, развращаетъ издателя... Чтобы не быть голословнымъ, приведемъ нѣсколько словъ по этому поводу одной изъ московскихъ газетъ: „Успѣхъ литературныхъ сборниковъ „Знанія“ породилъ легіонъ конкурентскихъ вожделѣній и два-три подражанія. Явились „Альманахи“ „Шиповника“, возникло „Новое Слово“, о которомъ даже старыя, престарыя „Русскія Вѣдомости“ отозвались, что „новаго“ тамъ ничего нѣтъ, наконецъ возникло на-дняхъ подобное же книгоиздательство „Земля“, угрожающее серьезной конкуренціей не только „Новому Слову“ и „Знанію“, но и самому „Шиповнику“—наиболѣе модному изъ всѣхъ предпріятій этого новаго типа... Вся суть и весь успѣхъ и даже идея все возможныхъ альманаховъ построена исключительно на погонѣ за одними и тѣми же литературными именами... Разница, можно сказать, только въ обложкѣ. У однихъ — зеленая, у другихъ — голубая съ зеленымъ. Это внутреннее единообразіе сборниковъ въ концѣ-концовъ ведетъ только къ обогащенію бумажныхъ фирмъ и создаетъ нежелательныя въ литературной средѣ явленія. Прежде всего — полная безыдейность... Положеніе писателей съ именами поистинѣ трагическое: предпріимчивые альманашные издатели не только сами не спятъ въ поискахъ „гвоздей“ для сборниковъ, но и не даютъ спать другимъ. Летятъ телеграммы, эстафеты и бѣгаютъ разсыльные, почтальоны, кумовья, тести, свояченицы, роются въ разномъ гимназическомъ хламѣ, какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшемъ отъ глаза конкурента и, въ концѣ-концовъ, когда исчерпаны всѣ обычныя средства—прибѣгаютъ къ пріемамъ, нашедшимъ себѣ квалификацію въ уголовномъ кодексѣ“ („Нашъ Понедѣльникъ“).

Словомъ, полная картина разложенія литературныхъ нравовъ, въ которомъ повинны и сами „гвозди“-литераторы, зачастую продающіе свои рукописи за разъ въ нѣсколько издательствъ, какъ показываетъ недавній случай съ Куприинымъ и его „Суламиѳью“. Насколько вредно отражается этотъ вихрь нѣкоснимательства на самихъ авторахъ, ясно показываетъ „Тьма“ Л. Андреева, — вещь совершенно непродуманная, необработанная, вѣроятно еще въ черновикѣ попавшая въ Альманахъ—не даромъ самъ Андреевъ ей недоволенъ.

Наводненіе книжнаго рынка зачастую хламомъ беллетристики и поэзіи съ одной стороны и отмираніе литературной критики—съ другой — вотъ къ чему привело насъ нѣкоснимательство конца вѣка. Куча альманаховъ часто съ однороднымъ содержаніемъ и внѣ всякаго міросозерцанія, безпринципныхъ и безыдейныхъ, развращающихъ читателя, писателя и издателя— вотъ наше достояніе конца вѣка. И еще удивляются разброду современной общественной мысли! Удивляются тому, что Михайловскій былъ послѣднимъ литературнымъ критикомъ, которому до сихъ поръ нѣтъ наслѣдника.

Вполнѣ понятно. Когда въ культъ возведено нѣкоснимательство, когда самыя задачи критики состоятъ въ томъ, чтобы „бѣжать, догонять и влюбляться“, когда палъ спросъ на идейную литературу, на міросозерцаніе и вся суть лишь въ „красотѣ“, „эстетизмѣ“, „чистѣйшемъ выработанномъ слогѣ“, а не въ содержаніи— откуда ждать иного?

Вполнѣ понятно, почему наша критика такъ бѣдна, скудна и убога и почему гнѣздится она на задворкахъ литературы. Вполнѣ понятно, почему наши альманахи гоняются за дарованіями и бездарностями въ области художественной литературы, не успѣвая поставлять „легкое чтеніе“ для прекраснаго и непре-

краснаго пола, и почему такъ избѣгаютъ заполнять свои страницы серьезными статьями по литературѣ и искусству. Взявъ у журнала одинъ пѣнки въ видѣ художественной литературы и отбросивъ все остальное какъ ненужный потребителю хламъ, который и прежде часто оставался неразрѣзаннымъ, какъ, бывало, у Обломова, Альманахи только приспособились къ вкусу потребителя, откладывая борьбу съ обломовщиной и обывательщиной ad calendas, и тѣмъ сослужили дурную службу русскому обществу. Въ этомъ смыслѣ альманахъ, снисходя до вкуса потребителя „примѣнительно къ подлости“ и потакая любви его къ пѣнкоснимательству и щекотанію, является фактомъ печальнымъ и чисто реакціоннымъ.

Поэтому никакъ нельзя привѣтствовать развитіе у у насъ альманашнаго искусства, и если бы только имѣло какой-либо практическій смыслъ, слѣдовало бы провозгласить кличъ—отъ „орды“ къ „дружинѣ“, отъ „сосѣдства“ къ „семьѣ“, отъ „альманаха“ къ „журналу“.

Критика нашего времени.

ГЛАВА VIII.

Критика нашего времени.

Критикъ-декадентъ—Петръ Пильскій.—Критикъ-дилетантъ—Корнѣй Чуковскій.—Оскаръ Норвежскій.—Критикъ-ницшеанецъ—Арскій (Н. Я. Абрамовичъ).—Эстетическая критика.—Евгеній Аничковъ.—А. Горнфельдъ. Ивановъ-Разумникъ.

Чернымъ, тоскливымъ годомъ для русской литературы былъ 1904 годъ. Двѣ смерти одна за другой, двѣ невознаградимыя потери, незамѣнимыя утраты: Чеховъ и Михайловскій...

Отъ этихъ ударовъ всѣмъ тѣломъ вздрогнула русская литература. Вздрогнула и подалась.

Но вотъ яркій примѣръ радостный и отрадный, который показываетъ, насколько они еще живы. Четыре года спустя, въ день годовщины смерти Н. К. Михайловскаго довелось прочесть о немъ скорбно любящее слово, рѣзко и прямо указавшее, что́ мы въ немъ потеряли:

— „Была огромная центральная фигура, которая на цѣлыя десятилѣтія русской жизни наложила печать своего духа, которая нѣсколькимъ поколѣніямъ дарила плодъ своихъ исканій. И въ этой фигурѣ вмѣщается поистинѣ богатый „городъ“ мыслей, чувствъ, настроеній, переживаній, объединенныхъ одной философско-публицистической идеей высшей человѣчности, одной господствующей идеей *личности*, утверждающей свое господство въ мірѣ... Работа, которую производилъ Михайловскій, въ теченіе 40 долгихъ лѣтъ не выпускавшій пера изъ рукъ своихъ, всосалась въ

плоть и кровь русскаго интеллигентскаго сознанія и надолго опредѣлила ходъ россійской общественности... Стоило отойти на два шага отъ этой фигуры, чтобы получить неотразимое впечатлѣніе, что она отлита изъ цѣльнаго и крѣпкаго металла, выдержавшаго—мы это знаемъ—всѣ непогоды и удары измѣнчивой судьбы"... Михайловскій какъ „городъ на горѣ" свѣтилъ своими огнями — огонь его не меркъ. Ни ядовитые гады, ни кровожадныя птицы не въ силахъ были исторгнуть крикъ отчаянія изъ устъ лоцмана, который сорокъ съ лишнимъ лѣтъ правилъ рулемъ...

Ушла эта фигура. И вмѣстѣ съ ней исчезла та расположенная на „горѣ" центральность, которая не давала мысли растекаться по мелкимъ ручейкамъ, которая концентрировала проблемы, обнажая наиболѣе жгучія ихъ стороны. Конечно, личность въ исторіи не все. Но она многое. Есть индивидуальности, которыя творятъ прообразы грядущаго. Они — кристаллы, вокругъ которыхъ происходитъ процессъ формированія общественности въ широкомъ смыслѣ этого слова, которые и притягиваютъ къ себѣ и направляютъ по опредѣленному руслу соки жизни. Михайловскій былъ такимъ центральнымъ кристалломъ, къ которому, какъ къ „городу на горѣ", тянулись сердца и надежды.

Вотъ почему и потеря его была такъ чувствительна. Смерть скосила лоцмана, который велъ судно, и унесла руль. А въ насъ заложена, быть можетъ, неистребимая тоска по такимъ „большимъ" людямъ, которые способны занять цѣлые горизонты и централизовать наши воли въ немногихъ точкахъ. И на вопросъ не ждемъ ли мы при нынѣшнемъ разбродѣ вновь появленія „большого" человѣка, я не рѣшаюсь отвѣтить отрицательно... („Нашъ День", 28 янв. И. Брусиловскій. „Поминки").

Дивныя, глубокія, прочувствованныя слова. Приговоръ черезъ четыре года послѣ смерти, судъ исторіи — во имя котораго стоило работать...

Не въ связи ли со смертію своего лоцмана потеряла дорогу русская литература?

Четыре года прошли со дня его смерти. И какъ далеко ушла она отъ своей цѣли, пути и идеи. Какъ отклонилась, какъ измѣнила...

Захлебнулась и утонула въ морѣ Анархіи, въ которое вынесла ее буря, безсильную, легкую какъ щепку, послушную каждой шальной и игривой волнѣ ладью безъ лоцмана, безъ руля и вѣтрилъ...

Четыре года анархіи...

Въ нашей литературѣ много и, пожалуй, слишкомъ много грустнаго. И самое грустное это говорить о тѣхъ, кто пришелъ на смѣну ушедшимъ. Какъ-то сразу за Михайловскимъ сошли со сцены и второстепенные критики, регулировавшіе литературную мысль. Замолкли Скабичевскіе и Оболенскіе, ушли Шулятиковы и Андреевичи, Боцяновскіе, Треплевы, Волжскіе, А. Б. и даже Луначарскіе...

Цѣлая армія... Большая братская могила...

Правду говоритъ Пильскій: „революція создала длинную похоронную процессію не только въ жизни, но и въ искусствѣ, въ литературѣ и критикѣ".

Только Пильскій радъ этому: „освободились мѣста, заговорили тѣ, которыхъ реакція держала на задворкахъ".

А мы не рады...

Слишкомъ рано поспѣшили они на „освободившіяся мѣста", слишкомъ рано заговорили и оттого такъ рано умерли...

Мотыльки... Подёнки...

Создался даже особый типъ спеціально газетнаго критика, и критика не возродилась съ ними, а умерла.

Умерла критика и родилась библіографія.

Умерли лоцманы, пришли мотыльки...

Пильскій... Чуковскій...

Бѣдные, они сами себя похоронили, едва проживъ годъ. Подёнки...

1907 годъ былъ годомъ ихъ рожденія на свѣтъ. „Въ этомъ году, пишетъ И. Ильскій, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ затишья произошло оживленіе въ критикѣ". („Вчерашнее меню"). Это они о себѣ говорятъ...

А въ февралѣ 1908 года они уже умерли. Ихъ книги и ихъ статьи еще читались, а они уже умерли...

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ это не „выписка изъ больницы", гдѣ они доживали свои послѣдніе дни, не „свидѣтельство на погребеніе":

„Если бы я сейчасъ въ литературѣ встрѣтилъ узкаго, фанатическаго писателя, пускай сектанта, пускай изувѣра, я бы поклонился ему въ ноги и возопилъ бы ему: „ей, гряди!"

„Хоть немного бы изувѣрства, хоть каплю какого-нибудь благодѣтельнаго непониманія. Пропали въ нашей литературѣ всѣ лозунги, партіи, программы, принципы, идеологіи, теченія, направленія, воззрѣнія и, порою кажется, что если кто заявляетъ о себѣ, будто онъ народникъ, эстетъ или іудофобъ — онъ только притворяется изъ стыдливости. А на самомъ дѣлѣ онъ такъ же, какъ и мы, подозрительно свободенъ отъ всякаго фетиша".

Если свобода отъ „фетиша" есть свобода, то позвольте пожелать намъ рабства. Я хочу быть рабомъ какой-нибудь программы, служителемъ какой-нибудь темы, но мнѣ нужна единая. Жутко жить безъ темы. Хоть бы пріютиться гдѣ-нибудь, подъ сѣнью какого-нибудь лозунга, самаго плохонькаго; хоть бы куда-нибудь уйти отъ этихъ случайныхъ темъ, по случайнымъ поводамъ, со случайными методами и случайными критеріями. Хоть бы какъ-нибудь освободиться отъ своей свободы.

„Изъ журналовъ вывелась полемика. Гдѣ эти милые народники и марксисты? Ортодоксы и ревизіонисты?

Символисты и реалисты? Хоть какого-нибудь „ста" „анца", „ента". Гдѣ-то спорятъ о синдикализмѣ, но глухо, келейно, по-домашнему. Въ жизни нашей интеллигенціи исчезло всякое „во имя", и, повторяю, если бы я встрѣтилъ сейчасъ среди пищущихъ ну хоть изувѣра, сектанта, фанатика, я пошелъ бы и сталъ бы осломъ его, чтобы онъ въѣхалъ на мнѣ въ Іерусалимъ, и всѣ кричали бы ему „осанна", и повели бы его на Голгоѳу, ибо безъ Голгоѳы развѣ возможно нашей литературѣ остаться хотя бы на одну минутку?

„Хоть бы маленькую соорудить Голгоѳу, крошечную, двухвершковую какую-нибудь, игрушечную, чтобы собрать послѣднія крохи фанатизма и понести ихъ туда, — а то безъ нея мы всѣ разсыпаемся, разрыхляемся, превращаемся въ порошокъ и сводимъ на нѣтъ наше духовное бытіе.

„Это пришло мнѣ въ голову, когда я читалъ новую книгу г. А. Г. Горнфельда „Книги и люди". Солидная, благообразная и почтенная книга вдругъ ужаснула меня, и какъ уродъ, увидѣвшій въ зеркалѣ свое же изображеніе, я испуганно отшатнулся отъ нея и безъ конца повторялъ:

— Чуръ меня, чуръ меня, сгинь, пропади!

Но она не исчезаетъ и рядомъ съ ней возникаютъ другія. Я буду писать только о Горнфельдѣ, но читатель пусть понимаетъ, что то же самое я могъ бы написать объ Айхенвальдѣ, объ И. Ѳ. Анненскомъ, объ Евгеніи Ляцкомъ, о самомъ себѣ и десяткѣ другихъ.

„Всѣ мы больны одной болѣзнью, и пора уже поставить діагнозъ".

И далѣе, уже въ концѣ:

„О Горнфельдѣ я кончилъ. Но думаю, что писалъ не о Горнфельдѣ, а о всей современной критикѣ, въ томъ числѣ и о себѣ. Нѣтъ фанатизма въ нашихъ мысляхъ, нѣтъ органическаго начала, которое всѣ бы эти мысли связывало. У всѣхъ насъ множество темъ,

по нѣтъ темы. Мы всѣ говоримъ разное: умные—умное, глупые—глупое, но все это совсѣмъ не то, что нужно. *Нужно быть*, укладъ, цѣльность жизненнаго идеала — и наша жизнь этого лишена. Насъ пожалѣть нужно, а не бранить". („Апокозъ случайности").

Да, господа, жалко. Небывалое въ исторіи русской критики покаяніе и это всенародное, публичное покаяніе искупаетъ вину ихъ передъ русской литературой, къ которой они относились нечестно и честно покаялись.

И намъ жалко и грустно, когда Пильскій въ „Отвѣтѣ Ѳ. Маловѣру", упрекнувшему его въ измѣнѣ своимъ собственнымъ писаніямъ, говоритъ: „Я вбилъ колъ въ могилу моихъ былыхъ симпатій". „И въ этихъ строкахъ хотѣлось быть только искреннимъ, и это тѣмъ болѣе, что и Маловѣръ, мой обличитель, проявилъ въ своей статьѣ всѣ признаки полемической порядочности: добросовѣстнаго чтенія статей своего противника и тоже искреннее желаніе изслѣдовать вопросъ, а не преслѣдовать человѣка"...

Какъ это грустно звучитъ... Гдѣ былая увѣренность, смѣлость, бойкость мысли и рѣчи?

Мы всѣ видѣли противорѣчія Пильскаго на каждомъ шагу и холопство его и Чуковскаго передъ ихъ литературными господами и все-таки съ удовольствіемъ читали статьи ихъ... Такъ молодо! Такъ горячо и юно! И хотѣлось простить имъ многое за это...

Мнѣ представляется тихое, грустное лицо русской литературы, съ нѣжнымъ упрекомъ глядящей на нихъ. Кажется, будто шепчетъ она:

Зачѣмъ вы такъ рано пришли? Ахъ, господа!

„Прежде чѣмъ вы нашли меня, вы еще не искали себя"...

И совсѣмъ тихо, не какъ грозный Заратустра, умолкаетъ.

Что погубило Чуковскаго и Пильскаго?

Мнѣ не хотѣлось бы ихъ обижать. Но не высказать моего глубокаго убѣжденія я не могу.

Декадентство, купившее ихъ красоту и невинность и грубо и нагло растлившее ихъ мысль и, надругавшись надъ нею, обратившее ихъ въ своихъ судомоекъ и лакеевъ.

Его отжившей дряхлости нужны были новыя, молодыя силы, и оно ихъ купило и заставило служить съ еще неразвившимися формами и неокрѣпшими членами... Дало имъ свое лживое и хитрое міросозерцаніе. А оно оказалось пуфомъ...

И вотъ мы присутствуемъ при небывалой картинѣ въ исторіи русской журналистики — картинѣ всенароднаго признанія собственнаго банкротства.

Чуковскій открыто сознается въ отсутствіи въ его головѣ стройной, цѣльной и ясной системы міровоззрѣнія, въ отсутствіи просто, наконецъ, міросозерцанія. Пильскій всенародно доказываетъ свое „право на ошибки“.

Разумѣется, ни тотъ, ни другой не могутъ и не должны претендовать послѣ этого на довѣріе читателя и тѣмъ паче на руководительство литературы.

Ихъ замѣтки случайны, ихъ методы, ихъ темы случайны, ихъ появленіе на литературномъ горизонтѣ тоже случайно.

Умирающему и разлагающемуся декадентству, импортировавшемуся всей русской критикой, служившему посмѣшищемъ для русской журналистики, были настойчиво необходимы свои критики, которые за приличное вознагражденіе проводили бы „своего человѣка“ и разносили чужихъ. Такъ оно и вышло. За ихъ словами не скрывалось ни искренней любви, ни міросозерцанія. Въ нихъ говорила лавочка.

Едва оперившійся въ „Вѣсахъ“ Чуковскій тотчасъ былъ выпущенъ въ большой свѣтъ и заговорилъ отъ имени русской литературы, невзирая на то, что не

имѣлъ съ ней ни органическаго, ни интеллектуальнаго сродства, какъ это ярко сказалось въ его статьѣ „Евреи и русская литература“, гдѣ онъ, по собственному признанію, высказалъ „грубо-націоналистскую точку зрѣнія“ („Апофеозъ случайности“). И еще ярче въ его методахъ, не имѣющихъ ничего общаго съ критикой, какъ она понималась въ Россіи со временъ Бѣлинскаго и до Михайловскаго.

Пересказъ, выкрикиваніе и часто голый перечень именъ, восторги передъ несуществующими красотами, методъ, сводившійся къ этимъ тремъ словамъ: „бѣжать, догонять и влюбляться“— вотъ въ чемъ вся критика какъ Пильскаго, такъ и Чуковскаго. Полное отсутствіе исторической точки зрѣнія, боязнь, бѣгство отъ исторіи, которая слишкомъ рѣзко указала бы имъ ихъ мѣсто— характерная черта ихъ обоихъ.

Оба они—сплошные „Календари писателя“ съ откровенно-безстыднымъ афишированіемъ однихъ и замалчиваніемъ другихъ— законное порожденіе анархіи и альманаха, маніаки нѣкоснимательства, крикуны-рекламисты безъ всякаго умственнаго багажа.

Декадентство ничего иного не могло создать кромѣ нихъ и создало только ихъ.

Въ нихъ же нашло и гибель свою.

Въ началѣ 1908 года Чуковскій издалъ часть своихъ газетныхъ фельетоновъ, назвавъ ихъ почему-то „Отъ Чехова до нашихъ дней“. Какъ-будто тамъ есть какая-то нить, незримо проводимая черезъ цѣлое десятилѣтіе! Какъ-будто тамъ есть какая-то исторія, какое-то „отъ“ и „до“!

Чуковскій началъ съ рекламы и кончилъ рекламой. Его литературная дѣятельность какая-то сплошная подтасовка, подмѣнъ и подлогъ.

Характерно, что наиболѣе яркіе его фельетоны, въ родѣ „Въ банѣ“, „Чудо“, гдѣ онъ, вопреки воли начальства, смѣется надъ декадентствомъ и порнографіей

(„Ноздовая гастрономія"), равно какъ и тѣ, гдѣ высказываются его общіе взгляды на искусство и литературу — выпущены.

Безусловно болѣе крупное мѣсто въ критической литературѣ занялъ А. Г. Горнфельдъ — выученикъ Н. К. Михайловскаго и сотрудникъ „Русскаго Богатства".

Но и о немъ много горькой правды высказалъ Чуковскій въ своей статьѣ „Анонсозъ случайности":

„Г. Горнфельдъ — эстетъ.

Онъ называетъ „событіями своей жизни" Дузэ, Достоевскаго, Потебню, Бетховена (109 стр.). Онъ воспѣваетъ Дункань. Онъ (сотрудникъ „Русскаго Богатства"!) рѣшается вслухъ заявить, что если бы декаденты были хороши, онъ „простилъ бы имъ „служеніе реакціи" (132 стр.). („Свободн. Мысли № 42").

Во всякомъ случаѣ „Книги и люди" — сборникъ его статей, помѣщавшихся тоже въ газетахъ, имѣетъ большее культурное значеніе, чѣмъ сборникъ фельетоновъ Корнѣя Чуковскаго.

Въ эстетизмѣ соприкасается съ Горнфельдомъ Евгеній Аничковъ — приватъ-доцентъ университета, принимающій участіе въ изданіи „Исторіи русской литературы" вмѣстѣ съ Бороздинымъ и Овсянико-Куликовскимъ.

Выдѣлился своими „Книгами Отраженій" И. Ѳ. Анненскій, также не чуждый „Русскому Богатству". Немного въ сторонѣ стоитъ Оскаръ Норвежскій, издатель нашумѣвшаго „Литературнаго Календаря-Альманаха", принципіальный противникъ Корнѣя Чуковскаго (см. его статью „Было бы бойко", С.-Пб. „Новости Дня" № 2) и авторъ анкеты о критикѣ. Иногда появляется на горизонтѣ декадентствующій марксистъ Арскій (Н. Я. Абрамовичъ). Пишетъ и читаетъ лекціи Ивановъ-Разумникъ.

Но все это... не то!

„Нѣтъ фанатизма въ нашихъ мысляхъ, нѣтъ органическаго начала, которое всѣ бы эти мысли связывало".

„Насъ пожалѣть нужно, а не бранить".

Не болѣе интересенъ якобы оппозиціонный всей такъ называемой „молодой литературѣ" А. Измайловъ, извѣстный пародистъ и критикъ „Русскаго Слова", выпустившій недавно рядъ своихъ статеекъ о „молодыхъ" подъ заглавіемъ „На переломѣ".

Какъ-то не вѣрится, чтобы изъ нихъ выработались серьезные, дѣльные критики.

Такова вся наша современная критика. Вѣрнѣе—библіографія, ибо въ ней нѣтъ общей единой идеи и нѣтъ цѣльнаго и стройнаго міросозерцанія.

„Грустную думу наводитъ она"...

Вотъ уже четыре года, какъ критика не имѣетъ ни именъ, ни лицъ.

Не критика, а пустое мѣсто.

„Освободились мѣста", но никто ихъ не занялъ.

И разсчитывать не на кого.

Намѣчающіяся перспективы.

ГЛАВА IX-ая.

Намѣчающіяся перспективы.

Разложеніе декадентства. Наслѣдники. Викторъ Муйжель. — А. Купринъ. Л. Андреевъ. В. Корчемный.

Еще осенью 1907 года П. Пильскій писалъ:

„Все будущее русской литературы и русской поэзіи отнынѣ должно пойти, какъ отъ основной точки отправленія—отъ декадентства. Всѣ великія надежды русской поэзіи—отъ корней послѣдняго десятилѣтія... Создано не теченіе, а новый фундаментъ всей будущей литературы, всего будущаго русскаго искусства, и теперь уже не обойтись безъ элементовъ Брюсова и Бальмонта, Вяч. Иванова и Бѣлаго, какъ имъ нельзя было обойтись безъ элементовъ Фета и Тютчева, Пушкина и Баратынскаго, Лермонтова и даже Некрасова". („Наслѣдники").

А уже къ началу 1908 года онъ „вбилъ колъ въ могилу своихъ былыхъ симпатій" и написалъ свой знаменитый „Птичникъ молодыхъ":

„Литературная исторія слишкомъ разборчива, очень требовательна, и она совсѣмъ не похожа на птичникъ „молодыхъ", изъ которыхъ—теперь это съ каждымъ днемъ становится все яснѣй—ни одинъ не попадетъ даже въ ея прихожую, ея переднюю, въ ея примѣчанія, въ ея мелкій шрифтъ".

„Отъ нихъ ждали и не дождались. Они сумѣли обѣщать, но не сумѣли выполнить. Всѣ возлагавшія на нихъ надежды, оказались обманутыми. Они дали задатокъ, но не уплатили по счету той вѣры, которая

имъ была подарена. Ихъ сила хватила на маленькую блестку, но ждали пламени. Раскаиваться горько и тяжело, но лучше позднее разочарованіе, чѣмъ ненужная приверженность старой и несбывшейся мечтѣ".

„Озлобленные неудачники, мелкотравчатые пасквилянты, глухіе и слѣпые редакторы, журнальные оборотни, ночныя совы, раки на безрыбьи, ставшіе рыбами, они знаютъ одинъ путь: на площадную эстраду, и безъ права на извѣстность писательскую, куютъ себѣ счастье изъ черепковъ разбитаго сосуда страсти.— это они-то, безкровные, анемичные уроды, карикатуры на жизнь, человѣка и его красоту, съ малокровнымъ мозгомъ, съ вспухнувшей печенью и сладко-тонкими голосами скопцовъ и кастратовъ! Всѣхъ переженили. Отцовъ на дѣтяхъ, братьевъ на сестрахъ, сыновей на матеряхъ, женщинъ на женщинахъ, мужчинъ на мужчинахъ. И воображаютъ, что это ужасно какъ хорошо, смѣло, лихо и ново. Но этотъ путь конечнѣй всякаго другого, его предѣлъ тутъ рядомъ, черезъ шагъ".

„Все это—сознательныя штрючки и штучки, долго и мучительно надуманныя, нанизанныя, наверченныя-навороченныя исторійки, черные чортики, вырѣзанные изъ картона, зловѣщія старухи, состроенныя на тѣни изъ пяти пальцевъ, а все вмѣстѣ—комбинація изъ трехъ. Ничего не чувствуютъ эти люди, никуда не стремятся. Ихъ мысль ни надъ чѣмъ не задумывается съ болью и ужасомъ, а сердце ихъ никогда не обливалось горечью, ихъ строки не знали ни соковъ нервовъ, ни крови сердца, ни криковъ души. Ихъ вдохновеніе—стекляннно-спокойное, и потому они производятъ только впечатлѣніе—сухого отчаянія. Ихъ цапкія руки тянулись все время не къ больной, не къ милой, не къ родной и близкой темѣ, не къ темѣ-другу, а къ темѣ-блудницѣ, уличной, вульгарной, крикливой, шумной автомобиль-темѣ.

„Они вѣрно зачуяли духъ спроса и выдвинувшее предложеніе: раздѣвали до гола женщину, мудрили надъ ея тѣломъ, козлинымъ манеромъ попрыгивали около него, но и въ это время думали не о тѣлѣ, а о томъ, какъ бы эти прыжки сдѣлать понищеанистѣй и полубокомыслешнѣй... Долгое время думалось, что это протестъ — протестъ противъ буржуазіи и условной морали, но это былъ протестъ противъ ея равнодушія къ господамъ „молодымъ" авторамъ.

„Намъ не о чемъ разговаривать съ этими людьми, все больше и больше утрачивающими съ каждымъ днемъ свои права даже на незамѣтное существованіе въ русской литературѣ, которая безъ нихъ обойдется, жила и проживетъ. Миръ праху ихъ! („Свобод. Мысли" 24 дек.).

Еще раньше, тогда, когда Пильскій упивался декадентами, Чуковскій писалъ уже о разложеніи декадентства, изображая нѣсколько „отвлечено" этотъ процессъ:

„Тутъ случилось нѣчто необычайное. Сорвался нѣкто изъ угла, снялъ поясъ, сдѣлалъ изъ него плеть и закричалъ:

— Ступайте вонъ изъ храма, вы, стилизаторы, себялюбцы и сластолюбцы, оргіасты и педерасты, сосущіе всѣхъ матокъ россійской словесности, — храму ли подобаютъ ераланшные ваши козловаки!

— Вонъ изъ храма, ступайте вы, хулиганы, балаганщики, карьеристы, банщики, лесбіанки, вонъ, вонъ, вонъ! Проказники, шалуны, бездѣльники, капризники и глубинники, вонъ изъ храма!

И всѣ смутились.

Но что было разительнѣе всего,это то, что нѣкто, изгонявшій изъ храма, былъ—Андрей Бѣлый. А за нимъ, распаленная тѣмъ же праведнымъ гнѣвомъ, торопилась, размахивая руками г-жа Зинаида Гиппіусъ. Недавніе озорники, громче всѣхъ нѣкогда кричавшіе:

— Брекекексъ!

теперь стали одними изъ самыхъ строгихъ ревнителей стараго благочестія.

Было же это только началомъ чудесъ. Главное чудо въ томъ, что съ той самой секунды, какъ всѣ эти сенсуалисты, моменталисты, иллюзіонисты стали русской литературой—а это случилось года полтора назадъ, не далѣе,—какъ они всѣ, нѣкогда столь дружные, набросились другъ на друга съ явнымъ стремленіемъ откусить другъ другу голову и это во имя все той же вѣчной героини русской литературы—„правды". („Чудо" „Свобод. Мысли" 20 авг.).

Дѣйствительно, мы знаемъ уже статью А. Бѣлаго „Поэтъ мрамора и бронзы", гдѣ онъ предвидитъ разложеніе декадентства въ „знаньевской" литературѣ,—мысль, позднѣе повторенная А. Блокомъ съ еще большей рѣзкостью и вразумительностью—и также отрекается отъ „молодыхъ", какъ и Чуковскій, какъ и Пильскій.

Раньше всѣхъ отрекся наиболѣе чуткій—Чуковскій, а Бѣлый, Пильскій, Блокъ—въ декабрѣ. Декабрь 1907 года — роковой мѣсяцъ для существованія декадентства. Въ этомъ мѣсяцѣ оно было погребено его же друзьями.

Любопытно, во имя чего это дѣлалось? На этотъ вопросъ какъ нельзя опредѣленнѣе отвѣчаетъ А. Блокъ въ статьѣ о „безпочвенномъ" Чуковскомъ. Онъ прямо и смѣло отвѣчаетъ на этотъ вопросъ:

Куда идетъ декадентство?

„Символисты идутъ къ реализму, потому что имъ опостылѣлъ спертый воздухъ „келій", имъ хочется вольнаго воздуха, широкой дѣятельности, здоровой работы. Въ этомъ есть что-то родственное „хожденію въ народъ" и русскихъ интеллигентовъ. Не даромъ у всѣхъ насъ на глазахъ дѣятельность А. М. Добролюбова, да и не одного его, и этотъ примѣръ ярко указываетъ на то, что движеніе русскаго символизма къ

реализму началось съ давнихъ поръ, чуть ли не съ самаго зарожденія русскаго символизма. Я думаю, что характерны для этого движенія и дѣятельность „Новаго Пути“ и „религіозно-философскихъ собраній“ (такъ потускнѣвшихъ теперь) и ходъ творчества многихъ писателей-символистовъ: Д. С. Мережковскаго, который прошелъ путь отъ „Вѣчныхъ спутниковъ“ до „Грядущаго хама“; Н. М. Минскаго, который оставилъ когда-то „гражданскіе стихи“ для новой поэзіи („Я пѣсни старыя бросаю, молитвы новыя пою, тебѣ, далекой, гимнъ слагаю, тебя свободную люблю“), а въ послѣдніе годы опять возвратился къ „общественности“ и въ стихахъ, и въ философскихъ статьяхъ; К. Д. Бальмонта, который, написавъ книгу „будемъ, какъ солнце“, одно изъ величайшихъ твореній русскаго символизма— ищетъ „славянскій свирѣли“ и стремится къ большей и большей простотѣ; Валерія Брюсова, который отъ „журчащей Гадавари“, и отъ книгъ, которыя были „краше розъ“,— дошелъ широкимъ путемъ до „современности“ и „повседневности“... Словомъ, *движеніе русскаго символизма къ реализму и полное несходство его, въ этомъ отношеніи, съ западнымъ, уже представляютъ общее мѣсто.* Современные символисты ищутъ простоты, того вѣтра, который такъ любилъ покойный Коневской, здороваго труда и вольныхъ думъ. Это обѣщаетъ молодость,—и въ этомъ заключается лучшая и истинная сторона дѣла, встрѣча символистовъ съ реалистами. Строить по этому поводу какія-нибудь теоріи и предположенія, мнѣ кажется, безплодно, потому что здоровый фактъ—„налицо“. (А. Блокъ.“ „О современной критикѣ“. „Часъ“ 4 дек.).

Въ такихъ выраженіяхъ сами декаденты поставили, наконецъ, долго желанный крестъ надъ собой послѣ десяти лѣтъ кривляній, фиглярства и шутовства.

Понадобилось 10 лѣтъ, чтобы убѣдить ихъ въ нелѣпости ихъ затѣи—безчестить и насиловать русскую литературу своимъ вторженіемъ.

„Миръ праху ихъ!"

Характерно, что то же тяготѣніе къ реализму овладѣло и нашими критиками-эстетами, въ родѣ Евгенія Аничкова и Горнфельда.

Въ своей статьѣ „Религія жизни" Аничковъ уже прямо зоветъ „назадъ, къ Чехову!" „Назадъ: къ Успенскому!"

„Неужели—о Чеховѣ?" спрашиваю я себя и мнѣ самому не вѣрится: беретъ сомнѣніе. Почему? Казалось бы нѣтъ никакой причины вспоминать теперь еще разъ о нѣжномъ поэтѣ тоски и каждодневности. Когда, въ послѣдній пріѣздъ московскаго Художественнаго театра, мы еще разъ смотрѣли его „Три сестры", даже слышались голоса, что Чеховъ пережитъ, что настроенія его теперь такъ далеки отъ насъ.

Но меня непреодолимо влечетъ говорить именно о Чеховѣ, и я прошу меня выслушать.

Мнѣ даже кажется, что въ это нудное, пасмурное лѣто общественной опѣпенѣлости нѣтъ ничего болѣе *современнаго*, я скажу, ничего болѣе *своевременнаго*, чѣмъ Чеховъ. Мы до одури, сидя надъ нашимъ „разбитымъ корытомъ" читаемъ передовицу за передовицей, гдѣ—все то же, все пережевываются и перемалываются все тѣ же.

Какимъ это образомъ? Какимъ колдовствомъ? Какъ слѣдствіе какихъ это ошибокъ, случилось съ нами, что вдругъ такъ неожиданно рухнули надежды? И мы стали загадывать: да, можетъ быть, лѣтъ черезъ пять... Да, нельзя себѣ дѣлать особыхъ иллюзій — не скоро оправимся мы, не скоро опять закипитъ и засверкаетъ все вокругъ живительной радостью и побѣдо-

носной борьбой. Ноетъ сердце и нѣтъ лѣкарства. Не сказано ни одного цѣлебнаго, жизненно-важнаго слова. Произнесены всѣ рѣчи и выработаны всѣ программы, испробованы всѣ тактики... И ничего. И вотъ, мнѣ кажется, что зелье, которое еще могутъ дать слово и мысль, — оно опять въ той, углубленной чашѣ таинственной мудрости, которая носитъ это священное имя — Чеховъ.

А мы, вѣдь, право, совсѣмъ позабыли объ обывателѣ. Насъ не пустили къ нему съ нашими словами, мы стали отворачиваться отъ него, недостаточно помня, что онъ всегда, неизмѣнно, совсѣмъ настоятельнымъ образомъ нуженъ намъ. О, мы правы, презирая обывателя съ высей дерзающей морали и всасавшихся въ плоть и кровь идеаловъ (извиняюсь за старомодное слово), управляющихъ поведеніемъ вмѣсто личныхъ выгодъ. Жалокъ обыватель. Онъ робокъ, безпринципенъ, мелко-хитеръ, онъ любитъ теплыя квартирки, гдѣ пахнетъ жаренымъ лукомъ... Но, вѣдь, безъ него, какъ безъ рукъ. Революція яркихъ, сильныхъ и увлеченныхъ — всегда только вспышка. И надо растормошить, вдохновить, тащить за собой обывателя, чтобы вмѣсто вспышки получилось обновленіе.

Мы превзошли розни интеллигенціи и народа: дологъ былъ путь къ тому и разнообразны, многочисленны этапы: кающееся дворянство, народничество, участіе въ рабочемъ движеніи, участіе въ земствѣ и малыя дѣла,— такъ назовутъ эти этапы. И самое важное во всемъ этомъ было: Глѣбъ Успенскій. Но блаженный народникъ, онъ именно проникся религіей жизни, и встали крестьянинъ и рабочій во плоти передъ нашимъ сознаніемъ, встали живые крестьянинъ и рабочій, я скажу, встали въ своемъ „обывательствѣ", и тогда исчезла рознь. Нѣтъ ли указанія тутъ и для насъ? Не надо ли и теперь такъ же пытливо всмотрѣться въ осложнившуюся жизнь нашу, какъ всмо-

трѣлся Глѣбъ Успенскій въ осложнившуюся жизнь народа. Глѣбъ Успенскій—это была великая провѣрка народническихъ воззрѣній, и оттого его одинаково цѣнятъ и народники, и марксисты. Не совершится ли теперь такой же провѣрки? Правда, какъ-то нѣкогда. Все напряжено. Постоянная живая кровь заститъ взоры. Но тутъ идетъ на помощь ужасная во всѣхъ другихъ примѣненіяхъ формула:

— „Привы-ы-кнешь!“

На работу новой провѣрки, безъ ложнаго стыда и отбросивъ усталость ради вотъ этого: религіи жизни. („Своб. Мысли“ 3 сент. 1907 г.).

Отвѣтомъ на этотъ призывъ были Викторъ Муйжель, В. Корчемный, Телешевъ и др.

Поворотъ слишкомъ рѣзокъ, слишкомъ ясенъ, чтобы его не замѣтить.

Наша литература выдержала крупныя потрясенія, великія и грозныя нашествія и побѣдила ихъ. Опрокинула.

И это какъ нельзя ярче подчеркивается творчествомъ Виктора Муйжеля и бытописаніемъ А. Куприна.

Не такъ давно одинъ изъ молодыхъ критиковъ писалъ: „Совсѣмъ напрасная, совсѣмъ ненужная затѣя искать сейчасъ школу. Школы нѣтъ, и ея не можетъ быть. Современные литераторы растутъ на перевалѣ двухъ эпохъ, на переломѣ исторіи. Они родились на сквозникѣ новыхъ вѣяній, и потому у каждаго изъ нихъ флюсъ, но этотъ флюсъ—свой собственный... Общаго ничего нѣтъ между Купринымъ и Каменскимъ, между Кузминымъ и Арцыбашевымъ, ничѣмъ между собой не соприкасаются Дымовъ и Муйжель“ *).

*) П. Пильскій. „Поютъ ручьи“.

Вѣроятно, столь же мало общаго находилъ критикъ у этихъ писателей и со всѣмъ предыдущимъ періодомъ русской литературы. Намъ это представляется глубоко ошибочнымъ и невѣрнымъ. Прежде всего каждый изъ современныхъ литераторовъ имѣетъ свои корни въ прошломъ, и ихъ при желаніи нетрудно отыскать. Кромѣ того, всѣ они вмѣстѣ разбиваются на крупныя группы, связывающія отдѣльныхъ индивидовъ общностью настроеній, міросозерцанія, — наконецъ, даже общностью темъ, на которыхъ болѣе или менѣе упорно останавливается та или иная группа. Такъ, совершенно опредѣленный характеръ носитъ „кружокъ Вячеслава Иванова", „кружокъ молодыхъ" и др.: связаны общностью темъ писатели, сгруппировавшіеся вокругъ „проблемы пола"; объединены единствомъ міросозерцанія „знаньевцы"; борются за первородство „символисты" и „реалисты". Все это если и не партіи, то ужъ во всякомъ случаѣ литературныя „школы", и намъ казалось бы болѣе возможнымъ говорить о печальномъ отсутствіи собственной яркой индивидуальности у цѣлаго ряда писателей, съ одной стороны, и объ отрадномъ органическомъ сродствѣ съ литературой предыдущаго періода у нѣкоторыхъ изъ „молодыхъ"—съ другой.

Къ числу послѣднихъ безусловно относится Викторъ Муйжель. Ему посчастливилось сочетать собственную индивидуальность и оригинальность творчества съ органическимъ сродствомъ настроеній и міросозерцанія литературы Чехова, Тимковскаго и Куприна. Въ немъ, сынѣ новаго времени, воскресла „чеховщина", воскресли Тимковскій и Купринъ дореволюціоннаго періода.

Четыре года тому назадъ появился томикъ разсказовъ Куприна. Тяжелой и мрачно-безысходной казалась автору жизнь, и всѣ его разсказы были сплошнымъ воплемъ задавленныхъ, задушенныхъ механиз-

момъ жизни людей. И не было тогда исхода для несчастныхъ жертвъ Молоха государственной жизни—„прогресса“ и культуры, достающихся на долю далекой, недоступной кучки людей съ веселыми, праздничными лицами, съ шумной и веселой жизнью. Все это гдѣ-то тамъ, далеко, а здѣсь—горе и безсиліе, плачъ и стонъ, болѣзни и смерть, одинокая жизнь, безумно похожая на смерть, и умираніе, порой безумно похожее на жизнь...

„Къ чему эта жизнь?—восклицаетъ со страстными слезами въ глазахъ одинъ изъ персонажей Куприна.—Кому нужно это жалкое, нечеловѣческое прозябаніе? Какой смыслъ въ болѣзняхъ и въ смерти милыхъ, ни въ чемъ неповинныхъ дѣтей, у которыхъ высасываетъ кровь уродливый болотный вампиръ? Какой отвѣтъ, какое оправданіе можетъ дать судьба въ ихъ страданіяхъ?“ („Болото“).

Еще раньше—Тимковскій съ его разсказами о всепожирающемъ механизмѣ жизни и пророческимъ вопросомъ-недоумѣніемъ:

„Мы ждемъ, что вотъ-вотъ взойдетъ какое-то солнце и все озаритъ кругомъ, мы вѣримъ въ это. А взойдетъ ли оно? Озаритъ ли? А если попрежнему будетъ моросить дождь, и конца не будетъ этой безпросвѣтной мути?“ („Дѣло жизни“).

А тамъ дальше—Чеховъ съ „Хмурыми людьми“ и съ вѣрой,—безумно похожей на сарказмъ,—въ возможность лучшей жизни черезъ двѣсти-триста лѣтъ...

Давно это было. Прошли и послѣдніе три-четыре года, быть-можетъ самыхъ богатыхъ въ жизни нашей страны. Казалось, что брешь пробита, стѣна рухнула, и никогда не воскреснутъ уже прежніе слезы и стоны задушенныхъ и обойденныхъ жизнью людей. Никогда не воскреснутъ безуміе и ужасъ тупика, изъ котораго нѣтъ выхода. Казалось, что все это прошло и гдѣ-то тамъ, далеко, въ кровавомъ туманѣ прошлаго.

Не воскреснутъ чеховскія и куприпскія настроенія. Не надо вспоминать о нихъ!

Но вотъ и новая жизнь среди ряда другихъ выдвинула молодого автора, сына новаго времени, новыхъ дней, новыхъ словъ. И что же? Все та же скорбь въ его произведеніяхъ, все тѣ же забитые, затравленные люди, безумно ревущіе и рычащіе отъ боли и ужаса жизни. Все такъ же безотрадно и жестоко-безсмысленна жизнь. „Что же стоитъ вся эта многострадальная жизнь, гдѣ всѣмъ безпокойно, мучительно и тоскливо? И какой еще ужасъ несетъ эта жизнь, какія страданія и какую жестокость, отъ которой люди не живутъ, а непрестанно, каждую секунду въ напряженномъ мучительномъ страхѣ ждутъ смерти?“

Попрежнему люди безсильны — и даже больше — „всѣ они, будто ослѣпнувъ отъ запутанной и безсмысленной жестокости жизни, дѣлали все то, что отъ нихъ зависѣло, употребляли огромныя усилія не для того, чтобы устранить тяжесть и страданія жизни, а для того, чтобы сдѣлать ихъ еще большими“. („Аренда“).

Сфера наблюденія Муйжеля—деревня. Его неотразимо влечетъ къ себѣ жизнь народа—жизнь мужика, солдата, бабья жизнь, жизнь городской бѣдноты, ютящейся подъ самой крышей холодныхъ каменныхъ домовъ-могилъ и вышедшей изъ той же общей матери — деревни. Муйжель—хорошій наблюдатель и недурной психологъ. Его наблюденія также детальны и подробны, какъ у Куприна. Даже въ психологію лошади онъ вникаетъ добросовѣстно и добросовѣстно продуманно ее рисуетъ, — но это, конечно, еще не „Изумрудъ“.

Его „Солдаты“ такъ же живутъ и чувствуютъ и страдаютъ, какъ и солдаты Куприна въ его первомъ томѣ или „Поединкѣ“. Кисть у нихъ одна, но Купринъ, конечно, лучше владѣетъ ею.

Его драгунъ Останевъ—плоть отъ плоти и кровь отъ крови куприпскаго Романова или дневальнаго

Меркулова, отсчитывающаго по часамъ „тяготу“ своей жизни. Онъ тоже попалъ „въ какую-то заколдованную крѣпкую сѣть, опутавшую его со всѣхъ сторонъ. Съ первыхъ дней солдатчины онъ путался въ этой таинственной сѣти, и съ каждымъ днемъ она становилась все крѣпче и сильнѣе, и бороться съ ней было невозможно, и съ каждымъ днемъ душа его все болѣе замирала и гасла“.

Останевъ чувствовалъ, какъ умираетъ въ немъ человѣкъ и все человѣческое. Всѣ послѣдніе годы его жизни сложились въ душный кошмаръ, полный униженія, тоски, горя и злобы... „Грубо и властно ворвалась въ жизнь служба, увлекла изъ привычнаго и любимаго и дала взамѣнъ страданіе и леденящій ужасъ...

Тяжелой, невыносимо-давящей тучей насѣла эта служба и отняла волю, покой, радость, швырнула въ непонятный и мучительный водоворотъ, въ которомъ человѣкъ кружился безвольной щепкой“.

И Останеву, а, пожалуй, и самому Муйжелю, „иногда—и это было мучительнѣе всего—представлялось, что вся жизнь—общая солдатчина, и даже какъ-будто не было жизни, и никогда не будетъ ея, а будутъ опять только побои, кровь, ужасъ“.

Помните, какъ у Куприна? „Хлѣбниковъ, тебѣ плохо? И мнѣ тоже не хорошо, голубчикъ,повѣрь мнѣ. Я ничего не понимаю изъ того, что дѣлается на свѣтѣ. Все—какая-то дикая, безсмысленная, жестокая чепуха!..“ („Поединокъ“).

Муйжель подробно разбираетъ мужичье житье-бытье, онъ любитъ крестьянство со всей его бѣдностой, голодомъ и тьмой, слѣдитъ за мужикомъ во всѣхъ стадіяхъ его жизни, и тѣмъ не менѣе взглядъ его на крестьянскую массу не отличается идеализаціей и совершенно объективенъ. Тусклое, нудное, тягучее, какъ сама жизнь, описаніе мужичьяго прозябанія оставляетъ тяжелый осадокъ на душѣ и внушаетъ

сознаніе безпомощности и безсилія что-либо измѣнить въ немъ. Нелѣпость и слѣпая власть случая подавляютъ и уничтожаютъ, ибо у нихъ онъ какъ-то особенно торжествуетъ.

Эти люди „вѣчно ходили и ходятъ и вѣчно должны ходить въ какихъ-то мрачныхъ подземельяхъ, гдѣ нѣтъ ни одной искры свѣта, въ вѣчной темнотѣ, въ вѣчномъ незнаніи, въ тоскѣ... Они бродятъ, чего-то ищутъ, что-то дѣлаютъ, чего-то хотятъ достичь, но охватывающая ихъ со всѣхъ сторонъ темнота не позволяетъ имъ ничего видѣть, и ползутъ ощупью они въ ней, что-то дѣлаютъ, чего-то ищутъ. Отъ ужаса этой темноты они страшатся и сердятся, сталкиваются другъ съ другомъ, не узнаютъ одинъ другого, и всѣхъ ихъ охватываетъ слѣпой, безумный ужасъ потемокъ, изъ которыхъ они не могутъ выбиться. Они начинаютъ злиться, давить другъ друга, они готовы загрызть одинъ другого, и въ темнотѣ боязливо и осторожно ползаютъ они, стремясь вырваться на свѣтъ—и не могутъ. И оттого заглушенные голоса ихъ звучатъ такъ угрюмо и злобно, и сами они такъ жестоки и злы". („Мужичья смерть").

Они тоже опутаны сѣтью—сѣтью труда, они тоже четвертуются въ колесѣ этого труда, безконечнаго и безплоднаго, все увеличивающагося и все исчезающаго въ какую-то прорву, бездонную урну все того же государственнаго механизма, облѣпившаго ихъ со всѣхъ сторонъ. Число ихъ растетъ, работа умножается, благъ производится больше и больше, а жить все труднѣе. И нѣтъ выхода изъ этого колеса. Нѣтъ конца четвертованію!

Порой и у нихъ, какъ и у солдатъ, нарывъ прорывается и разрѣшается чисто-купринскимъ („Новичокъ") возстаніемъ рабовъ. „Вся желчная горечь невыносимой тоски" поднимается дикимъ, какъ бунтъ рабовъ, протестомъ противъ рабства, въ которое пре-

вратилась жизнь. Ибо „въ ней не было свѣта, не было солнца, не было самого себя, и не было людей,—были солдаты".

Тогда даже бабы всѣмъ существомъ протестовали и кричали слова отрицанія: „было обидно, какъ-будто ихъ посадили въ узкую и темную каморку и дали вертѣть безконечное *колесо* незамѣтнаго, узкаго, бабьяго дѣла, а сами посадившіе гдѣ-то за стѣной живутъ интересной и полной жизнью... И бунтующимъ безсмысленнымъ протестомъ отзывалось мучащееся тѣло, и дико, и злобно они твердили одни и тѣ же безполезныя, пустыя слова: Не хочу-у-у!.. Не хочу-у-у! У-у-у-у!" („Бабья жизнь").

Какой-то проблескъ виденъ въ философіи цыганскаго бродяжничества въ духѣ „Коновалова"—выходъ изъ Чеховщины въ босячество Горькаго („Пока"). Но въ общемъ и это безотрадно. И не идетъ дальше туманной и грустной мечты.

У автора проходитъ красной нитью стремленіе познать и постигнуть „тайну народную", особую „мужицкую правду", въ которой онъ надѣется найти залогъ лучшаго будущаго. Въ его разсказахъ есть образы молодого крестьянства—свѣтлые и яркіе, злобные и мстящіе. Всѣ они у Муйжеля террористичны; въ средѣ ихъ однако мало идейныхъ представителей, выступленія ихъ носятъ стихійный характеръ, преимущественно со счастливымъ исходомъ. Это мало отвѣчаетъ дѣйствительности.

Къ сожалѣнію, такихъ болѣе или менѣе фантастическихъ картинъ у автора немало. Нельзя не пожалѣть еще объ одной нехудожественности пріема: его персонажи слишкомъ часто обуреваются воспоминаніями, услужливо сообщающими читателю біографическія подробности изъ своей жизни часто въ самыя критическія минуты, какъ, напр., преждевременные роды въ „Бабьей жизни". Непріятно портятъ впечатлѣніе

длинноты, совершенно ненужныя, и однообразность темъ и сферы наблюденія.

Во всякомъ случаѣ это искупается тѣмъ, что Муйжель еще новичокъ въ литературномъ мірѣ, и его симпатичное дарованіе нельзя не отмѣтить, ибо выбранный имъ литературный путь имѣетъ за собой славное прошлое, точка зрѣнія его гуманна, а вдумчивая и некрикливая манера его письма говоритъ о хорошей школѣ. Тревожное искаліе правды такъ обѣщаетъ...

Муйжель насъ трогаетъ. Муйжель почти плѣняетъ. Почему?

У Куприна есть небольшой разсказикъ — „Пустыя дачи". Онъ груститъ въ немъ, что его душа „не воспринимаетъ болѣе поэтической нѣжной печали: въ ней безсильно и горько шевелится только грусть по прежней грусти!"

Поэтическая нѣжность печали! Грусть по прежней грусти! Тоска по Чеховщинѣ!

Вотъ что роднитъ насъ съ Муйжелемъ.

Самое послѣднее время появилась книжка разсказовъ В. Корчемнаго подъ нѣсколько оригинальнымъ заголовкомъ—„Лунная Соната", принадлежащимъ одному изъ разсказовъ. Другой разсказъ, помѣщенный въ сборникѣ, носитъ названіе „Изъ записокъ стараго художника".

Книжка издана еще въ 1907 г., но до самаго послѣдняго времени о ней не было ничего слышно, если не считать статьи А. Амфитеатрова, посвященной молодому автору и пророчащей ему будущность Достоевскаго.

Въ мои руки попала его книжка спустя полгода послѣ ея выхода... Не буду говорить почему. Да и долго говорить. Судьба нашихъ начинающихъ литераторовъ такъ уродлива и почва для ихъ развитія такъ неблагопріятна. Критика наша такъ недобросовѣстна...

Я очень жалѣю, что книжка автора не была у меня раньше, и спѣшу сказать о ней нѣсколько словъ, ибо

мимо нея нельзя пройти обозрѣвателю молодой литературы. Спѣшу, ибо часто оцѣнка приходитъ поздно. Быть-можетъ слишномъ поздно...

Я не знаю, создастъ ли Корчемный еще что-нибудь. Но то, что онъ создалъ—прекрасно.

Произведеній такой силы, какъ его „Лунная Соната", въ русской литературѣ давно не было. Быть-можетъ со временъ Достоевскаго.

Это трагизмъ наиболѣе трагическаго періода литературной дѣятельности Достоевскаго, трагизмъ „Записокъ изъ подполья", но трагизмъ продленный, развитой, усиленный.

Такой мощи выраженія, такой силы мы давно не встрѣчали въ русской литературѣ, и Корчемный далеко за собой оставляетъ нашего единственнаго могикана трагическаго начала въ литературѣ и жизни—Леонида Андреева. Ибо въ немъ—больше крови и плоти.

Если бы меня спросили, какую литературу я считаю родственной русской, я бы, не задумываясь, сказалъ: конечно, итальянскую.

Итальянскую временъ Джіокомо Леопарди и Уго Фосколо,—временъ, непосредственно послѣдовавшихъ за революціей.

Сходство разительное, детальное сходство въ міросозерцаніи, въ настроеніяхъ, въ манерѣ, въ самомъ тонѣ. И это сходство давно уже уловлено итальянской критикой...

У насъ же объ этомъ не слышно... Когда я читаю итальянцевъ о русской литературѣ, мнѣ всегда кажется, что они понимаютъ ее лучше, чѣмъ мы. Они знаютъ въ ней то, чего не знаемъ мы, они чувствуютъ въ ней то, чего не чувствуемъ мы.

Отчего такъ? Быть-можетъ оттого, что издали виднѣе. Да и вообще наша литература послѣднихъ лѣтъ не имѣетъ своего истолкователя, любящаго, понимающаго, цѣнящаго. Не было до сихъ поръ про-

никновенія, не было часто простого пониманія... Русскій беллетристъ и русскій критикъ были люди часто совершенно чужіе и чуждые другъ другу. Часто они были врагами...

Все это приходитъ мнѣ въ голову теперь, по прочтеніи книжки разсказовъ Корчемнаго.

У Фосколо есть вещь, которую ставятъ на ряду и даже выше Гётевскаго Вертера. Это — „Послѣднія письма Ортиса",— вещь, въ которой пессимизмъ сильнѣе даже чѣмъ у Леопарди. „Вещь, изъ каждой буквы которой сочится острая, рѣжущая скорбь отчаянія, какой-то сплошной, раздирающій крикъ пессимизма..."

Корчемный имѣетъ много общаго съ Фосколо въ этой вещи: какъ по содержанію, какъ по стилю, какъ по настроенію, такъ и по міросозерцанію. Это— русскій Фосколо.

„Тѣмъ, чѣмъ страдая, пишетъ онъ въ „Лунной Сонатѣ", страдаютъ въ меньшей степени сотни и тысячи другихъ людей, и въ ничтожной степени, безсознательно и приписывая это другимъ причинамъ, страдаетъ все человѣчество. И чѣмъ меньше страдаетъ этимъ все человѣчество, тѣмъ больше страдаютъ эти сотни и тысячи... и чѣмъ меньше страдаютъ эти сотни и тысячи, тѣмъ больше страдаю я— великая двойная тайна,—подлая, нагая—скрытая въ природѣ и человѣческой душѣ, хищнически, ненасытно глодетъ и пожираетъ своихъ любимыхъ избранниковъ".

„Мои страданія должны быть признаны, потому что я живу на зарѣ новой жизни и въ своихъ одинокихъ страданіяхъ несу на себѣ непосильную, проклятую пошу стараго горя и отживающихъ ужасовъ родной страны, и еще потому, что и черезъ сто и черезъ тысячи лѣтъ, и до тѣхъ поръ, пока будутъ существовать неразгаданная природа и люди,моя судьба между ними будетъ все та же, и все та же будетъ цѣна моей жизни".

У Корчемнаго какая-то „болѣзненная торопливость уйти изъ свѣта въ тѣнь, какая-то видимая боязнь быть задѣтымъ людскимъ торжествомъ — говоромъ, шутками, крикомъ...“ Онъ все время „придерживается тѣневой стороны“, и своего героя зоветъ разочарованнымъ, невѣрующимъ, печальнымъ одиночкой жизни, отщепенцемъ.

„Вы прочли сотни, сотни и тысячи толстыхъ томовъ, говоритъ авторъ, вычитали-ль вы въ нихъ одну истину,— истину, которая для меня и стара и шаблонна. Вычитали ли вы именно, что есть люди съ дѣтства... нѣтъ, съ рожденія, въ утробѣ матери еще лишенные солнца и благословленные холодной луной, съ душой мертвеца? Благословеніе это—призывъ въ вѣчный храмъ всѣхъ демоновъ скорби и ужаса, призывъ этотъ—печать безразсуднаго страха на всю жизнь, печать эта—проказа... И вотъ я теперь ужъ навѣрное знаю, что эта роковая язва, ненасытно пожирающая все, что въ мысляхъ иль чувствахъ пытается робко обрадоваться жизни, эта худшая проказа изъ проказъ—живетъ и во мнѣ. Но поймете ли вы, прочитавшіе тысячи ученыхъ томовъ, что такое сказать самому себѣ: и я— прокаженный... и я принадлежу къ этимъ избранникамъ *неизвѣстнаго бога* „безцѣльныхъ“ страданій?..

Понимаете ли вы теперь, что *несчастье есть самый положительный и дѣйствительный... и единственный элементъ жизни—другого элемента не существуетъ*“.

Въ нашей современной литературѣ два ученика Достоевскаго—Андреевъ и Корчемный, и послѣдній ближе къ учителю...

У Корчемнаго въ его разсказахъ много выстраданныхъ, глубокихъ, мучительно-острыхъ мыслей и есть живыя сцены, которыя не забываются...

Но силѣ и экспрессіи въ этихъ сценахъ, полныхъ глубокаго реальнаго трагизма, онъ оставляетъ за собой Андреева. Его разсказы нѣжны и тонки по замыслу,

отдѣлкѣ и темамъ. Они — цѣломудренно-чисты и проникнуты наилучшими традиціями русской литературы.

Можно только удивляться, какъ удалось Корчемному такъ проникнуть въ идею русской литературы и такъ слиться съ нею, какъ рѣдко удается и „старикамъ“. Языкъ его временами походитъ на „Пѣснь пѣсней“, временами нуждается въ исправленіи. Но подражаній въ немъ нѣтъ. Это яркое, индивидуальное, самобытное дарованіе и въ то же время крѣпкими узами родства связанное съ молодой литературой и даже со всей русской литературой въ ея лучшихъ представителяхъ.

Мы привыкли въ наши черные дни упадка литературы привѣтствовать „раковъ на безрыбьи“, но здѣсь мы можемъ спокойно и увѣренно сознаться въ томъ, что Корчемный не „ракъ на безрыбьи“, а ближайшій и непосредственный соперникъ „королей“ нашей современной литературы и онъ самъ справедливо занесъ рядомъ съ этими тремя именами: Андреевъ, Купринъ, Муйжель, имя—Корчемный.

Заключеніе.

ГЛАВА X.

Трагическое, какъ литературный законъ. Въ чемъ мы отказались отъ наслѣдства?

Тоска по Чеховщинѣ.

> Ты,—я не знаю кто ты: Богъ, дьяволъ, рокъ или жизнь, я проклинаю тебя!..
>
> Вали меня на землю, вали, я буду смѣяться и кричать: будь проклята! Клещами смерти зажми мнѣ роть, -послѣдней мыслью я крикну въ твои ослиныя уши: будь проклята, будь проклята! Бери мой трупъ, грызи его, какъ собака, вознеси въ темноту — меня въ немъ нѣтъ! Я исчезъ, но исчезъ, повторяя: будь проклята, будь проклята! (*Л. Андреевъ*. „Жизнь Человѣка").

Когда я читалъ „Жизнь Человѣка", мнѣ вспомнилась книга нѣмецкаго философа Юлія Банзена „Трагическое, какъ міровой законъ". Полузабытая, отмѣченная лишь исторіей философіи, книга, въ которой пессимистическое міропониманіе Шопенгауэра доведено до своего логическаго конца, дальше даже, чѣмъ у Гартмана. Разумный порядокъ, гармоническій планъ совершенно отсутствуютъ во вселенной, и всѣ попытки къ ихъ отысканію разбиваются объ антилогику міра. Все въ мірѣ „какая-то дикая и безсмысленная чепуха", и нѣтъ даже шопенгауеровскаго ея оправданія въ радости созерцанія: разумъ, какъ принципъ міросданія, совершенно исчезаетъ.

Молодая, послѣ-чеховская литература въ Россіи сознательно воспиталась на этой книгѣ. Сама революція оказалась безсильна что-либо измѣнить въ ея настрое-

ніи. Правда, Андреевъ началъ одно время уноситься „Къ звѣздамъ". Но... неожиданный толчокъ—и въ немъ снова проснулся творецъ „Василія Фивейскаго". Изображеніе трагизма жизни, какъ показываетъ анализъ литературы послѣдняго 10-лѣтія, стало ея зарокомъ, Аннибаловой клятвой. Трагическое—законъ молодой литературы,—законъ, которому она подчиняется, поклоняется до сихъ поръ и набожно молится, несмотря на увѣренія нѣкоторыхъ критиковъ въ томъ, что она анархична и не подчинена никакимъ законамъ.

Если бы мы спросили себя, какова общая идея, воодушевлявшая молодую литературу послѣдняго десятилѣтія,—отвѣтъ былъ бы одинъ: трагедія. Трагедія, противопоставляемая пошлости, обыденщинѣ и ужасу жизни. Трагедія—гарантія отъ мѣщанства, впервые развитая и принятая въ русской литературѣ, специфически ей свойственная и отличающая ее отъ литературы другихъ народовъ.

Говорятъ, что русская литература—женщина. Если это и такъ, мы все-таки внесли бы въ это опредѣленіе небольшой коррективъ: женщина съ трагическими чертами лица, съ печатью смерти на челѣ, съ громадными, расширенными глазами, зловѣще и загадочно устремленными во тьму.

Она родилась „на почвѣ коллизіи идеаловъ" чуткой и нѣжной индивидуальности съ окружающимъ ужасомъ жизни. Отсюда и Достоевскій, и Гаршинъ, и Чеховъ, и вся послѣ-чеховская литература. Чеховъ первый послѣ Достоевскаго властно выдвинулъ на сцену „героическій пессимизмъ", вошедшій въ плоть и кровь литературы молодого поколѣнія. Его идеализмъ все болѣе и болѣе проникался скептицизмомъ и вытѣснялся пессимизмомъ во что бы то ни стало, пессимизмомъ героическимъ и трагическимъ, культомъ пессимизма.

Именно эта сторона творчества А. Чехова нашла себѣ наиболѣе горячихъ и восторженныхъ послѣдователей. Поэзія обнаженныхъ и натянутыхъ нервовъ, какъ струны віолончели, рыдающихъ надрывнымъ, неутѣшнымъ плачемъ, мучительная и вожделѣнная — дала въ нашей литературѣ поистинѣ дивныя вещи высшаго душевнаго напряженія.

Утонченность страданія, болѣзненная чувствительность воспріятія, художественная отзывчивость на каждое малѣйшее прикосновеніе окружающаго міра — вотъ наше наслѣдство отъ Чехова. Слишкомъ раскрытые глаза, напряженный слухъ, натянутые нервы — бѣлинскій авторитетъ нашей молодой литературы. Тревожная музыка скорби, жгучее сладострастіе страданія — ея лейтмотивъ. И въ этомъ она — прямая наслѣдница своихъ великихъ предшественниковъ.

„Мнѣ страшна, главнымъ образомъ, обыденщина, отъ которой никто изъ насъ не можетъ спрятаться". Это — слова Чехова. Но эти же слова, эта же мысль и въ расширенныхъ, загадочныхъ глазахъ женщины съ трагическими чертами лица молодой русской литературы. Весь ея путь — это путь борьбы съ обыденщиной, борьбы не на-животъ, а на-смерть.

Говорятъ объ оптимизмѣ Чехова. Но это не вѣрно. Не вѣрьте такому оптимизму. Оптимизмъ Чехова фальшивъ и дѣланъ и только подчеркиваетъ сознаніе безысходности; это оптимизмъ съ отчаянія, радость сквозь слезы, ибо у Чехова нѣтъ вѣры въ жизнь. Чеховъ, какъ и Гаршинъ, какъ и Достоевскій, срываетъ съ жизни всѣ покровы, разрушаетъ всѣ иллюзіи и оголяетъ „правду жизни" во всей ея ужасной наготѣ. Нѣтъ въ жизни смысла, нѣтъ нравственности и логики. Надо всѣмъ царитъ жестокій, неумолимый рокъ и случай. Ложь царитъ во всей жизни. „Вся жизнь есть не что иное, какъ ежедневная забота о томъ, чтобы обманывать себя и людей и не замѣчать

этого, и мнѣ страшно отъ мысли, что я до самой смерти не выберусь изъ этой ляги". („Страхъ").

Чеховъ не вѣритъ въ людей: „Мое письмо, если бы даже оно было краснорѣчиво, сильно, страшно, все-таки походило бы на стукъ по гробовой крышкѣ: какъ ни стучи — не разбудишь! Никакія усилія уже не могутъ согрѣть вашей проклятой, холодной крови, и вы это знаете лучше меня... Вы гадко и пошловато подсмѣиваетесь надъ идеями добра и правды, потому что не въ силахъ вернуться къ нимъ. Всякій искренній и правдивый намекъ на ваше паденіе страшенъ вамъ, и вы нарочно окружаете себя людьми, которые умѣютъ только льстить вашимъ слабостямъ. И не даромъ, не даромъ вы такъ боитесь слезъ". („Разск. неизв. челов".)

Таково мнѣніе Чехова о своей аудиторіи. Таковой же осталась аудиторія и до сихъ поръ.

Въ такой средѣ „смыслъ жизни только въ одномъ— въ борьбѣ. Наступить каблукомъ на подлую змѣиную голову и чтобы она —крахъ! — Вотъ въ чемъ смыслъ. Въ этомъ одномъ, или вовсе нѣтъ смысла" (id). Погибнуть на „великомъ невозможномъ", какъ погибли гарнишская „Attalea princeps" или безумецъ-герой „Краснаго цвѣтка", и тѣмъ положить конецъ страданіямъ безпокойной, мятущейся души.

Уже здѣсь у Чехова намѣчается выходъ изъ-подъ власти обыденщины въ трагедію. Его наслѣдники пошли дальше. У Чехова еще было забвеніе въ работѣ, перемѣнѣ жизни, у его наслѣдниковъ выхода нѣтъ, или онъ еще трагичнѣе, какъ хотя бы у Куприна: „единственный разумный и холодный выводъ — надо жить, какъ всѣ, надо подчиняться обстоятельствамъ, надо даже лгать, если нельзя говорить правду". Это— уже обыденщина. Изъ обыденщины выходъ—лишь въ обыденщину. Это, конечно, не апологія, это сарказмъ надъ собственнымъ исканіемъ.

Зачатки философіи трагедіи и культа отчаянія, какъ здороваго и плодотворнаго начала, мы видимъ уже у Вересаева: „Глаза съ враждебнымъ вызовомъ устремлялись въ мутную пустоту дали: да, я сумѣю принять ее (правду жизни, Ю. А.) такою, какая она есть, со всѣмъ холоднымъ ужасомъ ея пустоты и со всей заклекательностью этого ужаса: не сумѣю — умру: но не склонюсь передъ той правдой, которая потому только правда, что жить съ ней легко и радостно". („Передъ завѣсой").

Въ объятія той же трагедіи бросается и Л. Андреевъ, начиная съ „Василія Фивейскаго" и кончая „Жизнью Человѣка". Василій Фивейскій первый довелъ до логическаго конца мысль Чехова „наступить каблукомъ на подлую змѣиную голову". Эта вещь Л. Андреева, дѣйствительно, провозглашаетъ крахъ и крахъ не только обыденщины, но крахъ и „непріятіе міра", который весь—безуміе, ужасъ и обыденщина. Василій Фивейскій—титанъ, задумавшій однимъ махомъ сорвать „Красный цвѣтокъ" человѣческаго страданія, почти человѣкобогъ, потерпѣвшій фіаско и брошенный въ пыль.

„Медленно и тяжело клонятся и сближаются стѣны сползаютъ своды, безшумно рушится высокій куполъ, колышится и гнется полъ,—въ самыхъ основахъ своихъ разрушается и падаетъ міръ. Небо охвачено огнемъ. Въ немъ клубятся и дико мечутся разорванныя тучи и всею гигантской массой своей падаютъ на потрясенную землю, — въ самыхъ основахъ своихъ рушится міръ".

Если Василій Фивейскій еще бѣжитъ отъ страданія и трагедіи, то „Жизнь Человѣка" уже гимнъ страданію, сарказмъ надъ жизнью, достоевщина, какое-то сладострастное заигрываніе со смертью, какая-то пляска смерти и разрушенія—своего рода некромантія, наслажденіе зрѣлищемъ разложенія и смерти.

Помнится, когда появился „Василій Өивейскій“, его никто изъ критиковъ того времени не понялъ и не почувствовалъ, къ чему идетъ дѣло. Ни Волжскій, ни Скабичевскій, ни критики „Правды“ и „Новаго Пути“. Одни смущенно лепетали, другіе молчали, третьи говорили хорошія слова о несвоевременности пессимизма и отчаянія въ дни, когда „страна жертвъ искупительныхъ проситъ“,—въ дни наканунѣ революціи. Мистическія бредни, клиническое здравомысліе, утилитаризмъ—вотъ все, чѣмъ сумѣла отозваться критика на это дѣйствительно величайшее изъ созданій молодой литературы. И въ этомъ было безсиліе, безсиліе потому, что „Жизнь Василія Өивейскаго“ не была ужъ такой неожиданностью и была подготовлена постепенно, шагъ за шагомъ, всѣмъ ходомъ мысли молодой литературы послѣ-чеховскаго періода, и вся ея вина была лишь въ томъ, что на ея долю выпало стать центральнымъ пунктомъ, скристаллизовавшимъ въ себѣ все міросозерцаніе молодой литературы.

Не разъ и не разъ отмѣчалась на страницахъ либерально-благомыслящей и въ корнѣ буржуазной „обыденщицкой“ печати несвоевременность пессимизма тогда, какъ страна требуетъ бодрыхъ и смѣлыхъ борцовъ съ надеждой на свѣтлое будущее. Но это ни на іоту не исправило нашей литературы, что, однако, вполнѣ естественно и понятно. Увѣряли, что трагедія, ставшая излюбленной идеей молодой литературы, въ корнѣ мирвановистична, апатична и бездѣятельна. Увѣряли, что трагедія—небытіе. Увѣряли, что трагедія—реакціонна. Увѣряли и продолжаютъ увѣрять, что „Жизнь Человѣка“ реакціонна, какъ и „Жизнь Василія Өивейскаго“. Это—неправда.

Можно считать реакціонеромъ Андреева за его тенденціозно-публицистическія выходки въ „Губернаторѣ“, „Тьмѣ“, „Такъ было“, гдѣ онъ перешелъ грани литературной этики, злоупотребивъ монополіей Пуришке-

вичей на свободу печатнаго слова; но нельзя называть его реакціонеромъ въ его философско-литературной дѣятельности, какъ нѣвца трагедіи.

Трагедія — прогрессивна. Трагедія есть высшее напряженіе духовной дѣятельности человѣка, кульминаціонный пунктъ дерзанія, отчаянія. И она сильнѣе всякихъ благомыслящихъ пожеланій толкаетъ человѣка впередъ. Мало того, трагедія — смерть для обыденщины. Вотъ отчего такъ боится ея либерально-умѣренная мысль, скромно дѣлающая свое маленькое культурно-просвѣтительное дѣльце и утѣшающая себя „библіотечками и аптечками", которыя такъ презиралъ Чеховъ.

Трагедія — Аннибалова клятва русской литературы со временъ Достоевскаго и до нашихъ дней.

Борьба трагедіи съ обыденщиной — идея единосущная и общая всѣмъ молодымъ работникамъ на литературной нивѣ. Борьба во имя трагедіи и черезъ трагедію.

И самъ утилитаризмъ могъ бы найти прогрессивно-полезное въ этомъ зарокѣ будить духъ отчаянія и мятежа въ царствѣ липкой, какъ паутина, обыденщины. Могъ бы, если бы былъ прямодушнѣе и не ташлъ бы на днѣ мѣщанскую суицость своего міросозерцанія. „Не даромъ, не даромъ вы такъ боитесь слезъ!"

Нѣсколько разъ вторгалась въ царство трагедіи „радость жизни", веселая и поющая гимны „свободному соколу" и, не прививаясь, уходила. Пытались бѣжать изъ царства трагедіи „Къ звѣздамъ", — и возвращались. Пытались и мечтали найти выходъ въ анархіи („Красный смѣхъ", „Поединокъ") — и не находили. И снова и снова „грустили по прежней грусти" и пили и упивались трагедіей, боясь запутаться въ липкихъ сѣтяхъ обыденщины.

И трагедію провозгласили молчаливо единственнымъ наслажденіемъ жизни, гарантіей отъ преждевременнаго паденія человѣка, литературнымъ закономъ.

Оставаясь на почвѣ анализа, мы вынуждены признать этотъ фактъ русской литературы и, хотя бы какъ фактъ, мы должны ее принять. Мало того, наши сужденія о наслѣдникахъ, о „молодыхъ" русской литературы могутъ исходить изъ трагедіи, какъ существующаго литературнаго закона, необязательнаго, но общаго фактически большинству ея представителей.

Наличность въ той или иной мѣрѣ трагедіи въ творчествѣ молодого автора говоритъ намъ о сродствѣ его съ литературой молодого поколѣнія и о томъ, что въ немъ молодая литература имѣетъ фактическаго продолжателя общаго дѣла, наслѣдника великаго завѣщанія—клятвы русской литературы.

Какъ бы ни былъ разнообразенъ литературный хоръ того или иного момента, той или иной литературной эпохи, возможно найти равнодѣйствующую самымъ, казалось бы, противорѣчивымъ теченіямъ, возможно указать центральную идею, на которой могли бы сойтись даже наиболѣе ярко выраженныя индивидуальности. И эту равнодѣйствующую, по которой течетъ коллективная мысль того или иного литературнаго момента, необходимо найти, необходимо указать. Иначе не было бы мыслимо какое-либо сравненіе и сопоставленіе различныхъ эпохъ, различныхъ моментовъ литературной жизни, и не было бы возможности судить о ея поступательномъ или попятномъ движеніи. О ея вѣрности литературнымъ традиціямъ и объ отказѣ отъ наслѣдства.

Это прекрасно понималъ еще Бѣлинскій, когда говорилъ:

„Критиковать значитъ искать и открывать въ частномъ явленіи общіе законы разума, по которымъ и черезъ которые оно могло быть, и опредѣлять степень живого, органическаго соотношенія частнаго явленія съ его идеаломъ".

Наша литература пошла еще дальше. Она показала, что могутъ быть такія центральныя произведенія, въ которыхъ кристаллизируется литературно-общественная мысль даннаго момента, и есть такія центральныя личности, вокругъ которыхъ концентрируется эта мысль, личности, стягивающія къ себѣ всеобщее вниманіе, — поклоненіе, подражанія.

Эти центральныя личности и есть тѣ вожди, которые даютъ тонъ всему литературному хору, чьимъ вліяніемъ пропикнуто каждое слово отдѣльныхъ индивидовъ. Ихъ идеи висятъ въ воздухѣ, родятъ, плодятъ и размножаютъ въ тысячахъ варіацій ту или иную идею, ту или иную проблему, выявляя равнодѣйствующую литературнаго момента.

Ясно, что говоря о литературныхъ вождяхъ, мы становимся на точку зрѣнія діаметрально противоположную пониманію литературы, какъ анархическаго конгломерата, независимыхъ другъ отъ друга индивидуальностей, неподчиненныхъ никакимъ законамъ, — пониманію, особенно настойчиво проводимому въ жизнь нашими критиками-декадентами, быть-можетъ и выгодному для поддержанія умирающаго декадентства, модернизма и символизма par excellence.

Если имъ вѣрить, что ни поэтъ, что ни литераторъ, онъ прежде всего „молодой", отрекшійся, опрокинувшій старыхъ боговъ, неимѣющій связей ни съ прошлымъ, ни съ настоящимъ — не помнящій родства.

И это печально. Печально потому, что прежде всего мѣшаетъ большому читателю разобраться въ дѣйствительномъ положеніи вещей, мѣшаетъ дать себѣ отчетъ въ этомъ вихрѣ поголовнаго отказа отъ наслѣдства. Мѣшаетъ выяснить самую идею литературной преемственности и наслѣдованія извѣстныхъ принциповъ, идей, проблемъ.

Больше всего затемнялся вопросъ самой нашей критикой, которой вездѣ и всюду грезятся геніи, са-

мородки и по меньшей мѣрѣ таланты. Некуда дѣваться, если имъ вѣрить, отъ геніевъ молодой литературы. Сама геніальность стала чѣмъ-то обыденнымъ, совсѣмъ не страшнымъ и не таинственнымъ. Геніальность стала обыденщиной и банальностью и потеряла свой престижъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ миновало время, когда, какъ прежде когда-то, наша литература была единымъ, мощнымъ потокомъ, имѣла имена, къ которымъ все тяготѣло, имена тѣхъ, чье слово жадно ловилось и принималось какъ откровеніе, какъ молитва.. Много званыхъ, но мало избранныхъ.

А между тѣмъ литература идетъ своимъ путемъ. А между тѣмъ избранные есть. Есть центральныя личности. Есть центральныя произведенія, есть попрежнему имена, къ которымъ тяготѣетъ общественная мысль, и эти имена далеко не такъ многочисленны, какъ это хотѣли доказать критики-декаденты. Есть преемственность ея съ предшествующими литературными моментовъ,—другими словами, есть наслѣдованіе и есть отказъ отъ наслѣдства, но не тотъ, конечно, о которомъ кричитъ при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ наша критика.

Наше наслѣдство, которое до сихъ поръ чтится и находитъ такихъ дѣйствительно талантливыхъ адептовъ и апологетовъ, какъ Л. Андреевъ — въ культѣ трагедіи, въ Аннибаловой клятвѣ Л. Андреева „остріемъ своего страданія проникать въ страданія другихъ людей", которая у Достоевскаго звучала такъ: „сердце мое раздираю нарочно, злобой его утоляю".

Въ этомъ молодая литература въ лицѣ Андреева, Тимковскаго, Вересаева, Куприна и др. дѣйствительная наслѣдница великаго завѣщанія своихъ отцовъ, дѣйствительная хранительница ихъ завѣтовъ, достойное дѣтище Достоевскаго, Гаршина, Чехова. И въ этомъ они подаютъ другъ другу руки. Но... ею забыты

другіе Достоевскій, Гаршинъ и Чеховъ — родные братья Глѣба Успенскаго. Ею забыть *объяты* ея скорби.

Два русла, два главные мотива были въ русской литературѣ сошедшаго со сцены поколѣнія, и эти два русла — едино суть. Успенскій, Достоевскій, Гаршинъ и Чеховъ вполнѣ и цѣльно отразили двойственную, но единую проблему своего времени,—проблему, оставшуюся проблемой и до сихъ поръ. Другъ друга дополняя, другъ друга комментируя и исправляя, они дали дѣйствительно стройную и цѣльную равнодѣйствующую, единосущную и многогранную. Была въ этой равнодѣйствующей спайка, неразрывно и тѣсно сблизившая и сродившая четыре этихъ имени: Успенскій, Достоевскій, Гаршинъ и Чеховъ. И эта спайка была — скорбь по конкретному, живому человѣческому страданію, по конкретной, живой человѣческой личности во времени и пространствѣ.

И отъ этого конкретнаго отказалась наша молодая литература. Этой спайки отдѣльныхъ индивидуальныхъ настроеній не стало.

И странно. Прообразъ этой эволюціи далъ намъ тотъ же Достоевскій въ исторіи перерожденія своихъ симпатій и убѣжденій.

Въ жизни Достоевскаго было два крупныхъ момента, мало сходныхъ одинъ съ другимъ, почти исключающихъ другъ друга.

Центральнымъ произведеніемъ перваго періода были „Бѣдные люди", центральной личностью, на которой было остановлено тревожное вниманіе Достоевскаго, былъ Макаръ Дѣвушкинъ, центральной идеей было: „познается, что послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ твой".

Центральнымъ произведеніемъ второго періода были „Записки изъ подполья", центральной личностью, на которую было обращено вниманіе Достоевскаго, былъ самъ Достоевскій, центральной идеей было: „Не могу,

не могу больше притворяться, не могу жить во лжи идей, а другой правды нѣтъ у меня: будь, что будетъ". И далѣе: „Свѣту ли провалиться, или мнѣ чаю не пить? Я скажу, что свѣту провалиться, а чтобъ мнѣ чай всегда пить".

Для Достоевскаго умеръ живой, конкретный, внѣ его стоящій человѣкъ, съ глазами, полными слезъ, умерли „Бѣдные люди", умерли и „Униженные и оскорбленные" и родилось его „я", властно опрокинувшее всѣ идеалы, всѣ служенія человѣчеству и открывшее бездну подполья внутри себя...

Конечно, личность автора—конкретность, конечно, ея переживанія цѣнны и дороги, но — это не новая истина—развѣ не проявляется она многограннѣе тогда, когда беретъ темы изъ самой окружающей жизни, изъ осязаемаго и ощутимаго страданія конкретныхъ человѣческихъ личностей, когда ею „познается, что послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ твой". И развѣ не будетъ она, изолированная и уединенная въ своемъ гордомъ одиночествѣ, менѣе плодотворна, богата и многогранна, чѣмъ отраженная въ тысячахъ жизней и „остріемъ своего страданія проникающая въ страданія другихъ людей?. И развѣ это самоуглубленіе не будетъ уже абстракціей, способной родить только абстракцію.

Наша молодая послѣ-чеховская литература въ лицѣ даже своихъ вождей—Андреева и Куприна—не говорю уже объ Арцыбашевыхъ и Каменскихъ, слишкомъ далеко отклонившихся отъ идеи русской литературы — пережила послѣдніе два-три года ту же эволюцію, которую пережилъ Достоевскій. Мучительную, быть можетъ, и полную глубокаго трагизма метаморфозу убѣжденій, симпатій, привязанностей. Для нея умеръ Успенскій и Достоевскій перваго періода и Гаршинъ и Чеховъ и родился самоанализъ, самоуглубленіе, самотерзаніе, самомучительство—„Сердце мое раздираю *арочно*, злобой его утоляю",

Всѣ мы помнимъ „Жизнь Василія Фивейскаго".

„Подобно жертвеннику горѣла его душа, и каждаго, кто подходилъ къ нему, хотѣлось ему заключить въ братскія объятія и сказать: „бѣдный другъ, давай бороться вмѣстѣ и плакать, и искать. Ибо ниоткуда нѣтъ помощи человѣку".

И мы помнимъ „Поединокъ" Куприна.

„Ромашевъ близко нагнулся надъ головой, которая наступленно моталась у него на колѣняхъ. Онъ услышалъ запахъ грязнаго, нездороваго тѣла и немытыхъ волосъ и прокислый запахъ шинели, которой покрывались во время сна. Безконечная скорбь, ужасъ, непониманіе, виноватая жалость наполнили сердце офицера и до боли сжали и стѣснили его. И, тихо склоняясь къ стриженой, колючей, грязной головѣ, онъ прошепталъ чуть слышно:

— Братъ мой.

Что было дальше?

„Губернаторъ", „На станціи", „Такъ было" Андреева, гдѣ онъ увидѣлъ человѣка и въ королѣ французскомъ, и въ губернаторѣ, и въ жандармѣ — человѣка вообще, общечеловѣка — „просто честнаго человѣка"... И въ этомъ былъ зародышъ перехода къ абстракціи, бѣгство отъ конкретной, живой человѣческой личности во времени и пространствѣ къ „общечеловѣку" — зародышъ перехода отъ „Жизни Василія Фивейскаго" къ „Жизни Человѣка" внѣ времени и пространства...

Путь „Къ звѣздамъ", гдѣ абстрактное уже равноправно съ конкретнымъ.

— Привѣтъ тебѣ, мой далекій, мой *неизвѣстный другъ* говоритъ, протягивая руки къ звѣздамъ, Сергѣй Николаевичъ.

— Привѣтъ тебѣ, мой милый, мой страдающій братъ! вторитъ Маруся, протягивая руки къ землѣ.

„Неизвѣстный другъ" — абстракція, „сынъ вѣчности" И не видно, съ кѣмъ авторъ.

Потомъ „Жизнь Человѣка" — общечеловѣка, чело-

вѣка-формулы, человѣка-абстракціи, къ которой окончательно эволюціонировалъ Л. Андреевъ. Почти бѣжалъ.

А Купринъ? Возьмите его первые два тома и третій. Въ послѣднемъ осталось лишь „грусть по прежней грусти", лишь тѣни прежняго пути по „линіи скорби и печали" пути на Голгоѳу.

Правда, онъ не отдался абстракціи, но и отъ живого, конкретнаго страданія онъ отошелъ... Возьмите его „Штабсъ-капитана Рыбникова", „Изумрудъ", „Суламиѳь" — эти шедевры художественно-литературной техники созданія искусства для искусства...

Что въ нихъ, кромѣ техники?

Самое послѣднее время онъ еще болѣе отклонился въ сторону, занявшись проблемой любви и пола („Суламиѳь", „Морская болѣзнь").

Вотъ въ чемъ отказъ отъ наслѣдства, отказъ, несмотря на всю видимость вѣрности литературной традиціи, вѣрности трагическому, скорбящему.

И этотъ отказъ дѣйствительно трагедія, дѣйствительно—злоба дня.

Хотѣлось бы, чтобы литература русская вернулась на прежній, покинутый, ею путь, а что это возможно и насущно необходимо, это показываетъ всеобщая *тоска по быту*, тоска по Успенскому и Чехову, и подтверждаетъ успѣхъ одного изъ молодыхъ, повторившаго въ своихъ произведеніяхъ всѣ мотивы Куприна изъ его перваго тома разсказовъ. Мы говоримъ о Муйжелѣ.

Далеко не блещущій силой дарованія, онъ тревожно почувствовалъ лучшей частью русской критики и оцѣненъ русскимъ читателемъ.

Онъ дорогъ намъ и милъ, какъ возвратъ къ конкретной, живой человѣческой личности, къ конкретному, живому человѣческому страданію, къ „Униженнымъ и оскорбленнымъ", къ „Бѣднымъ людямъ", къ „Послѣднему человѣку".

PG
3016
A43
t.1

Aleksandrovich, IUrii, pseud.
Posliè Chekhova
t. 1

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY